

Толстая Александра

Жизнь с отцом

Толстая Александра

ЖИЗНЬ С ОТЦОМ

СОДЕРЖАНИЕ

С.Розанова. Дочь своего отца

ЖИЗНЬ С ОТЦОМ

Как я родилась

Наша семья

Мое одиночество

В Москве

В Ясной Поляне. "Темные"

Непонятное

"Воскресение". Замужество Тани. Отлучение

Тетенька

Исповедь

Крым

Неудачные романы

Дядя Сережа

Опять дома

Радость совершенная

Прогулки

Японская война. 1905 год

Рождение Танечки. Моя школа. Душан Петрович

Болезнь мам?. Смерть Маши

Занятия с ребятами. Обморок

Отец

У Чертковых в Мещерском

Дневники

Завещание

Кочеты

Последний месяц в Ясной Поляне

Уход

Болезнь и смерть

ДОЧЬ СВОЕГО ОТЦА

1884 год - один из самых драматических в долгой жизни великого Толстого. Крайней остроты достигли его страдания за обездоленный, нищий, голодающий народ. А сознание, что он сам вопреки своей вере, своему идеалу продолжал жить по-барски, терзало и мучило его. Тогда же ощутимей стало отчуждение от жены, детей, неприятие их бытового поведения, господского, светского, праздного. В дневнике писателя немало горьких строк осуждения, самобичевания, признания невыносимости своего положения. "Очень тяжело в семье, - помечено там 4 апреля 1884 года. - Все их радости, экзамен, успехи света, музыка, обстановка, покупки, все это считаю несчастьем и злом для них и не могу этого сказать им... Как они не видят, что я не то что страдаю, а лишен жизни вот уже 3 года"¹. И на другой день снова: "Целый обед, кроме покупок и недовольства теми, которые нам служат, - ничего. Все тяжелее и тяжелее" (т. 49, с. 78). Ему казалось, что он "один несумасшедший... в доме сумасшедших" (т. 49, с. 99). Не выдержав, в ночь с 17 на 18 июня, взяв котомку, он покинул усадьбу, чтобы "уйти совсем" (т. 49, с. 105).

Однако вернулся с "половины дороги", так как на свет должен был появиться его двенадцатый ребенок. "Начались роды, - то, что есть самого радостного, счастливого в семье, прошло как что-то ненужное и тяжелое", - корил себя Толстой (т. 49, с.105). Утром 18 июня 1884 года в семье Толстых родилась девочка, названная Александрой.

Не ведал тогда Толстой, что эта девочка, столь неприветливо встреченная родителями, занятыми собой, сложными личными проблемами, займет огромное место в его жизни и сердце, поймет и услышит его, проникнется его демократическим и религиозно-нравственными воззрениями, а своей трепетной преданной любовью осветит его закатные годы. Не ведал тогда Толстой, что из этого младенца сформируется личность масштабная, деятельная, внутренне свободная, отказывавшаяся жить во лжи, натура бунтарская. Не ведал он тогда, что этой девочке предстоит путь тернистый, что опалит ее война, что пройдет она через тюрьмы и лагерное заключение, что ждут ее изгнание и разлука с Ясной Поляной, превращенной ее усилиями в памятник отцу, с Россией. Не ведал он тогда, что этот нелегкий путь с тяжкими испытаниями и препятствиями, потребовавший от нее напряжения духовных и физических сил, мужества, пройдет она достойно, с честью, не ославив имени своего гениального отца. Не ведал он тогда, что дочь наделена литературным дарованием, что, следуя его шутливому совету писать "как дневник, о впечатлениях, о мыслях, главное - мыслях и чувствах, которые приходят" (т. 81, с. 242), создаст мемуарные повествования высокого уровня.

Тогда, в теплый июньский день, до всего этого было далеко. Младшая дочь Толстого росла в многолюдной

семье, с различными интересами, вкусами, дисгармоничной, несхожей с той, в которой проходили детство и отрочество "старших детей", ведь на них "положено" было много любви и бережного внимания. С Сашей все обстояло иначе. Сначала к новорожденной "приставили кормилицу кормить", затем отдали на попечение старой няни, часто сменяющихся гувернанток и преподавателей. Софья Андреевна ответственно относилась к образованию дочери, приглашала к ней лучших педагогов, но при этом Сашу не баловала "лаской и нежностью", не вникала в мир ее чувств, держала вдали от себя, часто раздражалась на нее, оскорбляла и унижала. Девочка на это отвечала дерзостью, упрямством, непослушанием.

Как знать, что в конце концов получилось бы из Саши с ее затаенными обидами, ожесточенностью, чувством какой-то своей ущербности, если б рядом не оказался отец - чуткий, тактичный, нашедший к ней ключ. Поначалу он не очень замечал девочку, лишь когда она вышла из младенческого возраста, начал приближать к себе. По мере того как дочь выросла, между отцом и нею все чаще и чаще происходили уединенные беседы, серьезные, содержательные. Его влияние помогало Саше смягчать свой характер. А те "хорошие" разговоры, которые писатель вел с дочерью в пору ее превращения из подростка в зрелого самостоятельного человека, исцелили ее израненную душу, заронили в нее зерна добра, веру в его гуманистические христианские идеалы, готовность к служению людям, милосердию. Она многожды слышала от отца: "Мне нужна твоя любовь". И он ее сполна получил. Не случайно младшая дочь, единственная из близких, была посвящена в тайну его "ухода", помогла в спешных сборах ночью 28 октября

1910 года, знала о его местопребывании, по его зову приехала в Шамордино и вместе с ним проделала крестный путь до Астапова. Все дни и ночи смертной болезни отца Саша находилась возле него, ухаживала за ним и, переходя от надежды к отчаянию, всячески стремилась предотвратить роковой исход. Потеря того, кто был большим другом, учителем, наставником, явилась для нее огромным горем. Она словно потеряла почву под ногами.

Выход из личной драмы принесло бедствие всенародное. Разразилась война, и Александра Львовна поняла, что ее место там, где льется кровь, страдают люди, которым она нужна. "Сидеть дома сложа руки было невыносимо... Я не могла сидеть дома, я должна была участвовать в общей беде", "Я решила идти сестрой милосердия", - так объясняет она сделанный ею выбор.

Удивительная и почти фантастическая военная биография Александры Львовны отмечена мужеством, непреклонностью воли, проникнута пафосом милосердия, особенно к низшим чинам.

В декабре 1917 года она с двумя Георгиевскими медалями вернулась в Ясную Поляну. Тотчас же перед дочерью Толстого открылось широкое поле деятельности, исполненной высокого смысла. Недавно томившая ее "зияющая пустота" исчезла. Еще в 1911 году она вместе с В.Г.Чертковым выпустила трехтомное издание "Посмертных художественных произведений Л.Н.Толстого" и на гонорар согласно желанию отца выкупила яснополянскую землю и передала крестьянам. Теперь, по возвращении, Александра Львовна вдохновилась возникшим в кругу сподвижников писателя замыслом - подготовить и выпустить первое серьезное и

самое полное собрание его сочинений. Она всю себя посвятила увековечению памяти отца.

Преклонение перед национальным гением России сотворило чудо: вокруг холод, голод, разруха, гремит Гражданская война, а небольшая группа ученых, таких, как А.Е.Грузинский, А.А.Шахматов, М.А.Цявловский, Н.К.Пиксанов, Сергей и Александра Толстые, юрист Н.В.Давыдов и "скромные дамы", у которых все в прошлом, переступали порог отведенной им в Румянцевском музее комнаты, разбирали, систематизировали, выверяли беспорядочно сложенные в ящики бесценные автографы писателя. "Музей не отапливался, - читаем в мемуарах Александры Львовны. - Трубы лопались, как и везде. Мы работали в шубах, валенках, вязаных перчатках... Стужа в нетопленном каменном здании, с насквозь промерзшими стенами... хуже, чем на дворе", и невзирая на такие ужасные условия, "забывая холод и голод, мы читали новые сцены... "Войны и мира"... радовались как дети, когда удавалось разобрать трудные слова... Работа увлекла решительно всех". Сергей Львович с сестрой выверяли тексты дневников, "бесконечное число раз" прочитывая их, "находя все новые и новые ошибки". Трудились все самоотверженно, бескорыстно, подвижнически, на одном энтузиазме. Все составленные описи, приведенный в порядок систематизированный архив, исправленные от ошибок переписчиков тексты были использованы при подготовке фундаментального 90-томного Полного собрания сочинений Толстого.

В марте 1920 года Александру Львовну арестовали по делу политической организации "Тактический центр". Допрашивал ее известный следователь ВЧК Я.С.Агранов. Александра Львовна вела себя вызывающе, на вопросы

не отвечала. Спустя два месяца ее освободили до суда. Между тем ВЧК, не получив никаких доказательств вины дочери Толстого, обратилась за санкцией в высший политический орган страны. 15 мая 1920 года на заседании Политбюро, где присутствовали Ленин, Троцкий, Сталин, Каменев, Преображенский, Калинин и приглашенные Крыленко и Агранов, который выступил с кратким сообщением, было решено "закончить дело А.Л.Толстой не позже недельного срока и о результатах доложить Оргбюро". Действительно, через неделю, 22 мая, дело о "Тактическом центре" снова рассматривалось на заседании Политбюро при участии Ленина, Троцкого, Сталина, Преображенского, Бухарина. Доклад сделал Каменев. После чего было принято постановление: "Утвердить список, прочитанный т. Каменевым". Имя Александры Львовны значилось в числе обвиняемых. В августе 1920 года Верховный революционный трибунал приговорил ее к трем годам заключения в концентрационный лагерь в московском Новоспасском монастыре. Вина же дочери Толстого состояла лишь в том, что она предоставляла квартиру для заседаний и ставила самовар его участникам¹, за это "преступление" ее лишили свободы, обрекли на бездействие, непосильный труд, унижения и оскорбления. Доведенная до отчаяния, в надежде на спасение узница Новоспасского лагеря набрасывает черновик письма к В.И.Ленину, который сохранился в ее архиве.

"Глубокоуважаемый Владимир Ильич! - писала она в своем прошении. - Долго колебалась перед тем, чтобы вам написать. Но я верю вам и верю, что вы поймете и не осудите меня. Я не могу примириться с мыслью о том, что я, гражданка свободной России, в то время, когда люди-работники нужны, когда они наперечет, - должна

жить паразитом в своей стране, заключенная в 4-х стенах как опасный и вредный член общества. И почему? Мой отец, взглядов которого я придерживаюсь, открыто обличал царское правительство и все же даже тогда оставался свободным, и постольку поскольку кто-либо интересуется моими взглядами - не скрываю, что я не сторонница большевизма, я высказала свои взгляды открыто и прямо на суде, но я никогда не выступала и не выступлю активно против советского правительства, никогда не занималась политикой и ни в каких партиях не состояла. Что же дает право советскому правительству запирает меня в 4 стены как вредное животное, лишая меня возможности работать с народом и для народа, который для меня дороже всего? Неужели этот факт, что 2 года тому назад на моей квартире происходили собрания, названия и цели которых я даже не знала, дает это право? Я узнала только на допросе, что это были заседания Тактического центра. Владимир Ильич! Если я вредна России, вышлите меня за границу. Если я вредна и там, то, признавая право одного человека лишать жизни другого, расстреляйте меня как вредного члена Советской республики. Но не заставляйте же меня влачить жизнь паразита, запертого в 4-х стенах с проститутками, воровками, бандитками. Я пишу, повторяю, потому что верю вам и чувствую, что вы поверите мне и поймете, что тяжесть моего положения не в том, что я живу в клетушке, питаюсь помоями, и даже не то, что лишена внешней свободы. Тяжесть положения моего, главным образом, в том, что лишена доверия, т. е. возможности работать. Если вы прочтете мое письмо, на всякий случай сообщаю подробности своего дела. Я осуждена Военным трибуналом 26 августа на 3 года содержания под стражей в Новоспасском

лагере по делу Тактического центра. 2 раза мне было отказано Верховным трибуналом во всякой амнистии. Последнее заседание Верховного трибунала 6 декабря с.г."2.

Неизвестно, было ли это поразительное по силе духа, гордого самосознания, непреклонности письмо переписано набело и отправлено адресату, равно как и датированное тем же 6 декабря 1920 года заявление в ВЦИК с просьбой о пересмотре приговора и амнистии. Однако все же благодаря хлопотам яснополянских крестьян да кстати подоспевшей амнистии Александра Львовна летом 1921 года покинула Новоспасский монастырь и вышла на волю, чтобы отдаться главной и святой обязанности - сохранению Ясной Поляны такой, какой ее оставил великий мастер, превращению ее в общенародный памятник, культурно-просветительный центр.

Пока на этом пути она не встречала непреодолимых препятствий и даже получала поддержку из Москвы от Луначарского, сотрудников Народного комиссариата просвещения, особенно от Калинина, к которому неоднократно обращалась по своим служебным делам и с ходатайствами за арестованных и осужденных, исполняла свои должности хранителя Ясной Поляны и с 1925 года директора Музея Толстого в Москве серьезно и в высшей степени ответственно, не щадя себя. Удалось, несмотря на множество трудностей, выполнить намеченную программу: действовали реставрированный Дом-музей, Опытно-показательная станция, открылась школа-памятник, проводились экскурсии, читались лекции, заботливо обучали ремеслам и просвещали крестьянских ребят.

К концу 1920-х годов небосклон все больше заволакивали грозные тучи, усиливалось государственное вмешательство в повседневную жизнь толстовской вотчины, а местные руководители, в большинстве своем необразованные и некомпетентные, всячески препятствовали миссии "хранителя". Дочь Толстого изнемогала от борьбы с ними, от частых поездок в Москву с жалобами, хлопотами, доказательствами своей правоты. "Мы живем тяжело, очень тяжело, - признавалась Александра Львовна в письме от 18 декабря 1928 года из Ясной Поляны другу детства А.И.Толстой-Поповой. - Необходимо большое напряжение сил, чтобы вести работу. Главное, уж очень низка культура тех, которые здесь имеют большую силу. Все, что более или менее культурного, - в центре, а у нас - что остается" (ГМТ). Спустя некоторое время она поведала все тому же корреспонденту о своем смятении: "Я ухожу из Станции. Пока остаюсь в музее, но не знаю, надолго ли. Работать нельзя. Больше всего хочу свободы. Пусть нищенство, котомки; но только свободы. Я много занимаюсь, есть у меня грандиозные планы, связанные не с моей службой, а с моими личными работами" (ГМТ).

Призрак желанной свободы вдруг возник перед ней, когда из Японии пришло приглашение выступить с лекциями о Толстом, которое после предоставленного отпуска и официального разрешения Александра Львовна приняла.

С большим волнением покидала дочь писателя Родину, еще не отказываясь от мысли снова очутиться в Ясной Поляне.

Как в Японии, так и в Америке Александра Львовна много времени уделяла чтению лекций о Толстом, о его

жизни, "уходе и смерти", его мировоззрении, а также о своей многострадальной отчизне, сдавленной в железных тисках авторитарной сталинской диктатуры, о ее национальной трагедии. Выступала она в больших и малых городах, в колледжах и университетах, перед интеллектуалами и рабочими, пожилыми и молодыми. Жить же предпочитала по-яснополянски скромно, "опрошенно", подальше от больших городов, на фермах, напоминающих мужицкий двор, на природе, занимаясь тяжелым крестьянским трудом.

Почти десять лет бытие чужестранки оставалось неизменным, разве что приходилось переселяться с одной фермы на другую, но весной 1939 года, по ее признанию, "начался новый очень важный этап": по инициативе группы эмигрантов (среди них - графиня С.В.Панина, С.В.Рахманинов) был основан "Комитет помощи всем русским, нуждающимся в ней", названный в память Льва Толстого "Толстовским фондом". Возглавив его, дочь писателя снова вступила на путь благородного служения милосердию, добру, всячески облегчала участь эмигрантов так называемой первой волны, очутившихся за рубежом в ранние послереволюционные годы, в массе своей терпевших страшную нужду, не имевших постоянной работы, крова. Александра Львовна исполняла эту свою миссию со свойственной ей энергией и страстью. На полученном в дар участке земли в Рокланд-Каунти, неподалеку от Нью-Йорка, были построены интернат для престарелых, больница для хронически больных, детский дом, церковь, библиотека. Открыты филиалы в Западной Европе, на Ближнем Востоке, в Южной Африке. Повсюду русские скитальцы находили прибежище, медицинскую помощь, покой и сердечное участие.

Фонд проявил сострадание и к невольникам XX века, к соотечественникам, насильственно угнанным нацистской армией из своей страны и по разным причинам не возвратившимся назад в свои города и деревни. Филантропическая деятельность "Фонда", в которой Александра Львовна играла ведущую роль, приобрела большую известность и получила признание. Так, президент США Г.Трумэн в 1946 году отметил гуманную роль деятельности А.Л.Толстой во Второй мировой войне. 9 июня 1979 года Конгресс русских американцев ввел ее в Палату славы. В 1979 году в день 95-летия пришла от очень чтимого ею А.Солженицына телеграмма: "Лев Николаевич был бы счастлив от объема вашей работы и от ее направления"¹.

Советское правительство послевоенных лет крайне неодобрительно отнеслось к добровольно взятым на себя "Фондом" обязательствам и к его руководителю в особенности. Осенью 1948 года на страницах центральных газет развернулась клеветническая кампания против Александры Львовны с грязными инсинуациями, обвинениями в связях с ЦРУ, шпионаже, измене Родине; "Толстовский фонд" именовался "разбойничьим гнездом". Ее имя было запрещено упоминать в печати; с трудом проходили тома Полного собрания сочинений Л.Н.Толстого, где публиковались его письма к ней. А она никак не могла примириться с жизнью на чужбине и очень тосковала по России, по Ясной Поляне.

Когда в 1978 году ей было послано приглашение принять участие в праздновании 150-летия со дня рождения Льва Толстого, Александра Львовна была уже серьезно больна, прикована к постели. "Не могу передать, как мне тяжело, что я не могу быть с вами в

эти знаменательные дни, каждая минута которых никогда не забывается в моей памяти, тем более что я далека от дорогой мне Ясной Поляны, от моей России, от близкого мне русского народа, - признавалась она в ответном письме от 29 марта 1978 года. - Мне тяжело, что в эти драгоценные для меня дни я не могу быть с вами, с моим народом, на русской земле. Мысленно я никогда с вами не расстаюсь" (ГМТ).

В этом послании соотечественникам выражены боль и драма глубоко русского человека, сердечными узами скрепленного с отчизной, своим народом и вынужденного суровыми историческими обстоятельствами провести десятилетия в изгнании, в чужом мире, который, однако, высоко оценил ее миссию полпреда национальной словесности.

Александра Львовна Толстая скончалась 26 сентября 1979 года.

В соболезновании президента США Дж. Картера ей воздано должное: "Розалин и я были опечалены, узнав о смерти Александры Толстой, - говорится там. - С ее кончиной оборвалась одна из последних живых нитей, связывавших нас с великим веком русской культуры. Нас может утешать лишь то, что она оставила после себя. Я думаю не только о ее усилиях представить нам литературное наследие ее отца, но и о том вечном памятнике, который она воздвигла сама себе, создав примерно сорок лет назад "Толстовский фонд".

Те тысячи, которых она благодетельствовала своей помощью, когда они свободными людьми начинали новую жизнь в этой стране, всегда будут помнить Александру Толстую"1.

"Памятником" служит и оставленное ею литературное наследие.

К "грандиозным планам", реализованным Александрой Львовной за рубежом, в первую очередь относится ее монография "Отец. Жизнь Толстого". Это документальное повествование, содержательное и увлекательное, позволило зарубежному читателю впервые столь полно и обстоятельно узнать историю жизни русского гения, рождения его великих книг, его гуманных дел, его мужественных выступлений против правительства, метаний его духа, отношений с членами семьи, с современниками. Книга имела большой успех, была переведена на датский, испанский, финский, французский, шведский и японский языки. Желание автора "подвести" Льва Толстого к народам Европы и Америки, приблизить их к нему осуществилось.

В годы, последовавшие за выходом в свет этого капитального труда, Александра Львовна изредка помещала на страницах эмигрантских журналов эссе, как бы дополняющие его, например: "Отец всегда все понимал"², "О радости смерти"³ и т.д., вносящие новые штрихи в образ отца.

Литературный талант Александры Толстой во всем своеобразии наиболее полно раскрылся в мемуарном жанре. Под ее пером возник замечательный мемуарный цикл из пяти самостоятельных частей. Каждая в хронологической последовательности запечатлела фрагменты ее биографии.

Первая часть - "Из воспоминаний"¹ - сочинение яркое, захватывающе интересное. Здесь живо, с большой изобразительной силой воспроизведена повседневная жизнь толстовской семьи на протяжении четверти века, с

ее поэзией и прозой, с ее горестями и радостями, буднями и праздниками, с ее бытом и особой атмосферой. В этих мемуарах много действующих лиц: братья и сестры, родные и друзья, слуги и посетители, разумеется, мать и отец, и все они обрисованы в их индивидуальном своеобразии, со своими характерами, типом поведения, лексикой. Наконец, это и записки о себе, о своем неуютном детстве, смутном отрочестве и юности, история сближения с тем, кого дочь Саша любила больше всех на свете, завершившегося ее духовным прозрением. Первая часть цикла - единственная, которая озарена присутствием Льва Толстого, высоко вознесенного над теми, кто озабочен сугубо личным, кто лишь для себя ищет воли и истины. Вот почему Александра Львовна очерками "Из воспоминаний" (в американском издании она назвала их точнее: "Жизнь с отцом"², и в нашем однотомнике мы решили сохранить это название) так дорожила, придавала им большое значение. "Ведь эта книга, которую я пишу, - это не шутка, это останется после меня" (ГМТ), - признавалась она в письме от 19 апреля 1930 года А. И. Толстой-Поповой.

Сказание о былом складывалось непросто, в сложной гамме чувств. Приходилось опасаться обвинений в пристрастном, излишне отрицательном изображении матери. "Может быть, мне грустно, - винулась мемуаристка перед А.И.Толстой-Поповой, - потому что я пишу о своем отце и вспоминаю, как мы с ним любили друг друга в последний год его жизни, пишу и плачу так, что все глаза застилает и я уже не в силах больше писать" (ГМТ).

Четыре последующие части цикла - "Из прошлого. Кавказский и Западный фронт", "Проблески во тьме",

"Волшебная страна Япония", "Первые шаги в Америке", позже составившие книгу "Дочь", - совсем иного плана: здесь в фокусе повествования сама Александра Львовна, она рассказывает о перипетиях своей судьбы, о своей одиссее, о себе и о времени.

Русский раздел этой последней книги в некотором роде явление уникальное: в поле зрения мемуариста события масштабные, исторически значимые - мировая война и русская революция, и освещены они личностью неординарной, принадлежащей к социальной и интеллектуальной элите да к тому же исповедующей толстовское миропонимание.

Александра Львовна не принимала непосредственного участия в боевых схватках, но и без батальных сцен набросанная ею картина войны передает ее атмосферу, весь хаос и сумбур, царящий вблизи фронта, всю противоестественность и жестокость "греха убийства", льющейся людской крови. Ее взор прикован к солдату, восхищавшему ее своим неброским героизмом, "русским добродушием", незлобивостью, "деликатностью", самоотвержением и стойкостью в смертный час. В изображении народа на войне, в глубинном неприятии всякого братоубийства, нарушающего естественные человеческие связи, в симпатиях к солдату заметна преемственная связь описаний сестры милосердия с "Севастопольскими рассказами" ее отца.

"Проблески во тьме" - примечательное произведение отечественной мемуаристики: в нем в разных гранях и оттенках запечатлена Россия, настигнутая революционным вихрем, в которой "все перевернулось" и в муках, с жертвами и утратами

"укладывался" новый общественный порядок. Александра Толстая свидетель этого процесса и в некотором роде его участник, невольно своим официальным положением главы двух толстовских музеев (в Москве и в Ясной Поляне) вовлеченный в него. Ее горькое служение памяти отца сопровождалось многочисленными встречами с лицами самого высокого и, наоборот, самого низкого ранга. Всем им отведено место в записках Александры Толстой. Выразительны моментальные снимки таких представителей новой верховной власти, как Сталин, Троцкий, Менжинский, Калинин, Енукидзе, Луначарский, его заместитель М.Эпштейн и др., с их лапидарными, емкими сущностными характеристиками. Опираясь на свою память и дневники, Александра Львовна позволила нам заглянуть в их приемные и кабинеты, присутствовать при беседах с ними. Однако ее оценки сдержанны, щадящи, но ее неприятие "советов", "большевизма", ассоциируемого ею лишь с "террором... рабством, голодом, холодом", выдают ироническая интонация и отсутствие какого-либо пиетета перед лицами столь высокого ранга. Сдержанны потому, что именно они не давали окончательно уничтожить яснополянскую усадьбу и память о ее отце. Резкими, темными красками обрисованы типы новых местных руководителей, в большинстве своем необразованных разрушителей культуры, блюстителей идеологической чистоты и принципа классовой вражды, сеявших рознь, не брезговавших доносами, наветами. Она в современной действительности столкнулась с рано заявившим о себе типом маленького вождя, аморального плебея с "собачьим сердцем", увековеченного М.Булгаковым.

Большой пласт "тюремных записок" Александры Львовны - этюды о жизни истинных интеллигентов,

трагически вписывавшихся в "переворотившуюся" Россию. Тем самым она коснулась коллизии "интеллигенция и революция". Ею воскрешены облики тех, кто вопреки неблагоприятной общей обстановке, засилью Шариковых не бросал поста и делал все возможное, дабы "не погибла русская культура, уцелели кой-какие традиции, сохранились некоторые памятники искусства и старины, существуют еще научные труды, литературные изыскания". Среди них и именитые ученые, и образованные дамы из "бывших", и скромные яснополянские учителя, и др. Воскрешены в книге также и облики тех, кого власти зачисляли во вражеский стан, зачастую без достаточных оснований, арестовывали, судили, заключали в лагеря, ссылали, высылали из страны.

Александра Толстая наряду с другими эмигрантами рассказала правду о трагедии русской интеллигенции, наглядно и в деталях воспроизвела тюремную антижизнь, раскрыла тайну существования уже в раннюю послереволюционную пору ГУЛАГа, пусть и не столь чудовищного, как сталинский, но обрекавшего человека на неволю, физические и нравственные страдания. Повествование, сотканное из множества мини-новелл, событий большой значимости и сугубо личных, охватывающее "войну" и "мир", передает дыхание, "шум и ярость" судьбоносного для огромной страны времени. Оно мозаично и вместе с тем панорамно.

Японо-американский раздел книги переносит нас совсем в другое пространство, в другие миры. В нем явственно проступают элементы путевого очерка, он может быть поставлен в один ряд с традиционными для

русской литературы "Письмами русского путешественника".

У Александры Толстой зоркий взгляд, поразительная наблюдательность, непредвзятое восприятие, умение передать доселе неведомую ей действительность в многоцветии красок, с ее особенным колоритом, при этом многогранно, материально осязаемо. Образ страны возникал из картин природы, гула голосов людей различных слоев общества, с разным образом жизни, с разной психологией, религиозными верованиями, умонастроениями.

Воспоминания Александры Львовны по сути своей, конечно, художественная автобиографическая проза: она сама выступает здесь не в роли хроникера, бесстрастного регистратора фактов, а как активное действующее лицо, мыслящее и эмоциональное, со своей диалектикой души, постигающей свою жизнь и жизнь окружающих ее не фрагментарно, а как нечто целостное, в контексте эпохи. У автора своя оригинальная стилевая манера, своя поэтика, суть которой выражена в названии самой сумрачной ее книги - "Проблески во тьме". Оно отражало унаследованную от великого мастера концепцию личности, изначально и извечно доброй, способной и среди "тьмы" нравственно воскреснуть, очеловечиться.

В воспоминаниях Александры Толстой немало героев добрых помыслов и добрых дел, с которыми она встречалась дома и на чужбине. Так, она утверждала реальность гуманного идеала всеобщего братства, толстовского идеала "любви ассоциации людей".

"Я думал, что Ванечка, один из моих сыновей, будет продолжать мое дело на земле"¹, - произнес Лев Толстой, потрясенный неожиданной смертью на редкость

одаренного семилетнего Ванечки. Продолжила же его "дело на земле" в меру сил и возможностей "дочь Саша", верная заветам отца - ненависти ко лжи, несправедливости, неравноправию, правительственному гнету, любви к свободе, житейской и духовной, к страждущим и угнетенным, любви к России.

С.Розанова

ЖИЗНЬ С ОТЦОМ

Как я родилась

Воскресенье. Уроков нет. Накинув халат и всунув ноги в теплые войлочные туфли, я бегу в девичью к няне. На столе кипит маленький медный самовар, в углу перед образами горит лампада. В комнате очень жарко, но мне спросонья холодно, и я с наслаждением пью горячий чай.

- Вареньица не хочешь ли? - спрашивает няня.

- Нет, не хочу, ты лучше расскажи что-нибудь!

- Ну, чего рассказывать! - У няни грубый, резкий голос, но я у нее в гостях, она мне рада и старается говорить мягче: - Рассказывать-то нечего.

- Ну, няня, милая, про Алешу.

Няня глубоко вздыхает.

- Алеша ангел был, царство ему небесное, - говорит няня и крестится. - Уж такой ребенок был, такой ребенок... Глаза умные, ясные... Эх, и вспоминать-то не хочется. Все англичанки эти... (Няня терпеть не могла бонн и гувернанток и всегда ревновала к ним всех нас.) Воздух, воздух! - Няня хватается себя за грудь и изображает, как гувернантки задыхаются. - Вот они графиню только сбивали... Ветер холодный, прямо

навстречу, разве так можно? Вот и простудили ребенка. Жили, жили без воздуха, до ста лет доживали... Когда умер Алеша, ты совсем маленькая была, глупая. Смеешься, радуешься, думаешь, кукла... А он лежит в гробике, как живой...

Няня всхлипывает, достает из кармана сборчатой ситцевой юбки платок и вытирает покрасневшие глаза.

- Да ну тебя, только расстроила.

Она привстает и наливает себе чашку чаю. Чашка у нее большая, голубая, на ней написано "С днем ангела".

- Лучше чай пей.

Няня молча пьет дымящийся чай с блюдечка, дует и громко глотает. Мне рассказ про Алешу не нравится, грустно как-то и стыдно, что я могла смеяться, когда Алеша умер.

- На все воля Божья. Алеше и Ванечке не дал Бог жить, а вот тебя как мать рожать не хотела, а ты ишь какая выросла...

- Как не хотела, расскажи, няня!

- Вот надоела, все ей знать надо.

- Ну, няня, пожалуйста!

Няня допивает чай, переворачивает чашку на блюдечко и фартуком утирает рот.

- Так вот, не хотели тебя графиня рожать, да и все. (Нянюшка из почтения называла мою мать "они".) В это время, помню, у графини с графом большие нелады были. Графиня все плакала, а граф такой серьезный, бывало, пройдет, брови сдвинуты, даже страшно. Все одни в кабинете сидели или уйдут куда-нибудь, долго их

нет. А графиня все плачет. Потом узнала графиня, что беременна. "Левочка, - кричит, - не хочу, не хочу рожать, ты бросить нас хочешь, уйти!" А граф все что-то уговаривают. Конечно, я с маленькими тут же, все слышу. Это господа всегда думают, что мы ничего не понимаем, а мы во всем, как есть, бывало, разбираемся: кто с кем поссорился, да кто в кого влюбился... Потом поехали Софья Андреевна в Тулу к акушерке выкидыш делать. А акушерка говорит: "Нет, графиня, кому другому с удовольствием сделала бы, но вам, хоть озолотите, не стану. Случится что - беда!" Поездили, поездили графиня в Тулу, так ничего и не вышло. А уж чего-чего ни делали: и ноги в кипяток опускали, и ванну принимали, да такую горячую, что терпеть невозможно. А то, бывало, влезут на комод и давай оттуда прыгать, даже страшно станет! "Что вы, говорю, Софья Андреевна, делаете, разве можно, ведь вы можете так свою жизнь загубить". "Не хочу, - говорит, - няня, рожать, граф меня больше не любит, бросить нас, уйти хочет!" А сама все прыгают. Ну, не помогло ничего - родили:

Тоска сжимает сердце, в носу щекочет, но няня этого не замечает и продолжает свой рассказ:

- Вот тебе родиться, и граф ушел. Нет его! Графиня плачет. К ночи пришел, и ты родилась. Помирились. Родилась ты здоровая, большая, волосы черные, глаза - не разберешь какие, а большие. В доме все радуются, что девочка: давно не было девочек, все мальчики.

Самовар то затихает, то опять начинает шуметь. Няня встает и прикрывает его крышкой. На душе у меня немножко проясняется. Я довольна, что все обрадовались моему появлению на свет, и с нетерпением жду продолжения рассказа.

- Ну, няня, что же дальше?
- Да ничего.
- Как ничего? Говори же: что дальше?

Няня снова садится и начинает перетирать посуду.

- Дальше! Не захотели тебя кормить графиня, вот что. Уж очень ей все постыло было. С графом все нелады шли. Чудил он в ту пору. То работать уйдет в поле с мужиками с утра до ночи, то сапоги тачает, а то и вовсе все отдать хочет. Графине это, конечно, не нравилось. Жили, жили, наживали, опять же дети маленькие... Ну, графиня назло графу, знала, что он этого не любит, и взяли тебе кормилицу. Здоровая была баба, толстая.

В нянинном тоне чувствуется явное недоброжелательство. Мне делается бесконечно грустно. Я стараюсь незаметно смахнуть слезы.

- Вот тебе и раз! - вскрикивает сердито няня. - Что же это такое? Знала б я, что ты такая нюня, нипочем не стала бы рассказывать!

Наша семья

Летом мы жили в Ясной Поляне. В начале сентября переезжали в Москву, где малыши должны были учиться. Братья ходили в лицей и гимназию, у меня была англичанка, и я училась дома.

Отец и старшие сестры до поздней осени оставались в Ясной Поляне, а иногда уезжали туда ранней весной, хотя мать очень не любила с ними расставаться. Она уверяла, что без ее забот, без повара, без хорошей пищи отец непременно заболеет, что сестры не сумеют заботиться о нем так, как она, что живут они в грязи, без прислуги и вообще наделают массу глупостей.

С тех пор как себя помню отец постоянно страдал от болей в желудке. То у него делались запоры, то расстройство, особенно его мучила изжога. Чего только не прописывали ему врачи: и соду, и толченый уголь, и магнезию, и различные минеральные воды - ничто не помогало. Иногда у отца болела печень, но сильных припадков я не помню. Мать рассказывала, что раньше он страдал ужасно. Бывало, она просыпалась от его ужасных криков. Один раз, прибежав в залу, она увидела, что отец катается по полу в страшнейших мучениях. Мам? всегда заботилась, чтобы пища для отца была легкая, и вопрос питания возвела чуть ли не в культ.

Ежедневно вечером приходил к ней повар Семен Николаевич, и они долго обсуждали меню. К обеду полагалось четыре блюда: суп мясной для всех, для Л.Н. и для сестер - вегетарианский. Если на третье зелень, на второе что-нибудь более питательное - рисовые котлеты или макароны с сыром. Сладкое также в зависимости от состояния желудка Л.Н. и маленьких: кисель с миндальным молоком, компот, трубочки со сливками или блинчики с вареньем.

Если Л.Н. чувствовал себя почему-либо слабым, мам? и Семен Николаевич, как заговорщики, решали тайком подлить в грибной суп немного бульона. Когда мам? была занята, Семен Николаевич клал ей на письменный стол меню, написанное в сшитой им самим длинной тетрадке. Здесь кроме ежедневных записей обедов и завтраков встречались целые рассуждения: "У Ванечки болит животик, сделай ему куриные котлеты и бульон", "Свари жиденькой смоленской каши на грибном бульоне к завтраку Льву Николаевичу, он что-то жаловался на боль в желудке", "К обеду гости. Купи в

Охотном ряду рябчиков, брусники да поищи хорошей цветной или брюссельской капусты".

Повар Семен Николаевич понимал мою мать с полуслова. Искусство кухни было доведено до совершенства. Каждый вечер, перед сном, мам? любовно обдумывала, чем кого кормить. В этом была ее радость и гордость.

А отец стремился свести свои потребности к минимуму, ему не надо было ни поваров, ни лакеев. Вырвавшись один с сестрами в Ясную Поляну, он наслаждался свободой, пользуясь услугами какой-нибудь деревенской бабы, которая не имела понятия о кулинарии, отрубала головки у спаржи, но зато не примешивала мясного бульона к грибному супу.

Помню, у них жила грязная и глупая баба Анисья, впоследствии отличалась в деревне тем, что воровала у крестьян овец. Ее поймали и, сделав обыск в погребе, нашли несколько овечьих хвостов и голов. Крестьяне не стали ее судить, а сами расправились с ней: нацепили ей головы и хвосты и повели по деревне. Бабы били в косы, мужики ругались, ребятишки улюлюкали.

У отца и сестер она была за повара. Сестры рассказывали, что однажды, проходя мимо кухни, отец окликнул ее:

- Анисья, а Анисья!
- Что вы, Лев Николаевич?
- Знаешь что, ты на Семирамиду похожа...
- Да ну!.. - радостно воскликнула Анисья.

С этого дня так и прозвали ее Семирамидой.

Я была тогда еще маленькой, мало что понимала, но мне казалось, что отец и сестры, уезжая в Ясную, веселились, как школьники, очутившись без надзора старших. Они писали бодрые письма, и когда наконец семья снова соединялась, много рассказов их мы слышали о пребывании в Ясной Поляне. Помню рассказ о том, как тетушка Татьяна Андреевна приезжала к ним в гости. Они ее кормили вегетарианской пищей, которую она терпеть не могла.

Однажды к обеду отец и сестры притащили живую курицу, привязали ее к ножкам стула, где должна была сидеть тетенька, и положили к ее прибору большой нож.

Тетушка не могла понять, к чему все это было сделано.

- Ты ведь хотела курицы, - сказал ей отец, - а у нас нет никого, кто решился бы ее зарезать, вот мы тебе все и приготовили...

Мать считала, что детей надо учить. Для этого мы жили в Москве. Отец считал, что детей не надо заставлять учиться, а надо воспитывать в простой, трудовой жизни. Поскольку сами дети хотели бы приобретать знания, они сумели бы это сделать. Тратились большие деньги на преподавателей, учебные заведения, но учиться никто не хотел.

Малыши чувствовали несогласие родителей и невольно брали от каждого то, что было понятнее и что больше нравилось. То, что отец считал образование необходимым для каждого человека и сам до конца дней старался пополнить свои знания, мы пропускали мимо ушей, улавливая лишь, что он был против ученья. То, что мам? говорила о необходимости иметь много денег, чтобы хорошо одеваться, держать лошадей, устраивать

приемы и балы, вкусно есть, нам нравилось. Но ее требования работать и кончать учебные заведения были уже неприятны. Мы не задумывались над всем этим, а жили, как было проще и легче.

А между тем некоторым из нас ученье давалось легко. Миша был исключительно способным мальчиком, Таня его очень любила и рассказывала мне о нем. Один раз Таня поехала с ним, совсем еще маленьким, на станцию Ясенки. Миша вывалился из саней, должно быть, ушибся, но ничего не сказал. Таня удивилась, что он неподвижно лежит в снегу и позвала его: "Миша, вставай!" - "Нет, я полежу". Таня испугалась: "Ты, может быть, ушибся?" - "Нет, я полежу!" Так с тех пор и пошло. Когда, бывало, кто-нибудь ушибется и боится расплакаться, говорили: "Я полежу".

Когда Миша едва умел читать и писать, он нацарапал на бумажке: "Надо быть добрум" - и носил в кармане свое изречение.

Часто, часто, когда кто-нибудь сердился, отец кротко улыбался и говорил: "Надо быть добрум!"

Миша был самым музыкальным в нашей семье. Какой бы мотив ни услышал, сядет, бывало, за фортепиано, возьмет гитару, балалайку и сейчас же подберет. Одно время он учился на скрипке и делал большие успехи, мам? радовалась, гордилась им, но он скоро бросил.

Помню, впервые пел у нас в Москве Шаляпин. Отцу не понравилось то, что он исполнял: "Песню о блохе", "Два гренадера". Шаляпин предложил спеть песню "Ноченька". Но аккомпанировавший ему молодой пьянист Гольденвейзер без нот сыграть песню не мог. Миша застенчиво подошел к фортепиано, подобрал мотив, и

через несколько минут Шаляпин уже пел под его довольно примитивный, но совершенно верный аккомпанемент.

Учиться Миша не хотел и совсем забросил лицей. Его грозили выгнать, если он еще хоть раз опоздает к урокам. Мам? была в отчаянии, бранила, упрекала, но ничто не помогло. И вот как-то Миша опять вернулся поздно и не хотел вставать, несмотря на то, что слуга уже несколько раз будил его.

Что делать? Я налила полный кувшин ледяной воды, подкралась на цыпочках к Мишиной кровати и опрокинула весь кувшин ему на голову. Мгновенно из-под одеяла высунулась взъерошенная мокрая голова, злобно вскинулись серые сонные глаза. Миша вскочил и бросился за мной. Я помчалась по коридору. Миша за мной. Я выбежала из ворот на улицу. Миша опомнился, побежал домой, оделся и пошел в лицей. Долго старалась я не попадаться ему на глаза. У Миши были здоровые кулаки, и дрался он очень больно.

Андрей тоже не учился. Мам? поверила, что ему трудно заниматься, потому что в детстве у него было воспаление мозга. Она жалела его и любила больше других. До рождения Ванечки он считался любимчиком. Пожалуй, и отец относился к нему лучше, чем к другим, за его доброту и сердечную чуткость.

От няни мое воспитание перешло к англичанкам-боннам, научившим меня говорить по-английски и обливаться холодной водой, а затем к гувернанткам. Они постоянно менялись, я их не любила, старалась делать им наперекор. И они находили какое-то удовольствие в том, чтобы меня мучить. Мам? меня шлепала, наказывала, таскала за косу, но это не

помогало. В конторе по приисканию гувернантки у меня была уже определенная репутация: "Ah, la petite Sasha Tolstoy, non, merci!"¹

Была только одна англичанка, которую я любила и которая жила у нас летние месяцы в течение семи или восьми лет, - мисс Вельш. Но о ней я расскажу после.

Моя мать решила подготовить меня к экзамену на домашнюю учительницу при округе и, кроме того, меня с десяти лет учили: английскому, немецкому, французскому языкам, музыке, рисованию. Я занималась каждый день с 9 до 12, потом бывал перерыв на завтрак и прогулку, а затем с двух до шести. Вечером после обеда я готовила уроки. Воспринять такое количество знаний я была не в состоянии и училась плохо.

Самым большим моим удовольствием были часы, когда я бывала в саду. Каким тенистым, громадным представлялся мне этот сад! Дорожки, заросшие кустарником, казались непроходимыми дебрями, куртина яблонь и груш - фруктовым садом, аллеи казались бесконечными, курган высоким и неприступным, а заросшая кустами беседка, внутри оклеенная скачущими на лошадях жокеями, мне казалась таинственной и прекрасной. Теперь, когда я бываю в этом саду, мне хочется вызвать впечатления детства. Но аллеи рядом с высоким забором кажутся общипанными и жалкими, кустарник у дорожки точно поредел, двумя шагами я взбираюсь на облезший курган и не могу найти фруктового сада. Может быть, в детстве воображение восполняло недостатки, а может быть, сад и в самом деле поредел?.. Но и теперь он бесконечно мил моему сердцу. Кроме сада, в хамовническом доме был еще большой двор, окруженный забором и различными

службами. Мы приезжали в Москву целым хозяйством: пара выездных лошадей со старым кучером Емельянычем, корова, вагон сена и овса, громадные кадки с солеными огурцами, квашеной капустой, большие запасы варенья. Один раз привезли даже верховую лошадь отца - Мальчика. Я помню, как Мальчик пасся в саду, а я, вместо того чтобы учиться, наблюдала в окно, как он гонялся за отцовской лайкой Белкой.

В первом от улицы сарае помещалась корова, затем лошади, каретный сарай, последний же сарай был занят книгами. Здесь были свалены в большом количестве сочинения отца, которые издавала и продавала мам?. На это жила вся семья, так как книги приносили около 20 000 дохода ежегодно.

В одном из флигелей жил артельщик Матвей Никитич Румянцев - он вел книжные дела. Это был толстый человек с окладистой бородой, большим животом и сильной одышкой. Матвей Никитич одевался солидно в черную пару с лоснящимся жилетом, по которому была пущена массивная серебристая цепочка, ходил животом вперед и казался нам очень важным. Жену его, толстую, заплывшую салом женщину, я иначе не представляю себе как сидящей перед домом на стуле и с тупым видом щелкающей подсолнухи.

При выходе на улицу стояла маленькая сторожка, в ней жили дворник и кучер. Дощатая дорожка вела к кухне, стоявшей по другую сторону дома. Здесь же были столовая для "людей" и маленькая каморка, в которой жил повар Семен Николаевич.

Дом был старый. Тогда еще моя мать говорила, что ему больше ста лет. Она уверяла, что неудобен, что только Левочка мог выдумать купить дом в таком

неаристократическом квартале, где кругом фабрики и заводы, что он не годится для приемов. Мне же в детстве казалось, что нет и не будет никогда такого прекрасного, уютного дома, как хамовнический. На его внешность мы, дети, разумеется, мало обращали внимание, но я хорошо помню, что когда моя мать решила его подновить и коричневый, потускневший от времени дом сделался вдруг розовым, с фиштакковыми ставнями, мы все за него обиделись. Он сделался противным, как молодящаяся старуха!

А какие в нем были прекрасные комнаты, какие переходы, лестницы маленькие и большие, стенные шкапы!

Мы жили внизу. Здесь помещались столовая, спальня родителей, Танина комната, мальчиков, детская, моя и гувернантки.

Наверху были парадные комнаты. Маленькая передняя, из которой Таня, обладавшая большим вкусом, устроила приемную, где обычно сидела молодежь, зал, большая и маленькая гостиные. Эти комнаты казались мне неуютными. Хороша была только большая тахта в гостиной, широкая и низкая, на которой удобно было кувыркаться через голову. В зале же самым удобным местом была медвежья шкура, лежавшая под фортепиано. Бывало, играет кто-нибудь - дядя Костя, Сережа или мам?, а ты лежишь на шкуре, приткнувшись к голове зверя, и слушаешь. Эта шкура была с того самого медведя, который чуть не загрыз отца на охоте.

Из парадных комнат две маленькие лесенки вели в коридор - одна из зала, другая из маленькой гостиной. Первая по коридору была Машина комната - низкая, с маленькими окошечками. Дальше шли комнаты экономки,

портнихи, лакея, а в самом конце, в углу дома, отдаленные от всех остальных, были две маленькие, с очень низкими потолками комнаты отца - прихожая, где ореховый шкаф отделял умывальник, и направо его кабинет - святая святых в нашем детском представлении.

Комнаты сестер были совершенно разные.

Танины - нижняя, где она спала, и ее маленькая приемная наверху - были обставлены с большим вкусом. Уютная мягкая мебель, диванчики, какие-то необыкновенные, кустарной работы скатерти, картины, альбомы, бесчисленное количество фотографий родных и друзей - все это было разбросано хотя и в беспорядке, но со вкусом.

В Машинной комнате не было ничего лишнего. Простые, твердые стулья и стол, жесткая кровать без матраца - все производило впечатление строгости и чистоты.

Я любила ходить в Танину комнату, здесь было много интересных картин, а в большой чашке кустарной работы часто бывали орехи-смесь. К Маше было почти так же страшно ходить, как к отцу. Здесь все было строго, сурово, пахло лекарствами.

Да и сами сестры были совершенно разные.

Таня была любимицей всей семьи. Мам? несравненно более любила Таню, чем Машу. Они всегда вместе выезжали и всегда оживленно вспоминали это время. Но любовь к матери не помешала Тане быть близкой к отцу и разделять его взгляды. Она никогда резко не становилась на чью-либо сторону и всю свою жизнь старалась быть связующим звеном между родителями. Таню любили малыши, потому что она часто

возилась с ними, любили старшие братья, с которыми она была дружна. Веселая, жизнерадостная, с вьющимися каштановыми волосами, живыми карими глазами, коротким, точно срезанным носом, Таня была действительно привлекательна. Она хорошо знала языки, занималась в школе живописи. Репин и другие художники говорили о ее больших способностях. В семье считалось, что Таня самая умная и образованная.

Когда я вспоминаю Машу, на душе делается радостно и светло. Всем своим обликом она была похожа на отца, хотя если разбирать отдельно черты ее лица, только серые внимательные и глубокие глаза да высокий лоб были отцовские. Тоненькая, грациозная, она была очень ловка - все спорилось в ее некрасивых, немного узловатых руках. Лицо Маши было серьезное, сосредоточенное, казалось, что она точно прислушивалась к тому, что у нее происходит внутри. Все любили ее, она была приветлива и чутка: кого ни встретит, для всех находилось ласковое слово, и выходило это у нее не деланно, а естественно, как будто она чувствовала, какую струну надо нажать, чтобы зазвучала ответная. Машу все называли некрасивой - большой рот напоминал материнский, зубы были плохие, немножко велик был нос, но все существо ее казалось мне милым и привлекательным.

Отец любил обеих. А они, насколько я могла заметить, ревновали его друг к другу. Каждая из них думала, что он любит другую больше...

Старшие братья почти не жили с нами. В воспоминаниях моего детства они занимали очень маленькое место, так как вся наша жизнь проходила без них. Когда я подросла, старший брат, Сергей,

переселился уже в толстовское родовое имение Никольское-Вяземское в Тульской губернии, доставшееся ему как старшему в семье.

Сережу я всегда немножко боялась, уж очень он мне казался серьезным и важным. Он окончил университет, был музыкантом. Мало знающим его людям он представлялся (да и теперь представляется) сердитым, нелюдимым. Но стоит его поближе узнать, и сейчас увидишь, что под внешней суровостью, ворчливостью, иногда даже грубостью скрывается большая доброта, ласковость и даже... как это ни мало вяжется с его внешностью, большая застенчивость. Когда я была совсем маленькой, он называл меня своей "единственной сестрой", чем я была очень горда. В нашей семье не принято было никаких нежностей, и если кто-нибудь называл другого ласковым именем, то обычно это резко высмеивалось: "Какие сантиментальности!" - или: "Какие нежности!"

То, что старший брат меня называл своей единственной сестрой, было очень много. Я так это принимала и ценила.

Должно быть, до сего времени брат не знает, какое сильное впечатление на меня имела его музыка. Когда я была совсем маленькая, я вечерами не могла спать, слушая его игру. От него я научилась понимать и ценить Шопена, Бетховена, Грига. Долгое время, каких бы музыкантов я ни слушала, мне казалось, что лучше брата Сергея никто играть не может.

Илья на моей памяти совсем не жил с нами. Я едва помню, как он женился, и то только потому, что меня не взяли на свадьбу, а я была очень обижена.

Большой, широкоплечий, с русой окладистой бородой, чуть-чуть сутуловатый, с широким носом и серыми глазами, лохматыми бровями, Илья больше всех похож на отца.

Он жил в деревне, в той же Тульской губернии, недалеко от брата Сергея.

Больше других жил с нами брат Лев, женившийся гораздо позднее на дочери знаменитого шведского врача Вестерлунда. Черный, с маленькой рыжей бородкой, большим носом с горбинкой, большим ртом, черными глазами, Лев был больше похож на мать, чем на отца. Он часто болел, и мам? беспокоилась о нем. Университет он не окончил и постоянно менял свои увлечения: то делался последователем отца и строгим вегетарианцем, то, наоборот, с такой же страстностью восставал против его идей. Было время, когда он проповедовал полное целомудрие и безбрачие, а потом, женившись, с таким же убеждением говорил о необходимости для всех раннего брака. Он писал, и одно время в литературном мире обратили на себя внимание его произведения, но не талантом своей, а его полемикой с отцом: "Прелюдия Шопена" вместо "Крейцеровой сонаты", "Яша Поляков" вместо "Детства" и "Отрочества" и т.д.

Кажется, Суворин прозвал его тогда Тигр Тигрович.

Большая была у нас семья, разнообразная. Мать, как наседка, распутив крылья, старалась собрать вокруг себя свой выводок. Но постепенно все уходило из-под ее влияния. Сыновья стремились зажить самостоятельной жизнью, дочери тянулись за отцом.

Единственным утешением мам? был Ванечка. На нем она сосредоточила всю свою жизнь.

Мое одиночество

В доме все тосковали, мам? больше всех. Она плакала, металась, не находила себе утешения. То ходила по церквям, молилась, исповедовалась и причащалась, то уезжала на могилы Ванечки и Алеши - тихое, маленькое кладбище в поле, состоящее из нескольких холмов да скромных памятников. Здесь было тихо, щебетали птицы. Мы сажали цветы, деревья. Хорошо помню величественную фигуру мамы в трауре, с длинной черной вуалью на голове, склоненную над маленьким, еще свежим холмиком. Что-то шептали дрожащие губы, а из близоруких, прекрасных глаз струились слезы... Мам? поручила смотреть за могилами крестьянину Комолову, жившему недалеко от кладбища в селе Никольском. Она любила говорить с ним и с его женой - простые, грубоватые слова их хорошо действовали на ее исстрадавшуюся душу.

Все поражались кротости мамы. Она точно переродилась - со всеми была добра, ни на кого не сердилась, а только плакала. Отец утешался в своем горе тем, что несчастье отвлечет ее от всего внешнего, от мирской суеты, пробудит в ней духовные интересы, которые не только осветят ее жизнь, но и приблизят к нему*.

Я тоже тосковала по-своему. Сколько раз мне хотелось подойти к матери, приласкаться, поплакать вместе с нею, но я не смела...

Мы часто виделись с Надей и часами говорили о Ванечке, вспоминая его словечки, искали всякого о нем напоминания. Как-то в Третьяковской галерее в картине Васнецова "После битвы" мы обратили внимание на убитого юношу-воина, изображенного на переднем

плане. Этот мальчик со светлыми кудрями и одухотворенным лицом напомнил нам Ванечку, и мы долго, не отрываясь, смотрели на него.

Этой же весной Надина мать, которая очень сердечно отнеслась к нашему горю, взяла меня вместе с Надей в свое подмосковное имение. Здесь было много девочек и мальчиков, но мне было с ними не по себе, казалось, что они меня сторонятся, а я была так застенчива, что стоило мне почувствовать малейшую отчужденность, как я уже уходила в себя. Хорошо мне было только с Надей. Помню, мы здесь решили с ней писать роман. Каждая должна была написать главу и прочитать ее вслух. Но когда я услышала Надино произведение, начинавшееся с светского разговора, пересыпанного французскими фразами, мне оно показалось таким великолепным и блестящим, что я не решилась прочитать ей начало своего романа, в котором "по зимней метели на плохонькой лошаденке возвращается домой пьяный мужик".

Я была рада, когда мам? приехала за мной. Испортило поездку еще и то, что у меня случилось что-то с головой. Она чесалась так, что я разодрала ее в кровь, и на затылке в ямке образовалась постоянно мокнущая ранка. Наконец няня заметила.

- Да что это ты так чешешься?! - воскликнула она. - Покажи-ка. - Она взяла мою голову к себе на колени и стала перебирать волосы. - Господи Иисусе Христе, да ведь голова-то у тебя как есть вся во вшах!

Не долго думая няня схватила тряпку, пропитала ее керосином и намазала мне всю голову. Ранка так точила, что я чуть не кричала от боли. Няне было неловко, что она так запустила меня из-за своего горя. Я тоже

страдала. Это как будто незначительное событие острой болью врезалось в мою память.

Постепенно все входило в колею с той только разницею, что не было маленького, всеми любимого существа, которое освещало и одухотворяло нашу жизнь, да мам? металась, стараясь найти новые интересы.

Много времени она уделяла мне: заботилась о том, чтобы у меня были хорошие учителя, гувернантки, если я болела, приглашала ко мне докторов, старалась развить мои музыкальные способности, брала с собой в концерты, заставляла читать вслух Мольера, Корнеля и Расина. Но я не могла даже частично заменить ей Ванечку, а мам? не могла дать мне ласки, нежности, того, без чего я так тосковала... Когда я робко пыталась подойти к ней, она не понимала меня.

- Ты что, Саша? - спрашивала она с таким удивлением, что я мгновенно отшатывалась. Я не знала, чего она от меня хочет и за что мне больше попадет. За разбитую чашку, за ложь или за плохо выученный урок? По опыту я знала, что может одинаково попасть за все, и старалась скрыть от матери свои поступки.

Помню такой случай. На меня надели новенькое бумазейное платье. Оно мне не нравилось: возмущали шесть громадных перламутровых пуговиц, как-то некстати наклепленные спереди для украшения. Я побежала в сад и, забыв про свою обновку, с увлечением играла с мальчишками в салки, как вдруг поскользнулась и упала в грязь. Я прибежала к няне. Увидав меня в таком виде, няня отругала меня и, качая головой, стала рассуждать о том, как бы это не дошло до графини. Вдруг дверь отворилась и вошла мам?. Я поспешила спрятаться за стол, но мам? увидела платье, схватила

[меня] за голову и начала таскать. Как сейчас помню в корнях волос, особенно на затылке, ощущение ноющей боли.

- Ах ты дрянная девчонка! (Мам? всегда в таких случаях называла меня дрянной девчонкой.) Как ты смеешь так с новыми вещами обращаться!

Бывали и раньше случаи, когда мам? таскала меня за волосы или шлепала, но почему-то это не производило на меня такого сильного впечатления, как на этот раз. Что-то подступало к горлу, от чего трудно было дышать, что-то темное, страшное. Слез не было. Я забилась в беседку, в темный угол, и припомнилось мне тут все: и Ванечкина смерть, и мое одиночество, и все напрасные обиды и несправедливости старших. "Пойду топиться в Москву-реку", - решила я и, выскочив из беседки, побежала за ворота вниз по переулку, к реке. А грязь была ужасная, ноги промокли. "Как же это я без галош? - вдруг мелькнуло у меня в голове. - Вот попадет!" Мысли пошли по другому руслу, я вдруг заметила прохожих, некоторые из них с недоумением смотрели на меня. Я повернула обратно.

В эти годы, когда мне было 11-12 лет, тяжелые думы не давали мне покоя. По-видимому, они во что-то складывались, ум искал объяснений томившему меня одиночеству, и вот наконец я сделала открытие и поспешила поделиться им со своей подругой.

- Знаешь, Надя, - таинственно сообщила я ей, - я приемыш!

- Что ты? - с ужасом воскликнула Надя. - Почему ты так думаешь?

- По всему. Ванечка, тот действительно настоящий был сын, а я нет. Вот когда я была совсем маленькой, мне проговорились старшие, что я дочь какого-то сумасшедшего помещика. Потом они сказали, что это неправда, но теперь я знаю, что это так.

- А может быть, ты ошибаешься? - спросила Надя. Ей было жалко меня, но вместе с тем увлекал романтизм этой истории.

- Вот еще что, - продолжала я. - Сколько раз мам? говорила: Ванечка похож на папу, Таня и Лева на меня, а Саша ни на кого не похожа.

Надя разволновалась. Она не могла оставаться бездеятельной и, несмотря на то, что дала мне слово молчать, решила, что дело настолько важное, что она имеет право нарушить слово и переговорить с моим братом Мишей. Через несколько дней, когда мы с Мишей возвращались от Нади, он сказал, что должен переговорить со мной. Это меня удивило. Миша меня часто тузил, но редко со мной разговаривал. А тут еще и голос у него был ласковый.

- Ты все это глупости выдумала, - сказал он, - что ты не дочь пап? и мам?; я знаю наверное. Ты выбрось это из головы. - Миша не любил много разговаривать, но его уверенный мальчишеский тон подействовал на меня сильнее всяких убеждений. - Откуда ты это взяла? - спросил он, покровительственно-ласково улыбаясь.

Но мне не хотелось отвечать. Да разве я сумела бы рассказать, каким образом сложилась в моем детском представлении эта нелепая история? В эту тяжелую пору сестра Таня много времени проводила со мной. С самого раннего детства, когда я сестру называла мамой, у меня сохранилось особое чувство к ней. Мало того что она мне

очень нравилась своей жизнерадостностью, живостью, она как-то сумела подойти ко мне, я не боялась ее, почти никогда не врала ей и чувствовала себя не только легко, когда она бывала со мной, но и празднично. Она брала меня на выставки картин, в зоологический сад, иногда вместо мамы ездила со мной на детские утра и вечера. Вокруг Тани всегда вертелась молодежь, ей рассказывали секреты, она старалась всем помочь - все ее любили. Заболел Лева - Таня везла его к докторам, утешала, ободряла его, нужно было выдать замуж родственницу - Таня хлопотала, шила подвенечное платье.

Помню, как раз с этим платьем у меня случилась беда. Слонялась я по дому, зашла в девичью, вижу, на столе лежит белое платье, а рядом горячий утюг. Я схватила его и начала гладить. Запахло паленым, и на материи остался желтый след. Я ужасно испугалась, бросилась к Тане, а она ничего, даже не поругала!

Другой раз, помню, среди нас, детей, было поползновение подойти к нечести, нехорошим вещам. Таня вовремя это заметила. Она так спокойно, не сердясь и мудро все объяснила, что сразу отбила охоту этим заниматься...

От Маши я видела не меньше ласки и доброты. Помню, я ужасно страдала от нарывов в ушах. Нарывы были громадные, опасные, в среднем ухе. Маша ходила за мной. Никто не мог так ухаживать за больными, как она. Как ловко она ставила компрессы, как тихо двигалась по комнате, как хорошо утешала! Я мучилась по трое, четверо суток. Ужасная была боль. Казалось, голова раскалывается. Забинтованная, с компрессом, я сидела на подушках ночи напролет, качалась от боли и

стонала. Маша сидела со мной, она обнимала меня, я прислоняла голову к ее груди, и мне становилось легче.

Помню, как-то прорвался большой нарыв, залил всю подушку гноем, наступило блаженство, и я заснула. Проснувшись, я увидела Машу, которая читала у окна. Она подошла к кровати и, радостно улыбаясь, положила мне на одеяло тяжелый сверток. Это были прекрасные никелированные коньки, о которых я даже не смела мечтать. Я знала, что коньки стоили очень дорого, знала, что у Маши не было денег.

Много лет я каталась на этих коньках и каждый раз, когда я брала их в руки, чтобы вытереть и смазать, я с нежным умилением вспоминала сестру.

Однажды я читала Майн Рида "Всадник без головы". Это было увлекательно, я не могла оторваться, с ужасом думая, что скоро уложат спать и я до завтрашнего дня не узнаю конца. С вечера я заготовила несколько огарков и в постели, держа свечку в руке, продолжала читать. Я услышала, что кто-то вошел в комнату, только когда сестра Маша подошла к кровати. Я инстинктивно задула огарок. Маша рассердилась на меня.

- Как тебе не стыдно, не только делаешь то, что запрещают, но еще хочешь скрыть, лжешь... - Маша говорила недобро, жестко и ушла, хлопнув дверью.

"Ну чего она злится?" - думала я, и мне было досадно, что не узнаю сегодня, кто был этот всадник. Мысли переносились в прерии, мне мерещились скачущие мустанги. Я задремала.

- Саша, ты спишь? - Маша сидела у меня на кровати.
- Ты прости меня, сказала она, - знаешь, я подумала, что

я не права. Раз ты меня боишься, значит, я тебе дала повод к этому, была с тобой недобра...

И вдруг горечь и злоба мгновенно растаяли и заменились радостью и раскаянием. Мне стало стыдно, что я хотела обмануть Машу, радостно, что она такая добрая и простила мне.

- Я не буду, не буду больше, - шептала я в слезах. А она гладила меня по голове, и хотя в комнате было темно, я знала, что на глазах у нее слезы, а лицо светится добротой.

В Машином детстве также было много тяжелого, как и в моем. Она рассказывала, как они росли слевой, с которым были погодками, и как мам? всю свою привязанность, заботу и нежность отдавала ему, а Маша, худенькая, некрасивая, чувствовала себя одинокой, обиженной. На меня произвел большое впечатление рассказ сестры о том, как мам? заставляла их слевой шить мешочки и за каждый мешочек обещала заплатить по гривеннику. Денег у них не было и гривенник казался целым богатством. Маша изо всех сил старалась и хорошо, аккуратно сшила свой. Лева сшил небрежно. И вот мам? дала Лева гривенник, а про Машу забыла. Маша плакала, но напомнить матери побоялась. Когда Маша стала взрослой, само собой вышло так, что она откололась от матери. Они были совершенно разные, точно чужие. Все ее поступки, мысли, чувства были матери не по душе. За все осуждала она Машу: и за отказ от своей части имущества, и за простоту жизни, и за занятия медициной. Но кроме всего этого, мам? ревновала Машу к отцу. Случилось так, что Маша ближе всех подошла к нему. Мало того что она была необходима ему в работе, в сношениях с людьми. Маша

давала отцу много душевной ласки и радости, без слов понимала его. Он только посмотрит на нее, а она уже со свойственной ей чуткостью знает, что он хотел сказать.

Друзья отца: Мария Александровна Шмидт, Горбунов, Бирюков и многие другие - были и ее друзьями. Вновь приходящих к отцу она встречала приветливо, ободряла их. Они любили ее и чувствовали себя с ней просто.

Мне запомнился один случай, о котором Маша мне рассказывала гораздо позднее. К отцу приезжал последователь: он признался отцу, что болен сифилисом. Однажды во время разговора с отцом гость налил себе воды из графина и выпил. Маша просила его передать воду, желая налить себе другой стакан. Толстовец же не долго думая налил воды в свой стакан и передал сестре. Маша, зная о болезни гостя, с минуту поколебалась (отец наблюдал за ней) и выпила. Отец был расстроен. Он позвал к себе гостя и пробрал его. "Как можно, - говорил он сердито, - зная, что у вас такая ужасная болезнь, подвергать девушку опасности!"

Маша часто влюблялась. Я была еще совсем маленькая, когда у нее был роман с З., тем самым репетитором, которым увлекалась Дунечка. Однажды мы возвращались поздно вечером от соседей. Линейка широкая. Когда все с двух сторон усаживались, мне оставалось местечко посередине, где я укладывалась. Только что я собралась заснуть, как вдруг услышала интересный разговор.

З. говорил Маше о своей любви, и Маша что-то тихо отвечала ему.

Сама не знаю, почему я рассердилась. И когда на другой день сестра заговорила со мной - я надулась.

- Чего ты сердишься, что с тобой, Саша?

- Ничего, - буркнула я. Потом не выдержала и добавила капризно: - Зачем это З. вчера вечером говорил, что тебя любит, а?

Маша сконфузилась. Но скоро и этот роман, как и многие другие, кончился. Собиралась Маша и за Бирюкова замуж, увлекшись, насколько я могла тогда понять из разговора, не им, а толстовством в его лице, мечтами о трудовой, христианской жизни.

Затем Маша увлеклась молодым человеком Р. Блестя черными, красивыми глазами и чуть подергивая плечом, Р. говорил о своих идеалах в жизни: "Цыгане, охота и медицина - родные сестры!" Он был медиком.

Отец видел, насколько Машины поклонники были ниже ее по душевным качествам, ему было больно, он боялся за нее, может быть, ревновал...

Казалось, обе сестры одинаково воспринимали отцовские взгляды. Но если бы меня тогда спросили, кто больше "темный", Таня или Маша, я бы, не задумываясь, сказала: конечно, Маша.

Когда Маша шла на покос в простом ситцевом платье, повязанная платком, с перекинутыми через плечо граблями, казалось, что это так и надо. Говорила она с бабами, точно век прожила с ними, и они забывали, что она графиня и барышня, и делились с нею самым сокровенным: кому муж изменил, у кого неблагополучные роды, у кого ребенок болеет. Они приходили к ней лечиться, она давала лекарства, советовала, что делать, ходила сама на деревню,

ухаживала за больными, помогала при родах. Бабы ее любили.

Однажды во время пожара, когда, как это всегда бывает, сбежалась вся деревня и мужики стояли, спокойно покуривая махорку, прибежала Маша, пристыдила мужиков, заставила всех таскать воду ведрами из колодца, а сама, стоя по колени в воде, несмотря на то, что была не совсем здорова, черпала воду. За этот случай Маша жестоко поплатилась: она всю жизнь страдала женской болезнью и, может быть, вследствие этого, когда вышла замуж, не родила ни одного живого ребенка.

Тане "опрощение" давалось труднее. Веселая, блестящая, кокетливая, она прекрасно одевалась, любила все красивое; палитра и краски гораздо больше шли к ней, чем грабли и вилы.

Одно время в Ясной Поляне сестры устроили себе прачечную внизу, во флигеле, считая, что грешно заставлять других стирать свое грязное белье. Было много разговоров о способе выжимания - к себе или от себя, мечтали о покупке стиральных, выжимальных и еще каких-то машин, но пока работали руками, стирая их до крови. Обе сестры были ловки, но мне казалось, что у Тани это выходит как-то нарочно, как мы в детстве говорили, невзаправду, а у Маши - взаправду. Помню, как Маша особенно ловко полоскала, совсем как баба. Босая, с засученными до локтя руками, с подоткнутой с двух сторон юбкой, она, перегибаясь с плота, широкими, размашистыми движениями полоскала белье, складывала и одним ударом валька пришепывала мокрое белье, а вторым сильным ударом отжимала воду. И эти два - один

глухой, а другой резкий - удара один за другим гулко разносились по пруду: та-там, та-там.

Помню, Тане стремился помочь "темный" Е.П. Он мрачно следовал за ней из прачечной на пруд и обратно и противными, бараньими, влюбленными глазами следил за ней...

Таня часто уезжала куда-нибудь: то к друзьям - Олсуфьевым, одна или с пап?, то за границу, то с Мишей в Швецию. Да, кроме того, у нее были свои дела. Обе сестры были заняты перепиской для отца, у каждой из них была своя жизнь, свои интересы, они не могли отдавать мне много времени. А потом они скоро, слишком скоро для всех нас, вышли замуж... Наконец мне посчастливилось, я не была уже так одинока: вместо злой и нервной м-ль Детра, уволенной за то, что она в кровь рассекла мне руку линейкой, поступила мисс Вельш - маленькая, кроткая женщина средних лет с добрыми карими глазами. Сначала я пробовала ее изводить так же, как других гувернанток, но из этого ничего не вышло, я привязалась к ней. Если я плохо занималась или нарочно путала гаммы, она говорила мне: "Вы сегодня не в настроении, хорошо, мы заниматься не будем" - и уходила. Тогда я приходила в отчаяние и бежала за ней. Дверь ее оказывалась запертой. Я ложилась под дверью на живот и начинала причитать: "Мисенька, Вельсенька, darling, dearest, please, let me in"¹. Если это не помогало, я по двери с черного хода взбиралась наверх, на крышу, и к ней в окно. Увидев меня, мисс Вельш сначала пугалась, потом сердилась и наконец начинала смеяться. А мне только этого и нужно было. Я бросалась ее целовать, мир

восстанавливался, и я некоторое время добросовестно барабанила гаммы.

Мисс Вельш привязалась ко мне, и я любила ее, но горе было в том, что она не могла оставаться со мной на зиму, так как у нее была своя небольшая музыкальная школа в Москве. На зиму мне снова брали французенку, с которой я неизменно воевала.

В Москве

Училась я неохотно и плохо, главным моим интересом были лошади, игры и спорт. Девочек-сверстниц у меня не было ни в нашем доме, ни у Кузминских, с которыми я выросла, поэтому немудрено, что почти все время я проводила с мальчиками. У меня выработались их ухватки, меня забавляли их игры. Я могла ездить верхом без седла, лазила по деревьям, стреляла из монтекристо. Мне было скучно одной, и я изо всех сил тянулась, чтобы ни в чем не отставать от братьев. "Не лезь, - говорил Миша, - будешь потом реветь". Но я лезла и терпела, когда Мишины товарищи-поливановцы били меня. Особенно жестокая игра была в пристенок. Проигравшийся становился у стены, в него били черным твердым, как камень, мячом. Часто на спине оставались кровоподтеки, но, стиснув зубы, я молчала, не показывая вида, что мне больно. С особенным ожесточением всаживал мне в спину мяч здоровый, коренастый парень Карцев, должно быть, из купцов. И только один мальчик с красивыми мечтательными глазами никогда не бил меня. Он отличался от остальных женственностью во всем своем облике и тем, что вместо черной суконной куртки, подпоясанной ремнем, форма Поливановской частной гимназии, на нем была бархатная блуза с белым

отложным воротником. Мне нравился этот кроткий мальчик - Боря Бугаев.

Зимой самым большим удовольствием был каток. Расчищались и поливались водой небольшая площадка перед домом и деревянная гора. Нужно было вылить сотни кадок воды, чтобы образовалась гладкая ледяная поверхность. Редко нанимали кого-нибудь для этой работы. Только выдавалась свободная минутка, я бежала в сад возить воду и поливать. Я промокала насквозь, покрытая ледяными сосульками одежда гремела и не гнулась.

А иногда утром, когда проснешься и дворник снаружи отворит ставни, выглянешь в окно и видишь, что отец тянет полную кадку воды на каток. Борода заиндевела, лицо покраснелось, изо рта валит пар. Спокойно, не торопясь он подвозит кадку, подымает за дно и опрокидывает. Вода быстро растекается по гладкой поверхности, и отец ловко, быстро отскакивает, ставит кадку на салазки и отвозит.

Колодезь был в глубине сада. Маленькая будочка покрывала примитивный ручной насос. Когда качали воду, вся будочка скрипела и шаталась. Зимой отец возил воду ежедневно. Он запрягался в санки, подвозил их к колодцу, заворачивал и качал воду. Хорошо помню его напряженную, наклоненную вперед фигуру в полушубке и валенках. Кадка была тяжелая, и он тащил ее с трудом. Дорожка узкая и извилистая. При поворотах сани часто съезжали в сторону, в снег, отец грудью налегал на обмерзшую веревку, сани выпрямлялись, и от толчка прозрачная, синеватая вода выплескивалась на снег.

Отец томился без движения, без физической работы, к которой он так привык в деревне. Там он всегда что-нибудь делал: дрова пилил или в поле работал, много ходил. В Москве ему было тесно, скучно, он даже начал учиться ездить на велосипеде в манеже. Тогда еще велосипеды были с простыми, не пневматическими шинами, без свободного хода. Один раз отец насмешил нас своим рассказом. Только что он научился держать равновесие, и руль еще плохо его слушался, он ехал, вихляясь из стороны в сторону, направляя все силы на то, чтобы не упасть, как вдруг увидел даму, она ехала ему навстречу и тоже как будто чувствовала себя неуверенно. "Только бы не налететь, только бы не налететь", думал отец, но с ужасом сознавал, что не может повернуть руль. "Странное дело, - рассказывал он, - все мои мысли были направлены на даму, у меня было ощущение, что меня к ней притягивало. Мы, разумеется, столкнулись и оба упали".

За этот период Москва запомнилась мне лучше, чем Ясная Поляна. Может быть, потому, что здесь мы проводили большую часть года, а может быть, в деревне жизнь была беззаботнее. В Москве ходили учителя, учительницы, время было строго распределено, развлечения более разнообразны: балы, театры, концерты, весной грибной рынок, постом - церковь, говенье, верба, пасхальная заутреня. Иногда мам? брала меня на дешевые распродажи, которые она очень любила. Мы ездили в пассаж, к Мюру и Мерилизу, покупали остатки материй и кружев. Один раз отец удивил нас.

- А я сегодня был у Мюра и Мерилиза! - сказал он. - Больше двух часов провел у Большого театра, наблюдая. Если дама подъезжает на паре, швейцар выскакивает,

отстегивает полость, помогает даме вылезти. Если на одиночке, он только почтительно открывает дверь; если на извозчике, не обращает никакого внимания.

В субботу был приемный день. Между завтраком и обедом приезжали дамы с визитом на собственных лошадях. Лакей во фраке провожал гостей наверх, в гостиную, где мам? принимала. Вечером собиралось много гостей, главным образом молодежь, друзья и знакомые сестры Тани и товарищи братьев. Часто мам? заставляла меня садиться за самовар и наливать чай. Я смущалась и старалась незаметно удрать. В Таниной приемной около лестницы, иногда прямо на приступках, рассаживалась молодежь, появлялась гитара, пели цыганские песни.

Иногда в разгар вечера, стараясь пройти как можно незаметнее, лакей проводил кого-нибудь из "темных" к отцу в кабинет. В сжавшейся, согнутой фигуре, в смущенном взгляде, который пришедший исподлобья бросал на гостей, было недоуменье.

- Пожалуйста сюда, - говорил лакей, как будто не замечая растерянной торопливости и замешательства посетителя, - сюда-с. - Лакей открывал маленькую, оклеенную обоями дверь из залы и, указывая на лестницу, ведущую в темный коридор, пропускал посетителя вперед.

Помню детский костюмированный бал у Г. Здесь должен был собраться весь цвет московской аристократии, ждали приезда великого князя Сергея Александровича. Долго обдумывали мой костюм, в совещании принимал участие дядя Костя, так как он лучше всех знал, что комильфо, что нет, понимал толк в светских манерах и костюмах. Сам он отлично одевался,

несмотря на свою бедность, прекрасно говорил по-французски, блестяще играл на рояле и был добрый и приятный старичок. Нас, детей, он баловал, часто привозил плитки "сухой горчицы", как он называл шоколад.

Дядя Костя долго меня разглядывал, ужасался на мои большие руки и ноги и никак не мог придумать, какой костюм лучше скрыл бы мою толщину и громоздкость. По его совету мне заказали золотые туфли, черную газовую с блестками юбочку, бархатный лиф, на голову треуголку. Не помню, что это должно было изображать. В день бала пришел парикмахер от "Теодора" и сделал мне громадную седую прическу из моих же волос, употребив пропасть помады и пудры и бесчисленное множество шпилек, отчего у меня сильно разболелась голова. Помню, как я старательно избегала встречи с отцом и норовила прямо из своей комнаты по темному коридору попасть в переднюю и юркнуть в карету, а мам? хотелось показать отцу мой костюм.

Когда бал был в полном разгаре, приехал великий князь и я со своим кавалером, гимназистом графом К., танцевала кадрили, в окно, около которого мы сидели, кто-то постучал. Я оглянулась и увидела, что, прижавшись носом к стеклу, в полушубке и круглой шапочке стоял отец, а с ним сестра Маша. Они улыбались. Я ужасно обрадовалась, когда увидела их, главное, лица были у них такие добрые, приветливые. Мне хотелось выбежать во двор, но гимназист, с которым я поделилась своим восторгом, остался равнодушен и сказал, что идти сейчас на двор неудобно.

Однажды был танцевальный вечер в доме моей подруги Нади, недалеко от нас, на Девичьем поле. Меня

привели и оставили там. За ужином рядом со мной сидели Надины братья и все подливали мне в бокал шампанского. Было жарко, хотелось пить, а холодное как лед шампанское прекрасно утоляло жажду. Когда мы встали из-за стола, я почувствовала, что люди, стены - все поплыло куда-то. Я с большим трудом прошла в залу и уселась, ожидая мазурки. Вдруг как в тумане я увидела отцовскую лайку Белку. "Чудится", - подумала я. Но она, погромыхивая ошейником, со сконфуженным видом обошла всех, обнюхала и, найдя меня, радостно завиляла своим мохнатым хвостом и улеглась у моих ног. В залу вошел отец.

Помню чувство ужаса и стыда, которое горячим варом обдало меня. "Вдруг заметит?" Весь хмель мгновенно соскочил, туман исчез.

Танцы прекратились. Появление отца на балу с собакой, в полушубке произвело большое впечатление. Хозяйка и гости окружили его. Он постоял, поговорил и поспешно, точно ему было не по себе, ушел.

Весной бывали пикники. Ездили под Москву - в Кунцево, в Царицыно большими компаниями, иногда на собственных лошадях, с провизией, фруктами, конфетами. Гуляли по лесам, собирали цветы, катались на лодках, громко восхищались природой.

Но для меня это веселье было ненастоящее. Настоящее было дома, в саду.

Выбежишь и пронзительно свистнешь. Со всех сторон бегут мальчики артельщиковы, заводские. Соберется человек пять, шесть. Зимой подвязывали коньки, катались с горы. Гора крутая, лед гладкий, летишь - дух захватывает: а то на льду же затевали игры в салки, колдуны. А приходила весна, любимым

удовольствием было лазанье по заборам. Это было особенно увлекательно, потому что здесь была опасность, нужны были быстрота, сноровка, ловкость.

В клиническом саду было много подснежников. Мы с ребятами решили развести их в своем саду. Запасшись перочинными ножами, мы влезали на забор. Дозорного оставляли наверху, а сами по команде прыгали вниз, в клинический сад. Больных мы не боялись, они знали нас и сами помогали, мы боялись сторожей. Быстро, не теряя ни минуты, мы старались накопать как можно больше луковиц с маленькими синими бутонами и связать в носовые платки. Ах, как было страшно, особенно когда сверху раздавался свисток и, подняв головы, мы видели, что приближается сторож. Моментально все бросались к забору и, нередко обдирая в кровь руки, перелезали на ту сторону.

Как-то раз, после удачной вылазки, мы сидели на заборе и угощались. На двадцать копеек, мое месячное жалованье, я купила подсолнухов, клюквенного квасу и халвы. Вдруг видим, со стороны нашего сада идет клинический сторож. Куда бежать?

- Эй, ребята, - крикнул он нам, - не видали ли вы тут женщину?

Мы сразу успокоились.

- Нет, а что?

- Да больная у нас одна убежала.

Странное дело. Только что мы говорили с сумасшедшими. И не боялись их, а тут так страшно стало, даже с забора слезать не хотелось. Больную нашли, она спряталась в нашей беседке.

В нашем переулке в белом угловом доме жил профессор Николай Яковлевич Грот. Он часто заходил к отцу, и они серьезно о чем-то говорили. Это было скучно. Но у Николая Яковлевича была большая семья - много девочек, тихих и скромных, и один мальчик - Аля, кругленький и розовенький. Среди нас считалось, что Андрюша влюблен в старшую девочку Женю, некрасивую и скучную, Миша в Наташу, а я в Алю. Я еще не совсем понимала, что значит влюбляться, но братья мне внушили, что это так надо, и я поверила. Один раз за курганом, когда мы с Алей очутились вдвоем, мы поцеловались, и Аля меня спросил: "Когда ты будешь большая, ты выйдешь за меня замуж?" - "Конечно", - ответила я.

На другой день утром Аля принес мне букетик подснежников. "Очень весело, думала я, - и какой Аля милый! Как это Андрюша и Миша хорошо придумали влюбляться!"

Я уехала в Ясную, а братья остались в Москве держать экзамены. Когда Миша приехал, он таинственно отвел меня в сторону и передал мне письмо. Аля писал очень ласково и напоминал, что мы должны жениться, когда вырастем совсем большие.

Миша сказал, что надо быть осторожной, чтобы письмо никому не попало, поэтому я побежала в "американку", заперлась на крючок, перечитала его еще раз и, хоть жалко было, разорвала и бросила. Ответить Але я не решилась: он писал как большой, по одной линейке, а я еще по двум, да с ошибками.

Должно быть, Гроты куда-нибудь переехали. Когда мне было шестнадцать лет, я столкнулась у наших ворот с маленьким румяным студентом в новенькой шинели.

- Саша Толстая? Это ты, вы? - пробормотал он.

- Аля Грот?

Несколько секунд мы стояли молча, разглядывая друг друга, и вдруг рассмеялись и разошлись.

По четвергам мы ездили с мам? в концерты. Играли квартеты, музыка сложная, трудная, я ее никак не могла понять и думала только о том, как бы поскорее она кончилась. Завтра в десять часов придет учительница, уроков я не знаю, надо встать рано. Но мам?, нарядная и оживленная, не замечала моей скуки. А сказать ей, что я не хочу идти в концерт, я не смела. Она, наверное, рассердилась бы: "Вот ты всегда так: какие-нибудь полезные, благородные развлечения тебя не интересуют, тебе бы только с мальчишками по заборам лазить да в чижи играть".

Иногда под звуки музыки я засыпала. Где-то далеко глухо пиликала скрипка, басила виолончель. Когда я просыпалась, мне казалось, что прошло много, много времени, и было странно, что ничего не изменилось, так же старательно играли музыканты, ярко горели люстры, внимательно слушала публика. "Концерт никогда не кончится", - думала я. Особенно долго всегда тянулось анданте. Недалеко от нас сидел музыкант С.И.Танеев, мам? делилась с ним впечатлениями, а после концерта предлагала идти вместе домой пешком. От Благородного собрания до нашего дома 50 минут ходьбы. 12-й час. Я хочу спать, ужасно хочу, глаза совсем слипаются... Молча плетусь за ними, мне ужасно досадно, злые слезы душат меня.

Танеев часто бывал у нас в это время. Как сейчас вижу его доброе, красное лицо с маленькими глазками, всегда блестящее, точно смазанное салом, и

обрамленное небольшой бородкой; жирное, плохо укладывающееся, точно выпирающее из одежды тело, тонкий, захлебывающийся смех, напоминающий квохчущую наседку. Он был одним из самых больших композиторов и музыкантов того времени.

Жил Сергей Иванович в Мертвом переулке в маленьком флигельке во дворе со своей старой няней Пелагеей Васильевной. Она ходила уткой, раскачиваясь из стороны в сторону, так как ноги у нее были сведены ревматизмом, обожала своего питомца, заботилась о нем и, когда его беспокоили, вздыхала и говорила: "Ах, знаете, Сергей Иванович так устал, он все утро сонату пассионату Бетховена играл".

Танеев прекрасно относился к отцу и ко всей нашей семье, был приятным собеседником, музыка его доставляла всем громадное удовольствие. Когда Сергей Иванович садился за фортепиано, он совершенно преображался: лицо его делалось торжественным, важным. Играл он превосходно, музыкальная память у него была изумительная. Стоило ему раз прочитать страницу нот, как он мог уже ее сыграть наизусть.

В это время, приблизительно в 1895 году, семья наша постепенно таяла. Братья зажили самостоятельной жизнью. Сергей женился на дочери профессора Петровской академии Мане Рачинской, а через год женился Лева на дочери шведского врача Вестерлунда, и Таня и Миша ездили в Швецию справлять его свадьбу.

Умер большой друг отца - Николай Николаевич Страхов. Грустно было думать, что этот милый, кроткий старичок, всегда смотревший на отца с нескрываемым обожанием, никогда больше не придет к нам.

Смутно припоминаю поездку в Москву с мам? по случаю смерти Александра III - парады, процессии. Но хорошо помню случай, вызвавший много разговоров, смеха и возмущения в нашей семье.

Петербургский свет, высшее чиновничество должны были приехать на коронацию Николая II в Москву. Было лето, все выехали на дачи или в деревню. Московские домовладельцы решили воспользоваться случаем и по дорогой цене сдать свои дома с мебелью и посудой.

Наш дом взяли за глаза князя Б. Они не сомневались в том, что Толстые живут в хорошей обстановке. Но когда они приехали и княгиня, войдя в нашу скромную переднюю, увидела "всю эту нищету", как она выразилась, она в отчаянье села на пол и зарыдала. Она заявила своему мужу, что ни за что не станет жить в "этой дыре".

Мам? была неприятно поражена, молодежь смеялась, а отец возмущался, считая наш дом пределом роскоши.

От Ходынки только и осталось в памяти, как мам? рассказывала о задавленных и плакала. Она видела, как их везли с поля. Трупы были навалены грудями на полках, из-под брезентов торчали посиневшие руки и ноги...

Все толковали о плохом предзнаменовании, о том, что царствование молодого царя будет несчастным.

Няня откуда-то раздобыла себе эмалированную кружку, одну из тех, что раздавали на Ходынке, но и она вздыхала, говоря:

- Ох, не к добру это, не к добру! Сколько народу подавили!

В Ясной Поляне. "Темные"

Летом тетенька Татьяна Андреевна с семьей уже не жила в Ясной Поляне. В так называемом кузминском доме поселился Сергей Иванович Танеев со своей старой нянюшкой Пелагеей Васильевной. Он сочинял оперу "Орестея", гулял с нами, играл с отцом в шахматы, и иногда мы целыми вечерами слушали в его чудеснейшем исполнении Шопена, Бетховена, Моцарта, Мендельсона.

Я выдумала игру. Она называлась теннис-лаун. Это был теннис на крокетной площадке с молотками и шарами. Этой дикой игрой Сергей Иванович увлекался не меньше меня.

- Даю! - кричала я, катя шар на Танеева. Он отражал, я снова катила на него. Шар летал взад и вперед, как сумасшедший, иногда подскакивал в воздухе, вертелся, иногда больно ударял по ногам, иногда раскалывался пополам. Мы приходили в страшный азарт, от сильных ударов лопались молотки. Чаще всего в игре кроме Сергея Ивановича принимали участие Жули-Мули и ее двоюродный брат, пианист Игумнов, производивший на меня впечатление тем, что мог складываться как аршин и чесать себе пяткой за ухом.

К Сергею Ивановичу приезжал его ученик, Юша Померанцев. Мам? говорила, что он очень талантлив и пишет оперы, а Померанцев преважно щурил маленькие глазки, точно выражал этим превосходство над всеми теми, которые опер не писали...

Было весело в это лето. Хотя младших братьев и меня мам? заставляла учиться, но толку от этого было

мало. Мальчики убегали на деревню с гармониями, отчего мам? приходила в отчаяние.

Учитель Курсинский, которого Таня сейчас же прозвала Закурсинским, внушал нам мало уважения, особенно после двух происшедших с ним забавных анекдотов.

Я помню, мы возвращались через Песочную яму* на катках** с какой-то прогулки. Дорога здесь крутая, коренник спускался с трудом.

- Слезть надо, - сказала я.

- Зачем? - спросил Курсинский.

- Легче будет кореннику, - сказала я с апломбом, считая себя знатоком во всех лошадиных вопросах.

- Какой вздор! - воскликнул учитель. - Чем тяжелее груз, тем легче лошади спускаться.

И он стал издеваться надо мной. Доказать свою правоту учителю я не умела, но затаила обиду.

Один раз все взрослые уехали верхом, и Курсинскому дали Миронику, на которой я всегда ездила с Таней. Ах, как я злорадствовала, когда через некоторое время Мирониха прибежала одна в конюшню с оборванной уздечкой и я увидела учителя, пробиравшегося по дорожке между сиреневыми кустами. Он был в грязи, фетровая городская шляпа с большими полями съехала на макушку, он махал, как крылом, правой рукой и жалобно, почему-то по-французски, кричал:

- J'ai tombé au grand galop et je crois que j'ai le bras cassé.

Он так и сказал: j'ai tombé? и выговаривая слова со всеми согласными на конце: галоп.

Бедная старая Мирониха, она и скакать-то не могла! Учитель окончательно погиб в моих глазах.

Сергей Иванович сочинял романсы по просьбе Тани, и я очень скоро запомнила их и распевала.

А соловей не то рыдает,

Не то поет!

Закурсинский писал декадентские стихи.

Я попевала везде: верхом, купаться на Воронку, за грибами, на далекие прогулки в Засеку. Усталости я не знала. Самая веселая прогулка в это лето была в Тулу с мам?, Таней, Сергеем Ивановичем. Пятнадцать верст прошли по пыльному шоссе, съели большое количество сладких пирожков в кондитерской Скворцова, пошли в Кремлевский сад, катались на лодке и поездом вернулись домой. Было превесело!

Мам? совсем ожила, она реже вспоминала Ванечку, помолодела и все декламировала стихи:

О, как на склоне наших лет

Нежней мы любим и суеверней...

Только одна Маша не принимала участия в общем веселье. Она так же бегала по больным в деревню, ходила в поле на работу, а в свободное время переписывала отцу.

Иногда я приходила к Маше в поле с твердым намерением помогать, но, разумеется, только мешала, подвертывалась на вилы, залезала на воз, когда лошади и без меня было тяжело, растрепывала копны.

Но когда я носила Маше полудновать в поле: два крутых яйца, бутылку кваса, свежий огурец, кусок черного хлеба и кружечку ягод или малины своего сбора, я чувствовала, что я тоже дело делаю.

Она садилась с бабами в холодок и ела. Волнистые светлые волосы прилипли к вискам, ситцевое платье на спине потемнело от пота, она вытирала загорелое, в мелких веснушках лицо носовым платком.

- Устала? Зачем это ты, Маша? Пойдем домой!

Она грустно улыбалась, точно знала что-то, чего я не могла понять. "Что же это? Зачем она себя мучает?" Но мысль не останавливалась. Мне было некогда об этом думать. На обратной дороге надо было забежать на места, где за ночь могли вырасти белые грибы, или боровики, зайти на "Красную улицу" под желтый аркад и, если падали нет, залезть в развилину, чтобы сторож не увидал, да тряхнуть хорошенько! "Мисс Вельш надо самые желтые отложить, - думала я, - она любит сладкие". Руки у меня разодраны, ноги в синяках, в платье кое-где выдраны клочья. Два кармана набиты и пренеприятно оттягивают юбку; десятка два яблок, несколько кремней, рогатка. В носовом платке связаны грибы.

Около крокета под старым кленом у меня кладовая - ямка, в которой вделан ящик с крышкой, застеленный соломой. Крышка захлопывалась, сверху я заваливала ее сухими сучьями.

Выбрав десяток самых лучших яблок, я бежала к мисс Вельш. Мисс Вельш ела яблоки медленно, со вкусом, очищая кожу десертным ножом и отрезая ломтики. Она приходила в ужас, когда я поглощала одно

яблоко за другим, не оставляя ничего, ни кожи, ни серединки.

- Саша, - говорила она спокойно, - я считала, что вы сегодня съели шестьдесят четыре яблока!

Я была наивна, доверчива и очень смешлива. Достаточно было пустяка, чтобы я смеялась до слез, до боли в боку, не в силах остановиться.

- У Саши какой-то бессмысленный смех, - говорила мам?.

- Ну, ну, смейся! - говорила Таня, показывая мне палец.

Палец казался мне таким нелепым, смешным, что я хохотала до упаду.

Миша всегда старался рассмешить, когда у меня был полон рот воды или чая. Чтобы вызвать общую веселость, достаточно было заговорить о карете.

Карета эта с незапамятных времен стояла в сарае и постепенно вращалась в землю. Это была та самая карета, в которой когда-то родители ездили в Москву. Когда хотелось посмеяться, кто-нибудь из мальчиков начинал:

- Мам?, а мам?, надо бы карету вытащить!

Мам? не понимала нашей веселости и относилась к делу совершенно серьезно, что смешило нас еще больше.

- Да, я все забываю сказать приказчику.

- Мам?, надо поскорее, а то она так увязла, что ее и не вытащишь...

Карету забывали, а через некоторое время Миша снова начинал:

- Мам?, а мам?, надо бы карету вытащить...

- Ха, ха, ха!..

У меня болел живот от смеха.

- Ну что смешного? Лучше бы напомнили приказчику сказать, - говорила мам?.

Наконец совершилось чудо. Карету вытащили. Подкладывали ваги, оглобли, приподнимали, раскачивали, кряхтели, запрягали лошадей. Теперь она стояла среди двора громадная, с широкими козлами, обитая внутри атласом, страшная в своем величии и бесполезности.

- Неужели в Москву ездили? - спрашивала я.

В боковых стенках были отделения для вещей, а в сиденье под подушкой круглая дырочка. В первый раз, когда я приподняла подушку в присутствии кучера, даже неловко стало...

Летом карету поливало дождем, палило солнцем, зимой засыпало снегом.

- Мам?, а мам?, - говорил Миша, - надо бы карету продать!

И мам? деловито отвечала, не понимая шутки:

- Да, правда, а то стоит среди двора, мешает...

Проходили месяцы.

- Мам?, а мам?, надо бы карету...

- Ах, отстаньте, пожалуйста!

Наконец пришел кузнец; кучер показал ему карету.

- Ты только посмотри, рессоры-то какие...

- Да что толку-то, куда же теперича такие! Уж очень здоровы!

Кузнец купил карету за десять рублей и тут же на месте ее разорил.

В то время много бывало у нас "темных". Это были совсем особенные люди, не похожие на других, - мрачные, тихие, с приглушенными голосами, вечные постники, всегда плохо одетые, со специфическим запахом пота, дегтя и грязи. Мам? терпеть не могла "темных" и, как могла, не пускала их наверх, в залу, они проходили прямо в кабинет к отцу.

Среди "темных" были случайные, проходящие, но были и связанные с отцом долголетней дружбой. В 1895-1896 годах недалеко от Ясной Поляны в маленьком, запущенном имении Деменка жили Чертковы. Черткова, большого, красивого человека с аристократическими манерами, уверенного и спокойного, я всегда боялась. Я не представляла себе, что можно его в чем-нибудь не послушаться. У меня сжималось сердце, когда Чертков хмурил свои красивые, изогнутые брови, большие глаза его темнели от гнева. В этих глазах, в узком лбу, в горбатом римском носе было столько власти, столько силы, что люди невольно ему подчинялись.

Я наблюдала, как все "темные", кроме старушки Шмидт, боялись его. Чертков царствовал над толстовцами. И если некоторые из них слабо сопротивлялись, стараясь проявить некоторую самостоятельность, - это были лишь жалкие попытки. В его присутствии они стушевывались и робко на него взглядывали, ища одобрения.

Опущение не шло к Черткову так же, как одежда, которую он носил. Она сидела на нем нескладно,

мешком, особенно странно было, когда он надевал длинную, ниже колен блузу, иногда ярко-красного цвета.

- Красный цвет предохраняет от солнца, - говорил Чертков, видя общее недоумение.

Когда он, большой, спокойный, всегда чем-то обвешанный, двигался к дому, я старалась исчезнуть. Меня даже не смешили его анекдоты.

- Знаете, - рассказывал он спокойным голосом, выговаривая слова с иностранным акцентом, - знаете, в Деменке старуху уже две недели не хоронят!

- Что вы, неужели? - восклицают все в ужасе. - Почему?

- Какое безобразие! - возмущалась мам?, не допуская мысли о шутке. Чего же полиция смотрит? Почему же ее не хоронят?

- Потому что она еще не умерла, - отвечает Чертков.

В другой раз он серьезно сказал:

- Сегодня два поезда на ходу сошлись!

- Не может быть! Ну, и что же?

- Ничего. Разошлись по разным путям.

Мне бывало скучно у Чертковых. Обычно отец и Владимир Григорьевич вели между собой серьезные разговоры, которых я не понимала. Сын Чертковых Дима был много моложе меня, мне было с ним неинтересно, да, кроме того, он никогда не хотел играть, все капризничал, ныл и прилипал к материнским юбкам.

Я боялась подходить к Анне Константиновне. Я всегда стеснялась своего большого, громоздкого, сильного тела, особенно неловко мне было со слабыми,

больными людьми. Ни с кем я не испытывала такого смущения, как с Анной Константиновной. Казалось, если нечаянно задеть стул, толкнуть ее, она рассыплется - такая она была хрупкая, тщедушная. Темные стриженные волосы обрамляли худое, с выступающими скулами лицо, горели большие, широко открытые глаза. Она сидела всегда в кресле, обложенная подушками, укутанная клетчатым пледом. Иногда глаза ее принимали особенно страдальческое выражение.

- Я голодная! - вскрикивала она.

Тогда все вскакивали, бежали на кухню. Через несколько минут появлялась Анна Григорьевна Н., хохлушка, жившая у Чертковых много лет. Она приносила поднос, уставленный маленькими, точно кукольными, мисочками и тарелочками с вегетарианской пищей. Когда Анна Константиновна ездила в Ясную Поляну, в экипаж клали подушки, плед, мисочки с едой, на случай, если ей захочется есть.

Иногда Анна Константиновна пела. Хотелось плакать, и не потому, что меня трогали сектантские песни, меня волновал самый ее голос, низкий, сильный, с грустными грудными нотами.

Днем на видном месте вывешивали флаг. Анна Константиновна спала, и в доме воцарялась мертвая тишина.

Мы часто бывали у Чертковых; иногда отец водил нас Засекой, одному ему известными тропинками, иногда мы с сестрами ездили к ним верхом. Нам было весело от быстрой езды; оживленные, в амазонках, мы вваливались к Чертковым, и вдруг почему-то делалось стыдно, неловко. К Чертковым приезжала сестра Анны Константиновны Ольга. Я полюбила ее еще тогда, когда

жив был Ванечка. Она, должно быть, чувствовала мое одиночество и подчеркивала доброе отношение ко мне, баловала, ласкала. Я сперва дичилась, но потом мне стало нравиться, когда она целовала меня, прижимаясь покрытой пушком щекой к моему лицу. Мне нравилась ее кокетливая улыбка, черные, как вишни, глаза, скромное английское платье, гладкая прическа и родинка на щеке, похожая на большую муху. Я робко, искоса взглядывала на нее, стараясь сесть поближе.

А через несколько лет брат Андрей женился на Ольге. Всю свою молодость он кутил, просаживал деньги на цыган. Родители огорчались, но ничего не могли с ним поделать. И вдруг он влюбился в серьезную Ольгу Константиновну. Брат клялся, что исправится, переменит образ жизни. Она верила ему, верила в свое влияние. И действительно, в первое время после женитьбы Андрей перестал кутить, чаще бывал в Ясной Поляне, ближе подошел к отцу. Все радовались за него, но больше всех я.

Андрей решил поселиться в деревне и заняться хозяйством. Нам, младшим, по разделу досталось самарское имение. Когда-то, желая увеличить свое состояние, отец купил его по 7 р. 50 к. за десятину. Женившись, братья решили продать землю. Я не препятствовала. Имение было продано гораздо дороже, чем ожидали, по 35 р. за десятину.

Мам? положила мои деньги в банк, и с тех пор я сделалась самостоятельной. Я платила матери за содержание по сто рублей в месяц, платила за учителей, гувернанток, одежду, за все.

Андрюша купил имение в 18 верстах от Ясной Поляны, там они и поселились. Но я забежала вперед...

Трудно точно определить, по каким признакам толстовцы делились в моем воображении на настоящих и ненастоящих. Настоящий толстовец не курил, не ел мяса и непременно должен был носить блузу, но и эти определения не были исчерпывающими.

Александр Никифорович, во всяком случае, был ненастоящий.

Никифорович, как я его называла, мясо не ел, но любил ловить рыбу. На большом подмосковном озере Сенеже он проводил все свободные дни и с упоением рассказывал, как несколько часов подряд водила его щука и, когда он ее вытащил, в ней оказалось тридцать фунтов. Он и покуривал немножко, тщательно набивая гильзы ватой, чтобы не отравлять легкие никотином.

Александр Никифорович был из московских купцов, служил в торговом банке директором и часто бывал у нас. Отца моего он обожал и всегда шумно выражал свои чувства.

Никифорович терпеть не мог духовенства, называл священников попами, ругался, кричал, и отцу часто приходилось его останавливать, особенно последние годы, когда он стал гораздо терпимее к чужим верованиям. Никифорович любил всех нас как родных. Бывало, придет, расцелует отца, несколько раз поцелует у матери руку, а затем примется за нас. Когда мне было уже лет тринадцать, я конфузилась.

- Что это вы Сашу так целуете? - спрашивал отец, смеясь, заметив мое смущение. - Она уже большая.

- Что? Саше большая? - кричал Никифорович. - Да она для меня всегда маленькая останется, я ее на руках

носил! - И он снова, громко чмокая, целовал меня в обе щеки.

Были толстовцы, которые внушали мне отвращение. Белокурый, с мутными голубыми глазами, светлой бородкой Хохлов и Клопский перепутались в моем представлении. Оба были ненормальны, оба были влюблены в сестру Таню. Как сейчас помню ощущение ужаса. По темному коридору московского дома бежит Таня, а ее преследует лохматый сумасшедший человек - "темный". Таня смеется, а мне страшно. Этот человек мерещился мне ночью, казалось, что вот-вот он настигнет Таню и произойдет что-то ужасное!

Тепло и ясно становится на душе, когда я вспоминаю кроткую Леонилу Фоминичну Анненкову, точно внутренней лаской окутывала она всех, кто подходил к ней. Вся она была мягкая и серая. И платье было на ней серое, и на плечах мягкий серый платок, и волосы и глаза были такие же мягкие и серые, и в руках вязанье, тоже мягкое и серое. Она говорила мало и тихо, с южным акцентом, больше слушала... Чуть постукивали деревянные спицы, и Леонила Фоминична шептала что-то, шевеля полными губами, не то петли считала, не то повторяла про себя слова отца. Изредка, точно желая лучше понять мысль, она вскидывала глаза и внимательно смотрела на него сквозь очки.

Если бы меня спросили, кто такой Иван Иванович Горбунов, я не задумываясь ответила бы: "Посредник"! А что такое "Посредник"? "Посредник"? Станный вопрос! "Посредник" - это Иван Иванович Горбунов.

С образом Ивана Ивановича у меня связывались новенькие, самые лучшие на свете книги: "Чем люди живы", "Два старика", "Первые христиане" и другие. Он

всегда приносил с собой пахнувшие краской, имевшие для меня неизъяснимую прелесть книги. Он волновался, когда говорил с отцом, пыхтел, отдувая губы, говорил себе под нос, точно недовольно бурчал, но слова его были восторженные, сентиментальные, на добрых голубых глазах появлялись слезы.

Из всех последователей отца больше всех у нас в доме любили Марию Александровну, или "старушку Шмидт", как ее прозвала сестра Таня.

Худая, изможденная, с ввалившимися щеками, заостренными носом и подбородком, серьезным, почти мученическим выражением лица, Мария Александровна точно вся светилась внутренним огнем. И странное впечатление производила ее чисто институтская манера вздыхать, охать, восклицать. Бывало, увидит отца, вскочит, всплеснет руками:

- Душенька, Лев Николаевич, как я рада!

Я любила слушать ее рассказы про житье на Кавказе, куда она поехала работать на земле со своей подругой Ольгой Александровной, когда она, увлекшись взглядами отца, бросила институт и решила изменить свою жизнь. Особенно сильное впечатление производил на меня рассказ о медведе.

- Работаю я, - говорила Мария Александровна, - и вдруг, моя душенька, поднимаю голову, а медведь на дереве сидит и абрикосы ест. Ах, моя милочка, я так и обмерла!

Помню еще рассказ:

- И вот, моя душенька, возвращаемся мы с Ольгой Александровной с Кавказа, и деньги у нас с собою были. Соблазно, соблазн, моя милочка, отвращение эти деньги!

И что ж ты думаешь? Вытащили, все деньги вытащили! Господь на нас оглянулся! - восторженно заканчивала Мария Александровна.

Я помню, при этом рассказе раз присутствовала двоюродная сестра, Варечка Нагорнова, отличавшаяся страшной рассеянностью, у нее всегда все пропадало и никогда ничего не было.

- Ах, Мария Александровна, - грустно промолвила она, - Господь с меня глаз не спускает!

Мам? рассказывала, что когда отец написал "Войну и мир", он подарил племянницам по десяти тысяч рублей. Варечка куда-то засунула билет и забыла про него. Один раз мам?, заехав к ней, увидела, что разбитое стекло заклеено чем-то странным. Вглядевшись, она узнала десяти тысячный билет.

Непонятное

Баловали меня мало, но за всякую ласку я была бесконечно благодарна и отвечала любовью и преданностью. Чаще всего я испытывала приливы нежности к своим сестрам, но никогда не смела этого высказывать. Они и не подозревали, что лаской могли сделать со мной все, что хотели, тогда как строгость, наоборот, всегда пугала меня, заставляла внутренне сжиматься и каменеть. Меня считали упрямой, на самом деле это было не совсем так. К упрямству примешивались и застенчивость, и обидчивость, порождаемая частыми уколами самолюбия.

Ко мне ходила учительница Александра Константиновна. Она была милая, добрая и очень застенчивая, что меня особенно к ней притягивало, и краснела совсем как я. Мне нравилась ее наружность:

белокурые, ниже пояса волосы отливали золотом, ласково сияли темно-синие глаза, и часто, когда она объясняла мне синтаксис или историю, я украдкой любовалась ею. Я ее любила, с волнением ждала ее прихода, мне хотелось как-нибудь выразить ей свои чувства я приносила ей цветы из сада, провожала до конки.

Две-три странички Иловайского, которые она мне задавала, я выучивала чуть ли не наизусть, и, когда она приходила, я смело начинала говорить. Но стоило мне запнуться или заметить на лице Александры Константиновны улыбку, как я смущалась я замолкала.

- Ну что ж вы, продолжайте!

Мне делалось жарко, я не могла вымолвить ни слова. Александра Константиновна старалась мне напомнить урок, думая, что я его не знаю, подсказывала, пробовала действовать строгостью - я молчала.

Когда она уходила, я бросалась на кровать и горько плакала.

Александра Константиновна не выносила духов, у нее разбалчивалась от них голова. Я тоже презирала духи, как вообще презирала всякие принадлежности дамского туалета, мне гораздо больше нравились перочинные ножи, пилки, буравчики.

Помню, какое было для меня мученье, когда мам? заставляла меня носить корсет, "чтобы была хорошая фигура, а не такой обрубок, как у тебя", говорила она. Когда только можно было, я стаскивала корсет и прятала подальше в шкаф, но гувернантка снова вытаскивала его и заставляла надевать. Планшетки и кости ломались и впивались в тело, причиняя страшные мучения. Потом

появилась новая пытка - мам? сказала, что нужно носить подмышники. Подмышники толстые, в проймах тесно, кроме того, они всегда рвались, скручивались и растирали кожу.

Помню, под синее шерстяное платье няня подшила новые подмышники. Пришла Александра Константиновна. Садясь на свое обычное место в кресло у окна, она недовольно проговорила:

- Саша, у вас сегодня духами пахнет!

- Что вы, Александра Константиновна, - возразила я с возмущением, - я терпеть не могу духов и никогда не душусь!

- Я же чувствую, пахнет духами, я даже скажу вам какими - гелиотропом!

Действительно, пахло какими-то отвратительными приторными духами. Я сконфузилась, покраснела и сейчас же вспотела от смущения.

- Нет, это ужас какой-то! - снова сказала Александра Константиновна. Крепчайшие духи! Как же вы говорите, что вы не душитесь?

Действительно, запах был убийственный, я вскочила и стала смотреть по комнате, но ничего не было, и я с ужасом чувствовала, что запах этот исходит от меня. Чем сильнее я потела, тем сильнее пахло духами.

Наконец Александра Константиновна, схватившись за голову, вскочила, сказав, что заниматься не может, что у нее началась страшная мигрень, ушла.

У меня тоже болела голова, я пошла в сад, но запах и тут преследовал меня. И только вечером, когда я

ложилась спать, я поняла, в чем дело: няня подшила мне душистые подмышники.

Жизнь взрослых занимала меня, многое казалось непонятным и вызывало мучительное любопытство. Хотелось расспросить, но кого? Гувернанток я презирала и отлично знала, что они понимают меньше меня. Скорее уж у няни спросишь, она хоть не задумывалась и отвечала уверенно.

- Няня, почему пап? мясо не ест?
- Вредно им, вот и не кушают.
- А почему в церковь не ходит?
- Не нравится, вот и не ходит.

Лучше всего объясняли сестры, но все-таки всего понять было нельзя. Пап? не ест мяса, потому что ему коров и кур и всех животных жалко, а почему мам? не жалко? Пап? думает, что можно и дома молиться, не надо церкви, и что чудеса, о которых сказано в Ветхом и Новом Завете, - неправда, а почему же мам? ходит и нас водит с собой в церковь, заставляет учить Закон Божий?

Как дойдешь до самого интересного, сестры сейчас скажут:

- Ну, ты мала еще, вырастешь, поймешь!

И случилось так, что жизнь в моем представлении разделилась на понятное и непонятное. Многие, что окружало отца, было непонятно и внушало мне страх и уважение.

Как сейчас помню, приезжали к отцу большие, сильные люди с кроткими лицами, в крестьянской одежде. Говорили, что у них отняли детей за то, что они не крестили их. Они сидели в столовой московского дома

и пили много чая с блюдечка, утирая струившийся по смуглым лицам пот.

- Маша, почему у них отняли детей, значит, они нехорошие?

- Нет, хорошие, очень хорошие.

- Почему же отняли? Значит, нехорошие те, которые отняли?

- Да, нехорошие...

Люди, с которыми мам? была дружна, были всегда веселы, приличны и довольны и никогда не говорили ни о каких неприятностях, все, по-видимому, было для них ясно и просто.

На тех, которые окружали отца, была печать страдания, точно они вечно мучились, искали чего-то, и, глядя на них, было страшно думать о жизни.

Как громко стонал и охал отец, когда говорили о духоборах, которых ссылали и мучили за то, что они не шли в солдаты! А потом начали преследовать друзей отца: Черткова, Бирюкова, Трегубова.

Преследователи казались мне какими-то извергами. Я удивилась, когда Маша показала мне обыкновенного человека в синих очках и мягкой черной шляпе и сказала, что это шпион, который следит за нашим домом. Человек этот возбуждал во мне одновременно и ужас и любопытство. Когда я ходила гулять, я искала его глазами, думала о нем, он снился мне по ночам.

У нас в Хамовниках жил Николай Николаевич Ге-младший. Мы любили его, точно всю привязанность, которая была в нашей семье к "Дедушке", перенесли на Колечку. Николай Николаевич был похож на отца: те же

мягкость, доброта, веселость, любовь к шутке, беззвучный смех. Помню, мам? дала нам лошадь и мы с Машей поехали за покупками. Колечка просил подвезти его к "Посреднику". Когда мы подъехали, человек, стоявший на углу, махнул рукой. Вдруг откуда-то появился знакомый нам сыщик в синих очках.

Когда Колечка вошел в "Посредник" и мы отъехали, Маша сказала:

- Что-то Колечка меня беспокоит!

За обедом Колечки не было, ночевать он тоже не пришел. Все заволновались, стали узнавать. Оказалось, что его арестовали, приняв за Ивана Михайловича Трегубова, которого разыскивала полиция. Колечку выпустили, но на меня это событие произвело впечатление.

- Как могут хватать, сажать в тюрьму? - спрашивала я.

- Ведь его посадили по ошибке.

- А Ивана Михайловича за что, разве он убил, ограбил?

Во всем этом было что-то совершенно непонятное.

Ездила к нам врач Халевинская. Серьезная, скромно одетая, гладко причесанная, должно быть, очень умная женщина, по крайней мере мне она казалась такой, и вдруг я узнала, что Мария Михайловна арестована и сидит в тюрьме.

- За что же?

- За то, что распространяла книги отца!

- Разве книги пап? плохие?

- Нет, хорошие!

- Господи Боже мой, как же во всем этом разобраться?

Помню, как меня поразила случай с Суллером.

Суллержицкий, или, как мы его звали, Суллер, был товарищем сестры Тани по школе живописи. Особенный он был человек, ни на кого не похожий. Где бы ни появлялся, сейчас закипали жизнь и веселье. Помню первое мое с ним знакомство. У нас были гости - девочки и мальчики, мы пели, я аккомпанировала на фортепиано. Суллер подошел к нам в стареньком пиджачке и матросских, с раструбами книзу брюках. Мои гости с недоумением покосились на него.

- Малороссийскую песню "Чоботы" знаете?

- Да.

- А ну-ка!

Суллер стал недалеко от фортепиано и запел со второй же ноты высоким тенором, заливаясь куда-то вверх:

- Шла-а на речку, чоботы хлопали!

Все невольно заулыбались, и когда Суллер, дирижируя руками и подпрыгивая, перешел к перепеву, мы дружно подхватили. Все были в восторге. Я привыкла к нему и полюбила.

- Суллер, изобразите слона, пожалуйста! - приставали мы к нему, и он, прикрываясь своим обтерханным пиджачком и спуская руку как-то сверху, начинал помахивать ею из стороны в сторону совсем как хоботом.

- Суллер, - кричали мы вне себя от восторга, - а рыбу, рыбу в аквариуме!

Суллер вытаращивал глаза, устремлял их в одну точку, выворачивал из подмышек руки, изображая плавники, и мерно открывал и закрывал рот. Потом рыба неожиданно всплескивалась, ныряла и исчезала.

Суллер, взъерошенный, лохматый, вылезал из-под стола. Отец, схватившись за бока, покатывался со смеху, о нас и говорить нечего.

Пустяки ли, серьезное ли дело, Суллер ко всему относился с воодушевлением. Все, что он делал, он делал вовсю и всегда легко и играючи, напевая песенку.

И вот случилось непонятное: Суллер попал в тюрьму. Когда я думала о том, что он сидит за решеткой, мне представлялась большая, красивая птица. Она не может петь в неволе и только с утра до вечера в отчаянье бьется грудью о решетку.

Говорили, что Суллера посадили за то, что он не пошел в солдаты, а когда его выпустили и он пришел к нам немножко сконфуженный в военной форме, я была ужасно рада.

Все эти аресты, преследования мучили меня только периодически и неглубоко. Было нечто, что мучило меня не переставая, разъедало душу злобой и ненавистью, мешало спать, жить, радоваться... Я не могу проследить, когда именно это началось.

Первое время я любила Танеева, любила его игру на фортепиано, особенно когда он играл не свое, а Бетховена, Моцарта, сюиту Аренского на двух фортепиано с Гольденвейзером. Я любила играть с Сергеем Ивановичем в теннис-лаун, причем мы

одинаково увлекались игрой и смеялись во все горло. Я любила его кроткую, уютную нянюшку Пелагею Васильевну.

Постепенно все изменилось. Чем больше я замечала особенное, преувеличенно-любовное отношение мам? к Танееву, тем больше я его не любила. Когда Сергей Иванович приходил, я демонстративно уходила в свою комнату. Его грузная фигура, бабий смех, покрасневший кончик небольшого аккуратного носа все раздражало меня.

Бывало, толстый Емельяныч, подрагивая натянутыми вожжами, подавал к подъезду сани с обшитой мехом полостью, запряженные темно-серой красавицей Лирой, и мам? в бархатной шубе и котиковой шапочке отправлялась за покупками.

- Разве кто-нибудь у нас сегодня будет? - спрашивала я, отлично зная, что придет Танеев.

- Да не знаю, - говорила мам?, - может быть, Сергей Иванович зайдет.

А вечером, конфузливо смеясь и потирая руки, появлялся Танеев. Он сидел весь вечер, иногда играя и с удовольствием поглощая зернистую икру и конфеты от Альберта.

Бывало, возвращались мы из пассажа или от Мюра и Мерилиза; мам?, перегнувшись вперед, постукивала Емельяныча черепаховым лорнетом по широкой ватной спине:

- Заезжай в Мертвый!

И, обращаясь ко мне, говорила:

- Надо нянюшку Сергея Ивановича проведать.

Я молчала, стиснув зубы. Нянюшка Пелагея Васильевна с ее веснушчатым добродушным лицом и раскачивающейся походкой делалась мне ненавистой. Иногда мы неожиданно заставали дома Сергея Ивановича. Он обычно играл что-нибудь или сидел в своей крошечной столовой и пил чай. Танеев торопливо, неуклюже вскакивал, он не умел быть гостеприимным. Выручала нянюшка. Она приглашала садиться и угощала чаем. Я пряталась в темный угол, внутренне сжималась, из меня нельзя было вытянуть ни одного слова.

Теперь я всячески старалась отговориться от квартетных четвергов: то у меня было много уроков, то болела голова. Да и мам?, видя мое настроение, брала меня с собой гораздо реже.

Весной ездили за город с Танеевым.

- Саша, в воскресенье поедем на Воробьевы горы!

- С кем? - насторожившись, спрашивала я.

- Поедут Масловы, Сергей Иванович...

- Не поеду, - говорила я грубо.

- Почему? Непременно поедешь, нечего тебе с уличными мальчишками играть!

Наступало воскресенье. Мам? была ласкова, весела, нарядна. Но чем оживленнее была мам?, тем я делалась мрачнее. Я надувалась и всю дорогу молчала.

Ничто не могло развеселить меня.

О, как на склоне наших лет

Нежней мы любим и суеверней...

Это стихотворение почему-то связалось у меня с Танеевым, я его возненавидела и ужасно обрадовалась, когда узнала, что пап? его тоже не любит.

- Отвратительное стихотворение, - говорил он, - воспекает старческую слюнявую любовь!

В этот мучительный период моей жизни я узнала, что такое бессонница. Придешь к себе в комнату измученная злыми, туманными переживаниями, хочется скорее забыться, заснуть. Одним движением сбрасываешь с себя одежду и залезаешь под теплое, связанное мам? одеяло. Что-то бормочет во сне няня, поворачиваясь на другой бок. Глаза слипаются, я задремываю.

- Хор... фиюю, хор... фиюю! - храпит няня.

"Не засну, - думаю я, - ни за что не засну! Вкусные сегодня были вафли с фисташковой начинкой. Почему она мне не дает, а Танееву дает, он сегодня все съел! А противная эта "Песня без слов" Мендельсона - не люблю".

- Хоор... фиюю! Хор... фиюю...

"Господи, не засну! Что мам?, старая или не старая? Ей не хочется быть старой!" Я вспоминаю ее оживленное лицо, и вдруг поднимается тоска. "Не думать, не думать, заснуть!"

- Няня, голубушка, няня!

Няня поднимает голову.

- Чего еще?

- Нянюшка, милая, пожалуйста, не храпи!..

- Спи, спи! Одно знай! Выдумает тоже... храплю...

"Почему, когда он приходит, она надевает самое лучшее платье? Господи, заснуть бы скорее, пока няня еще не храпит!"

Кровать под няней скрипит, она ворочается и вздыхает.

"Пап? и Маша тоже не любят Танеева..."

Сначала робко, потом все сильнее, бесстыднее раздаётся нянин храп. Я всхлипываю. Надо заткнуть уши! Тихонько встаю, достаю вату из комода и затыкаю уши. Делается страшно и невольно прислушиваюсь опять к храпу: хор... фию слышится в отдалении. У меня начинает болеть голова. Я выкидываю вату из ушей, сажусь на подушку. За стеной разговор, о чем-то спорят родители. Слышится нервный голос мам?, отец тихо уговаривает. Пап? громко, в три колена зевает: ох, ох, ох! Голоса смолкают, в столовой два раза кукует кукушка. "Господи, Господи, какая несчастная, никто меня не любит, мам? мучает. Всем все равно". Мне делается жалко себя, я плачу, плачу и в слезах засыпаю.

Один раз я рассказала Маше, как я ненавижу Танеева, как я мучаюсь. Сначала говорить было страшно, но, взглянув на нее, я вдруг поняла, что Маша знает и мучается так же, как я. Тогда слова полились сами собой, я не могла остановиться, надо было все выложить, что наболело...

Маша даже испугалась. Она старалась успокоить меня, говорила, что нет ничего дурного в том, что мам? любит Танеева.

- Посмотри на отца, как он кроток, терпелив, несмотря на то, что так страдает...

Я знала, что "дурного" не было в чувстве мам? к Танееву, но как же сделать так, чтобы это не мучило? Но этого Маша мне рассказать не умела.

Эх, Маша! Скоро она сама поступила так, что понять ее было невозможно.

Жил у нас родственник, внук тетушки Марии Николаевны - Колаша Оболенский. Он кончал в то время университет, и мам? предложила ему поселиться у нас. Колаша жил да жил, никто не обращал на него особого внимания. Вставал он поздно, в университет ходил редко, читал романы, курил папиросы. И вдруг я узнала, что Маша выходит за него замуж. Сперва я не поверила. Ну что могло быть общего между Машей и этим красивым молодым человеком с врожденной барской ленью во всем существе, с медленной подпрыгивающей походкой, плавной, грассирующей речью? Колаша был так далек от ореола, окружающего в моем воображении сестру. Я не могла допустить мысли, что ради него Маша оставит отца. Но она полюбила Колю и решила выйти за него замуж. Помню, трудно ей было с церковными формальностями. То священник не хотел венчать родственников, то требовал свидетельства об исповеди и причастии, которого у Маши не было. Тяжел ей был и сам обряд венчания. Она постаралась сделать все как можно проще. Жених и невеста в домашних платьях пошли в церковь, где было только несколько человек родственников. Но все это было ничто в сравнении с тем компромиссом, на который Маша решилась в связи со своим замужеством. Она хворала, денег не было, служить Коля не хотел, и Маша попросила отдать ей часть имущества, от которого она прежде отказалась.

Не знаю, что труднее было вынести: полное любви и снисходительности молчание отца или упреки матери?

Отец был окружен близкими, но одинок. Одни угнетали его своим бескорытием и преданностью, другие требовали дорогой платы за принесенные жертвы, третьи подавляли его своим восхищением, четвертые огорчали полным пренебрежением к его мыслям. И только одна Маша любила его беззаветно, ничего от него не требуя, и сама давала ему то, что было нужнее всего: заботу, нежность и чуткое понимание. Маша уехала, но отец не переставал думать о ней, писал ей письма. Часто Маша и Коля жили у нас, или отец ездил к ним в Пирогово.

Помню, бывало, отец увидит Машу, просияет весь и непременно спросит:

- Ну что? Как? Неужели вы с Колей все разговариваете?

- Да, пап?, - отвечает Маша, смеясь.

- Ну о чем же можно целые дни разговаривать?

Он удивлялся и радовался, что Маша счастлива.

"Воскресение". Замужество Тани. Отлучение

В 1898 году отец неожиданно взялся за художественную работу - начал писать "Воскресение". Против обыкновения отец был заинтересован размером гонорара. Вырученные деньги нужны были отцу для переселения духоборов в Канаду. Правительство продолжало их преследовать за отказ от военной службы, и они решились эмигрировать в Канаду.

Право первого напечатания "Воскресения" было продано издателю "Нивы" Марксу по тысяче рублей за лист.

Внизу в столовой московского дома весь стол был завален рукописями и корректурами. Переписывали все: Таня, мам?, гости. Отец изредка спускался из своего кабинета вниз и делал указания.

Я смотрела на всех с завистью, мне тоже хотелось принять участие в общей работе. Таня, должно быть, почувствовала это, пожалела меня и дала копировать на прессе письма отца. Я старалась изо всех сил. Напрягая мускулы, обливаясь потом, я зажимала пресс с такой силой, что стол под ним трещал. Сознание, что я делаю что-то для него, для отца, наполняло мое сердце счастливой гордостью.

Помню, отец уже совсем закончил роман и Маркс прислал ему последние корректуры. Он их взял наверх посмотреть и снова все переделал! Полетели телеграммы с просьбой задержать издание. Тем не менее вновь сделанные отцом поправки не успели попасть в заграничное издание, русское же было сильно исковеркано цензурой. Таким образом, полного, точно установленного текста "Воскресения" в печати не было.

Сереза уехал в Англию хлопотать об отправке духоборов, и он, Ефросинья Дмитриевна Хирьякова и Леопольд Антонович Суллержицкий сопровождали их в Канаду.

О Серезе беспокоились, ему писали, ждали от него известий, и когда он вернулся, и привез оттуда большую меховую канадскую шапку, и рассказывал про свою

поездку, он приобрел в моих глазах еще большее значение.

В этом же году вышла замуж Таня. Ей было уже тридцать пять лет. Михаил Сергеевич Сухотин - ее будущий муж - был много старше ее. От первой жены у него осталось шесть человек детей, двое из них старше меня.

Она долго колебалась.

- Ну как ты, Сашка, думаешь, - спросила она меня, - выходить мне замуж или нет?

Я ничего не ответила. Уткнувшись в подушку дивана, я громко заревела. Сестра засмеялась, а потом и сама заплакала.

Не было человека в доме, который сочувствовал бы Таниному замужеству. Все были против. Мам? всегда мечтала о блестящей партии для своей любимицы. Ей хотелось, чтобы Таня вышла замуж за Михаила Александровича Стаховича или за графа Олсуфьева, у Тани не было недостатка в женихах. И вдруг она выходит замуж за вдовца с шестью детьми! Даже старая прислуга ворчала:

- И что это с Татьяной Львовной сделалось? На таких детей идти!

В церкви я не могла удержаться от слез, хотя и боялась, что Таня заметит и обидится. Отец тоже плакал.

Я конфузилась, когда после свадьбы Михаил Сергеевич предлагал мне называть его на "ты".

- Говори мне "ты Михаил Сергеевич". Это будет и по-родственному и почтительно, - уговаривал он меня.

А я смотрела на седого, почтенного старичка с круглым брюшком и не решалась. Только много позднее я привыкла к нему и стала называть дядей Мишей.

С течением времени все полюбили Михаила Сергеевича. Веселый, остроумный, с прекрасным характером, он всегда вносил оживление. Отец любил говорить с ним, играть в шахматы. Мы подружились и с его семьей. Ближе всех я сошлась с Наташей и моим ровесником Мишей.

Таня хворала, у нее постоянно был насморк и головные боли. Болезнь то улучшалась, то снова ухудшалась, наконец головная боль настолько усилилась, что она лежала сутками не в силах двигаться и говорить. Доктора определили нагноение в лобной пазухе, так называемый фронтит. Надо было сделать трепанацию черепа.

Операцию делал профессор фон Штейн в клинике. В это время у меня был урок. Учитель истории ни за что не соглашался отпустить меня. Но я не могла заниматься, я ежеминутно смотрела на часы, елозила на стуле, не слушала его, и он понял, что толка от меня все равно не будет.

Я пустилась со всех ног по переулку и вдруг вспомнила, что в клинику меня не пустят. Я осталась ждать на улице. Мимо меня поспешно прошел отец. А вечером мам? с возмущением рассказывала про профессора. Отец сидел рядом с операционной и ждал. Вдруг дверь отворилась и с засученными рукавами, в белом халате вышел фон Штейн.

- Лев Николаевич, хотите посмотреть на операцию?

На столе захлороформированная, без сознания лежала Таня, бледная как смерть. Кожа на лбу была разворочена, череп пробит, лицо в крови. Отец побледнел и зашатался. Его подхватили под руки.

Операция кончилась благополучно, Таня выздоровела. Некоторое время на лбу был заметен некрасивый шрам, но затем выбритая бровь отросла и осталась чуть заметная складка, похожая на морщинку.

Тане так же, как и Маше, предстояло пережить много тяжелого в связи с их семейной жизнью. С мужьями они были счастливы, но обе страдали одной и той же необъяснимой болезнью. Они донашивали детей до семи, иногда до восьми месяцев и рожали мертвых.

Не только сами сестры, их мужья, но и все мы мучительно ждали конца их беременности. Об этом боялись говорить, боялись спрашивать. По отчаянью, по безнадежной тоске на лицах сестер мы догадывались, что движения ребенка становились слабее, а затем и совсем прекращались. Тогда страх за ребенка сменялся беспокойством за сестер, ужасом перед предстоящими бесплодными страданиями, связанными с опасностью для жизни.

Я помню ощущение физической боли, когда я представляла себе роды. "Чтобы я когда-нибудь вышла замуж, - думала я, содрогаясь, - ни за что, ни за что на свете!"

С замужеством Тани мы осиротели еще больше. В сущности, теперь семья состояла из отца, матери, Миши и меня. Но и Миша, отслужив свой срок вольноопределяющимся в Сумском полку (учебного заведения он так и не окончил), вскоре женился на

Глебовой, прекрасной девушке, которую он любил чуть ли не с одиннадцати лет.

Но дом не пустовал. Такая же шла сутолока, прислуга не убавлялась.

Обычно люди по своему вкусу выбирают себе друзей и знакомых. В нашей семье это было не так. Благодаря имени отца часто тщеславные пустые люди стремились попасть в наш дом. Семья наша отличалась большой покладистостью. Появляется человек раз, два. Он мало всем симпатичен, но в массе народа его не замечают. Он упорно продолжает приходить, старается оказывать мелкие услуги, постепенно к нему привыкают, перестают стесняться, иногда, забывшись, говорят при нем о личных, семейных делах. Он считает себя своим человеком. Через несколько лет оказывается, что он был близким другом семьи, а иногда и самого Толстого и написал мемуары.

Я знаю, что некоторые люди имели серьезные вопросы к отцу, интересные и для него, но по деликатности боялись его потревожить.

Много лет спустя после смерти отца мне пришлось работать над его архивом в Румянцевском музее. Вместе со мной работал один литератор. Он часто с интересом и любовью расспрашивал меня об отце и сокрушался, что ему не удалось поговорить с ним по ряду мучивших его вопросов.

- Почему же вы не приехали в Ясную Поляну? - спросила я.

- Был, - ответил он, - вошел в усадьбу через въездные ворота, свернул в парк, сел на скамеечку, просидел несколько часов в страшных колебаниях и

уехал. Не решился. Когда поезд уносил меня из Ясной Поляны - я плакал.

Среди "друзей" была барышня, одна из тех, которые, оставаясь в глубине души равнодушными решительно ко всему - к музыке, литературе, политике, даже любви, - изо всех сил стараются показать, как сильно они все воспринимают. При этом они неизбежно теряют чувство меры - смех выходит неестественным, выражения восторга преувеличенными, шумными, в их обществе делается душно.

Девушка имела пристрастие к богатству в титулам. Мам? она называла графиня-мать, сестру Таню - графиня-дочь. Скоро она сделалась необходимой моей матери. Ездил с ней к портнихам, за покупками, помогала в расчетах с артельщиками, разбирала бумаги.

- Нет, вы и представить себе не можете, графиня-мать, как вы моложавы! говорила она часто, усвоив с матерью фамильярный тон, от которого меня коробило. - В вашем возрасте ни одной морщины, ни одного седого волоса!

Девушка прекрасно знала, что мам? употребляла hair restore¹, от которого у нее чернели волосы.

- Да что вы?! - говорила мам?, радостно улыбаясь и принимая комплимент за чистую монету.

- Честное слово! А это платье вам особенно идет!

Мам? искренне ей верила. Когда приходил Танеев, барышня вносила в разговор оживление. Крикливо, возбужденно она говорила о любви и, слегка задевая Сергея Ивановича, мило с ним кокетничала.

Мне часто хотелось сказать матери, что она подлизывается, что она фальшивая, но мам? так сердечно к ней относилась, что я не решалась. Да и все равно она не поверила бы мне. Я молчала и остро ненавидела эту барышню.

Только много позднее, узнав про ее бесчестный поступок, мам? убедилась в том, что я уже давно знала.

Тяжелую повинность - хождение по симфоническим и квартетным концертам - я больше не несла. Девица уверяла мать, что музыка - самая большая ее страсть и что Танеев величайший в мире композитор!

Так же случайно застряла в нашем доме Юлия Ивановна Игумнова. Но это был совершенно другой человек. Она была чрезвычайно полезна нам в то время, когда сестры вышли замуж, а я еще недостаточно подросла, чтоб помогать отцу. Юлия Ивановна была товаркой Тани и Суллера по школе живописи. Она гостила в Ясной Поляне со своей подругой, писала портреты. Подруга уехала, а Юлия Ивановна так и осталась у нас на долгие годы. Таня звала ее Жюли, но французское имя так мало шло к ней, что мы сейчас же переделали в Жули, а потом в Жули-Мули.

У Юлии Ивановны была привычка, подражая кому-то, повторять слова, заменяя первую согласную буквой "м"; собака - мобака, тарелка - марелка и т.д.

Жули-Мули была спокойная, добродушная, но с сознанием собственного достоинства девица. Она беспрестанно хохотала, причем скалила свои большие, лошадиные зубы, обнажая десны и встряхивая короткими волосами. Она любила острить, мягким баском пела частушки, любила масляными красками писать лошадей. Часами, полулежа на кожаной кушетке в зале, она могла

с тягучей ленью разговаривать неизвестно о чем. Иногда я приставала к ней.

- Жули, нарисуйте мой портрет!

- Твой портрет? Здравствуйтесь пожалуйста! Кому же это интересно?

Время шло. Надвигались важные события. В феврале 1901 года Святейший Синод отлучил моего отца от церкви. В то время правительство особенно свирепствовало. Смертными казнями, ссылками, цензурой оно все больше и больше раздражало общество. Студенческие сходки, протесты, запрещенная литература были на это ответом.

Когда отца отлучили от церкви, русская интеллигенция точно обрадовалась поводу для выражения своего негодования против правительства. Со всех сторон посыпались письма, телеграммы, адреса, даже подарки. Студенты, рабочие, крестьяне, высшая интеллигенция, учащиеся, женщины, серые обыватели - все спешили выразить отцу свое восхищение и преданность. По рукам ходили стихотворения "Лев и ослы" и "Голуби", в которых высмеивалось правительство. На улицах отца останавливали, приветствуя восторженными криками. Студенты приходили толпами к нашему дому.

Если бы Святейший Синод предвидел последствия своего поступка, вряд ли он совершил бы его.

К самому факту отлучения отец был совершенно равнодушен. Зато мать, считавшая себя православной, а отца неверующим, почувствовала себя оскорбленной. Всем, кто только хотел ее слушать, она высказывала свое возмущение против Синода и духовенства и со

свойственной ей горячностью написала письмо митрополиту Антонию.

Помню, как, громко восхищаясь, читал это письмо Александр Никифорович Дунаев.

- Идиоты! - кричал он, потрясая кулаками. - Дураки! Неужели они не понимают, что не могут оскорбить Толстого!

То там, то тут вспыхивали беспорядки. В Петербурге на Казанской площади казаки нагайками избили народ. Князь Вяземский, присутствовавший при этом, останавливал их, но был грубо отстранен. За свой поступок он получил выговор от государя. Отец был тронут поступком Вяземского и написал ему письмо, под которым все подписались*.

Вслед за этим правительство закрыло "Союз писателей" за протест против избиения народа на Казанской площади. Снова писали адрес, под которым подписывался отец и знакомые. Революционное настроение захватывало всех. Но как только я хотела принять участие в общем оживлении, мне говорили:

- Молода еще! Не твоего ума дело!

Даже адресов не позволяли подписывать. И только с Мишей Сухотиным, пасынком сестры Тани, жившим у нас в доме, я отводила душу. Его также отовсюду отстраняли. Нам не позволили подписаться под письмом князю Вяземскому, и мы сочинили другое, восторженное письмо, но послать не решились.

Наконец, забросив уроки, мы занялись распространением запрещенной литературы. Бесконечное количество раз мы переписывали от руки басни "Лев и ослы" и "Голуби" и раздавали их своим

знакомым с надписью крупными буквами: "Просим распространять". Попытались мы переписывать статьи отца "Ответ Синоду" и "Царь и его помощники", но это оказалось настолько кропотливой работой, что я одолела только одну копию "Ответа" и передала ее своей учительнице истории для дальнейшего распространения.

Мы с Мишей стали искать средства более продуктивной работы. Один раз Миша, вернувшись из гимназии, таинственно мне сообщил, что достал гектограф и, как только стемнеет, привезет его.

Весь вечер я не находила себе места. Услышу звонок и бегу со всех ног по темному коридору посмотреть, кто пришел. А сердце так стучит, что в груди больно.

Миша привез ящик поздно вечером, и мы тихонько через буфетную перетащили его к нему в комнату. Когда все улеглись спать, у нас началась работа. Надо было переписать статьи гектографскими чернилами, сделать оттиск на желатине, а потом уже печатать. Первые листки мы испортили, работа не клеилась, но постепенно наладилась, и дело пошло. Зараз выходило около ста экземпляров, работали мы несколько ночей. Выпустили одно, как мы важно называли, издание "Ответа Синоду", несколько изданий басен и приступили к печатанию статьи "Царю и его помощникам". Но закончить его нам не удалось. Кто-то из домашних проследил и сказал матери, что мы по ночам не спим и, наверное, занимаемся чем-нибудь нехорошим.

Мы были так увлечены работой, что не слышали, как кто-то подошел к двери и толкнул ее.

- Что вы здесь делаете?

Мы оглянулись. На пороге стояла мам?. Брови ее были сдвинуты, губы сжаты, глаза сверкали гневом.

- Мы... мы... печатаем...

- Что?

- Печатаем.

Миша пробовал напустить на себя беспечный вид, он стал говорить о том, что мы не могли не принять участия в общем деле протеста Синоду, что мы хотим распространять идеи Льва Николаевича и т.д. Но моя мать только еще грознее сдвинула брови. Мне показалось, что все задрожало, когда над нами разразилась буря ее гнева... Мишу она хотела выгнать из дома, меня запереть, гектограф выбросить.

- Как вы смели, - кричала она, - вносить в дом гектограф? Вы же знали, что это запрещенная вещь?! А если бы сделали обыск и нашли эту мерзость, из-за вас все попали бы в тюрьму! А?

Наутро Миша увез гектограф. Мне было запрещено входить к нему в комнату. Но мы спасли от уничтожения "Ответ Синоду" и отдали его отцу для распространения. Он не сердился, а только добродушно посмеялся над нашей попыткой подпольной работы.

Тетенька

Я почувствовала себя взрослой. Вот как это случилось.

С письменного стола мам? в гостиной я взяла карандаш и забыла положить его на место. Мам? рассердилась, бранила меня и, схватив за плечо, хотела ударить.

Все мое существо возмутилось, кровь кинулась в голову.

- Не смей, не смей! - крикнула я ей, не прячась, а, наоборот, подступая ближе и подставляя лицо. - Не смей! Слышишь, я за себя не ручаюсь!

Мам? была поражена, рука опустилась, и она отступила от меня.

Я выскочила и побежала вниз, на двор, в темноту парка. Должно быть, вид у меня был странный, Андрюша и Сережа Сухотин бросились в сад у меня искать. Я слышала их голоса, но не откликнулась. Когда я немного успокоилась и мне надоело сидеть в темноте, я пошла домой и в дверях столкнулась с отцом. Он что-то говорил мне о прощении, но я не слушала его.

- Я не позволю, не позволю больше себя бить, - повторяла я, уверенная, что в этом и заключается самое важное, а не в том, что говорил отец.

- Mam? самой тяжело, простить надо, помириться...

С тех пор мам? уже не била меня, но иногда ей трудно было сдерживаться. В этом году мисс Вельш приехала гораздо позднее, ко мне поступила м-ль Котинг. Затянутая в корсет, с седеющими кудельками на лбу, короткими, узловатыми руками с просвечивающими лиловыми жилками, м-ль Котинг внушала мне страшное отвращение. Я не могла видеть ее, меня раздражал ее скрипучий голос, желание молодиться, затянутая талия - все.

И вот один раз старая дева расчувствовалась и рассказала мне, что она влюблена, что ей очень хочется поскорее на родину, потому что там ждет ее жених. Я с трудом удерживалась от смеха. Мне казалось

невероятным, что такая старуха (ей было лет под сорок) могла думать о женихах и романах, но я терпеливо ее слушала и рассматривала карточку жениха - плотного пожилого немца с усами ? la Vilhelme1.

Вдруг мне захотелось подразнить ее.

- Que direz vous, mademoiselle, si moi aussi je suis amoureuse?2 спросила я с вызывающим видом.

М-ль Котинг передернуло:

- Oh! mais je dirai que c'est un peu trop tot!3

Но на меня уже напал задор, и я не могла остановиться.

- Mademoiselle Koting, - заявила я торжественно, - je suis amoureuse!4

- Tiens, tiens, racontez moi ?a!1

Я, забыв, что она гувернантка, приставленная следить за моей нравственностью, рассказала ей, что я влюблена в одного гимназиста и он в меня тоже.

- И вы с ним целовались? - с ужасом спросила м-ль Котинг.

- Нет, он хотел меня поцеловать, но я не согласилась, - отвечала я с гордостью.

На этом разговор о романах кончился. Через несколько дней, когда я проходила мимо темной комнатки, где мам? проявляла фотографии, она окликнула меня. В страшно резких выражениях она стала меня бранить:

- Нечего сказать, хорошие ты подаешь надежды, если в пятнадцать лет целуешься со всякими шалопаями, дрянная девчонка, мерзкая!

Мам? кричала, топая ногами. Это было ужасно страшно. В промежутках между криками я пробовала оправдываться:

- Это неправда, мам?, я не целовалась!

Но мам? не слушала, она так разошлась, что еще немножко - и она ударила бы меня. В этот момент вошла гостившая у нас тетенька Татьяна Андреевна Кузминская.

- Что это ты кричишь, Соня? - спросила она.

И, узнав, в чем дело, сказала:

- Надо же разобраться, спросить Сашу, может быть, это все еще неправда. Идем ко мне, - сказала она тоном, не допускающим возражения.

Я с радостью пошла за ней.

- Ну садись, рассказывай всю правду, слышишь, только не ври, все равно узнаю, по глазам узнаю, если вздумаешь скрывать!

Я рассказала тетеньке про свой роман. Гимназист за мной ухаживал, и мне казалось, что это очень весело, как один раз мы очутились вдвоем и он стал перебирать бусы у меня на шее. Я отстранилась от него, а он спросил: "Можно тебя поцеловать?" - и как мне стало страшно, и я сказала "нет" и убежала от него.

- И все? - спросила тетенька.

- Все.

- Постой, а что же ты наговорила мадемуазель?

- Тетенька, я рассказала ей меньше, чем тебе. Она отвратительная, мерзкая, старая лгунья! - с жаром воскликнула я. - Она же первая мне рассказывала про какого-то швейцарца, за которого она собирается замуж.

- Не врешь? - спросила тетенька.

Но это она спросила уже для очистки совести, своим чутким, добрым сердцем она прекрасно понимала, что я говорю правду. Легкой, чуть подпрыгивающей походкой она побежала наверх к мам?.

Котинг уехала. Тетенька настояла на этом.

- Дрянь такая, - говорила она, - сама Саше про свои романы рассказывала, а потом на нее же бог знает что наплела.

У меня остался горький осадок от этой истории, мне казалось, что мам? так и не поверила мне.

А потом приехала милая мисс Вельш.

Светлым, ярким лучом прошла тетенька через всю мою жизнь - с раннего детства и до последних тяжелых революционных лет, когда она была для меня единственным близким человеком в Ясной Поляне!

В моем раннем детстве Кузминские каждое лето приезжали в Ясную Поляну. Бывало шумно, весело, у них была почти такая же большая семья, как наша. Тетенька - первая затейщица: то за грибами, то купаться, то пикники, то друг к другу обедать.

Высокого, красивого, важного крестного моего Александра Михайловича Кузминского мы боялись, тетеньку - обожали. "Тетя Соня", "тетя Таня" слышалось постоянно. Иногда мы путали и тетю Таню называли мам?, а мам? тетей Соней.

Тетенька любила радость и веселье. Все, что было нерадостно, она с негодованием откидывала. Она терпеть не могла ссор, неприятностей, злобы - они нарушали радость - и старалась скорее все уладить. Как

только ссорящиеся с ней сталкивались, она мирила их и вкладывала в это столько жара, что всегда достигала цели. С детьми она вовсе не церемонилась, если кто-нибудь поссорится или подерется, она сейчас же схватит их за шиворот и стучает головами друг о друга, сердито приговаривая: "Ну целуйтесь же, дряни вы такие, целуйтесь, говорят вам!" А если это не действовало, она и подзатыльник даст, чтобы поскорее помирились, и тогда делалось так смешно, что пропадала злость.

Как-то младший сын тетеньки, любимец ее Митечка, захворал желудком, и надо было ему дать касторового масла.

- Митечка, - говорила ему тетенька, ласково-просительно подавая ему касторку в рюмке, края которой были обмазаны лимонным соком, - Митечка, милый мальчик, выпей касторку.

- Нет, нет, нет, - с какой-то недетской уверенностью тянул Митечка, в такт каждому "нет" отрицательно помахивая рукой.

- Митечка, - уже несколько строже говорила тетенька, - выпей касторку!

- Нет, нет, нет, - с еще большей настойчивостью тянул Митечка.

- Митечка, - грозно воскликнула тетенька, - выпей касторку!

- Нет, нет, нет! - В голосе Митечки слышались уже капризные нотки.

- Да, да, да! - вскрикивала тетенька, давая Митечке три подзатыльника и опрокидывая рюмку с касторкой

опешившему мальчику в горло. Он глотал, морщась, захлебываясь, а тетенька запихивала ему в рот ложку малинового варенья на закуску.

Бывало, придут к тетеньке гости, а она их угощает:

- Кушайте, пожалуйста, кушайте, все равно собакам бросится.

И никто не обижался, все смеялись.

Я, к сожалению, не помню ее молодой, но помню, что она пела так, как никто на свете. Я спала в детской за две комнаты от зала. Прогонят спать, а я знаю, что тетенька будет петь, и жду. И вот слышу, первые аккорды на фортепиано берет пап? или брат Сережа. Сердце стучит. В ночной рубашке я крадусь в гостиную.

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты...

Я знаю каждую ноту, дыханье захватывает, мне кажется, что я сама, все вокруг приобретает новое, особенное значение, внутри делается что-то странное, я чувствую в себе новые возможности, силу, которая растет, распухает, томит...

Тетенька кончила. Похвалы, восклицания кажутся ненужными, нарушают очарование. Но вот она снова начинает любимый романс отца:

Слышу ли голос твой

Звонкий и ласковый,

Сердце как птичка

В клетке запрыгает,

Встречу ль глаза твои

Лазурью глубокие,
Душа навстречу им
Из груди просится.
И так-то весело.
И хочется плакать,
И так на шею бы
К тебе б я кинулся!

- Превосходно, превосходно! - слышится голос отца.
- Чудесно!

Я стою в ночной рубашке, меня трясет, и внутри растет и ширится что-то, чего словами я назвать не умею.

Помню освещенную залу. Мам? и тетенька, взявшись за руки, придерживая юбочки, танцуют старинную польку. Па вперед, па назад. Они расходятся, опять сходятся, обе покраснелись, глаза горят. Тетенька тонкая, стройная, мам? немножко портит большой, выдающийся живот, но они обе прекрасны в эту минуту. Когда они, запыхавшиеся, сконфуженные, но довольные, садятся, все аплодируют.

Бывало, отец посмотрит на тетеньку, такую сияющую, жизнерадостную, и скажет:

- Таня, а ведь ты умрешь!

- Вот глупости какие! - восклицала она с негодованием. - Никогда!

Отцу это нравилось, он смеялся до слез.

Тетенька осталась одна. Разлетелись дети, умер дядя Саша Кузминский. После Октябрьской революции в

его петербургскую квартиру ворвались рабочие, стали чего-то требовать... Он встал во весь свой громадный рост, что-то громко крикнул и упал без чувств. У него сделался удар. Тетенька приехала в Ясную Поляну.

В годы тяжелые, голодные, страшные жила она в Ясной Поляне и была для меня единственным утешением.

Избалованная, привыкшая ни в чем себе не отказывать, тетенька жевала кормовую свеклу и радовалась, когда доставала себе кусочек мяса или сыра. Она сделалась худа, как мощи, я легко поднимала ее и, когда у нее ослабевало сердце, носила ее на руках вверх.

Бывало, раздобудешь в Москве или в Туле кофе или шоколад, привезешь ей, она радуется, как ребенок. Я выхлопотала ей пенсию в сорок рублей, из которых она мало того что посылала сыну, но помогала ему еще и тем, что взяла своего внука в Ясную Поляну и воспитывала его по-старинному, главное внимание уделяя изучению языков.

Последние годы тетенька писала свои воспоминания, которые теперь читаются с таким интересом, выдержали уже два издания и переводятся на другие языки. Она торопилась, боялась, что умрет, не допишет.

Бывало, зайдешь в комнату, она улыбнется радостно так, сдвинет очки на лоб, глаза у нее блестят, видно, что она только что жила в другом, давно ушедшем мире.

- Все пишешь, тетенька? Устаешь очень?

- Нет, нет, ничего, а то скоро помру, не успею кончить, - говорила она.

Ей было уже семьдесят пять лет. 12 января (Татьянин день) она писала своему сыну, что ей грустно. Сегодня ее именины, она ото всех скрыла. Денег нет, купить нечего. Но мы все прекрасно помнили, что тетушка именинница. С утра я уехала в город и привезла оттуда пропасть вкусных вещей. В кухне пекли пироги.

- Что в кухне делается? - спрашивала тетенька приставленную к ней старушку.

- Да ничего, - отвечала она (мы посвятили ее в наш секрет), - Николаевна обед готовит.

Вечером, обычно мертвая, зала музея ожила. Стол накрыли белой скатертью, зашумел старый толстовский самовар, расставили конфеты, цветы, пироги, фрукты, даже бутылку портвейна. На другом столе разложили подарки. Все служащие принесли что-нибудь: почтовую бумагу, одеколон, кофе, кусок ростбифа - все, что могли найти по тогдашним голодным временам. Когда все собрались, пошли за тетенькой. В зале было темно.

- Вот удивительно, - говорила она, - позвали меня и даже огня не потрудились зажечь!

В эту минуту залу осветили. Увидев всех нас в нарядных платьях, накрытый стол, подарки, тетенька разволновалась, расплакалась, бросилась всех по очереди целовать, благодарить и побежала надевать светлое платье.

В этот вечер она пела! Моя двоюродная сестра Елена Сергеевна Денисенко аккомпанировала ей. Голос тетеньки дрожал, некоторые ноты она не могла вытянуть. Она покраснелась, разволновалась. В тех местах, где надо было ускорить темп, она толкала в

спину Елену Сергеевну - сила жизни была в ней еще огромная!

Слышу ли голос твой

Звонкий и ласковый...

Я слушала ее, и мне хотелось плакать. Когда она кончила, я обняла ее.

- Милая тетенька, - говорила я ей, - ты только не умирай! Что я буду без тебя делать?

- Нет, нет, - утешала она меня. - Нет!

А через несколько дней, когда все собрались в столовую к обеду, пришла тетенька, тихо села на диван ждать одного из сотрудников, собиравшегося ехать в Тулу. Вдруг кто-то сказал:

- Что это с Татьяной Андреевной?

Я вскочила. Она тихо склонилась на один бок. Ее взяли на руки и понесли наверх, безжизненно болталась правая рука, отнялся язык.

Через несколько дней она умерла.

И когда мы выносили гроб из яснополянского дома и слезы помимо моей воли текли по щекам, я вдруг вспомнила: "Таня, а ведь ты умрешь!" - "Вот глупости! Никогда!"

Исповедь

Впервые я подошла к отцу, когда мне было пятнадцать лет. Это время я считаю началом моей близости с ним. С годами она все увеличивалась.

Была шестая неделя поста. По всей Москве слышался звон колоколов, только что отошла всенощная. Несмотря на пост, в воздухе чувствовалось что-то

праздничное - и в журчащих вдоль тротуаров ручейках, и в веселом перезвоне, и в заходящем солнце, бросающем красно-желтые отблески на окна дома.

Я шла от всенощной из небольшой церкви на Пречистенке, где пел прекрасный хор слепых девушек. Пели очень хорошо, особенно одна из них, со светлыми волосами и грустным лицом. От ее голоса было даже немножко жутко, столько печали и тоски слышалось в нем.

В ранней молодости часто бывает состояние какого-то восторженного умиления, когда кажется, что всех любишь и что ты сам такой добрый, хороший, что и другие не могут не любить тебя.

Именно это чувство я испытывала, когда шла из церкви. Мне было легко, весело, внутри все пело и радовалось. Рядом со мной в церкви стояла сгорбленная, нищенски одетая старушка с трясущейся головой. Я оказывала ей мелкие услуги - ставила за нее свечи к иконам, приносила стул, помогала сходить с приступок. От черного, позеленевшего салоп старушки пахло затхлостью, и, стоя за ее спиной, я наблюдала, как по желтовато-серым волосам ее и по салопу ползли крупные вши. "А я все-таки, несмотря на то, что она такая грязная и от нее скверно пахнет, люблю ее и помогаю ей, - думала я, все более и более на себя умиляясь. - Завтра пятница, я пойду к исповеди и очищусь от всех грехов". Я старалась припомнить, в чем надо было покаяться священнику.

Я быстро шла по улице, громко стуча каблуками по высохшему уже тротуару, как вдруг лицом к лицу столкнулась с отцом. Он шел не спеша, с палочкой, в

мягкой серой шляпе и расстегнутом пальто, из-под которого виднелась белая полотняная блуза.

- Ты откуда? - спросил он меня.

- Из церкви.

Его серые, глубокие, всепонимающие глаза на минуту остановились на мне. Я внутренне сжалась от этого взгляда.

- Почему это на тебе такой ярко-красный галстук?

Я молчала.

Он еще раз внимательно, точно заглядывая в душу, посмотрел на меня и пошел дальше.

"Почему на тебе такой ярко-красный галстук? - повторила я. - Ярко-красный, да, очень яркий, нескромный, нехороший галстук". Стало грустно, в сердце что-то сжалось. "Нехороший галстук, а я... хорошая? Нет, нехорошая, нехорошая. Какая-то фальшивая, неискренняя".

Я шла домой в глубоком раздумье, тело отяжелело и казалось безобразным, неуклюжим. Я была противна самой себе и все старалась понять, что же такое случилось. Не было следа того восторженно-умиленного состояния, в котором я только что находилась. Я бичевала себя, подвергая все свои поступки и переживания самой строгой критике. "А ну-ка, - говорила я самой себе, - отдала ли бы ты все, что имеешь, грязной старушке? Нет? Чего же стоят твои сентиментальные ухаживания, твое умиление?"

Иногда в душе помимо желания, неведомо для нас происходит сложный душевный процесс, и достаточно самого незначительного толчка, чтобы дать иное

направление мыслям, чувствам... Может быть, именно это и случилось со мной? Я не могла уже ни к себе, ни к тому, что меня окружало, относиться просто. Я все замечала, все анализировала.

В таком возбужденном состоянии я пошла на другой день с матерью исповедоваться. После коротенькой вечерни священник стал вызывать прихожан к исповеди. Мы стояли позади всех. Старушка была впереди. Она опиралась на палочку, переминалась с ноги на ногу, вздыхала, и голова ее тряслась больше обыкновенного. По-видимому, она очень устала.

Вышел священник. Старушка двинулась вперед, но священник обошел всех и подошел к моей матери.

- Пожалуйста, графиня, - сказал он, почтительно кланяясь и пропуская нас вперед.

Старушка покорно попятилась назад. "И это священник, слугитель Божий!" подумала я с возмущением.

Когда я пошла на исповедь, я уже не чувствовала, что священник может освободить меня от грехов. Я видела в нем обыкновенного, грешного человека, такого же, как все. Мне было противно отвечать на его вопросы: бранила ли я кого-нибудь? врала ли? слушалась ли старших? "Какое ему дело?" - думала я, односложно отвечая: грешна, батюшка, грешна.

Я пришла домой в еще более смутном состоянии. Здесь меня ожидало большое огорчение. Когда я вошла в комнату, меня сразу охватило ощущение пустоты. Я взглянула на клетку - она была пуста. Куда же девался мой чиж? Он был ручной, летал по всей комнате и

нередко затягивал свою песенку, сидя у меня на плече или на голове. Где же он?

В комнате я его не нашла и пошла к горничной спросить, не видала ли она чижа. За ширмами я услышала хруст, на кровати сидела серая кошка Машка и блаженно мурлыкала, доедая остатки моего чижа. По одеялу были разбросаны желтенькие перышки.

Я схватила палку и в исступлении начала бить кошку, носясь за ней по всей комнате. Я убила бы ее, если бы она не ухитрилась шмыгнуть в форточку.

Злоба спирала дыхание, сердце учащенно билось. И вдруг я вспомнила, что только что исповедовалась. "Вздор, пустяки все!" Но на душе стало еще мучительнее, еще нестерпимее. Я упала ничком на подушку и зарыдала.

На другой день на меня надели белое платье и мы с матерью отправились в церковь причащаться. Когда мы вошли, церковь была уже полна народу. Мы с трудом пробрались вперед. Началась обычная длинная служба.

С критическим вниманием следила я за ходом обедни, ловила каждое слово священника. Его выходы, движения, громкие возгласы, чтение Евангелия, в котором ничего нельзя понять, - все возбуждало во мне сомнение.

Во всем этом я видела что-то фальшивое, неискреннее. "Вот и причастие, кто больше положит на тарелку, тому дают больше вина и просфоры", - думала я.

В вербную субботу, когда мать крикнула, чтобы я собиралась с ней в церковь, я сказала, что не пойду. Она не сразу меня поняла.

- Почему? Ты нездорова?
- Нет, я здорова, а в церковь больше не пойду.
- Да почему же?
- Не хочу. Не нужно, фальшиво все это.

Мам? была так потрясена, что сразу не нашла, что мне ответить. Мое заявление было для нее страшным ударом. Две старшие дочери уже давно отошли от церкви, проникшись учением отца. Меня мать старалась воспитать в православии, часто водила в церковь, она надеялась, что хоть одна из ее дочерей не собьется с истинного пути и останется православной. В раннем детстве она сама учила меня Ветхому завету и радовалась, что я хорошо занимаюсь. А меня очень забавляли истории Иосифа, Давида, Голиафа и Ионы, которого проглотил кит, хотя и тогда уже я знала, что отец считает Ветхий завет сказками, в которые нельзя верить. Помню, рядом с нашим домом за высоким забором был клинический сад для душевнобольных. Сидя на высоком заборе, болтая ногами, я философствовала с сумасшедшими на религиозные темы.

- Вот пап? говорит, что Ветхий Завет - глупости, я думаю, что он прав. А вот он еще говорит, что мясо есть нельзя. Этому я не верю, мяса, по-моему, можно есть сколько угодно.

Больные, улыбаясь, смотрели на меня.

- А я и в Бога не верю, - сказал один из них.
- Нет, я верю! - ответила я.

По-видимому, взгляды отца в какой-то примитивной форме уже коснулись моего детского сознания, но мам? не подозревала этого. Теперь, когда я отказалась идти в церковь, она решила, что отец говорил со мной и повлиял на меня.

Мам? тотчас же пошла к нему в кабинет объясняться. Они говорили долго. Когда она, шурша шелковой юбкой, спустилась вниз, щеки ее горели, а глаза были красны от слез.

- Тебя отец зовет! - сказала она.

Я побежала в отцовский кабинет.

Он сидел за круглым столом в большом кожаном кресле с книгой в руках.

- Ты что же это мать огорчаешь? - спросил он, строго и пристально глядя мне в глаза. И снова, как и тогда при его вопросе о красном галстуке, я почувствовала, что он все видит и понимает. - Почему в церковь не хочешь идти?

- Не могу! - сказала я, чувствуя, как слезы подступают к горлу.

- Не плачь, - сказал он мягко. Но я заплакала. - Прежде чем бросать старое, - сказал он, - надо твердо знать, есть ли у тебя что-нибудь новое, чем ты можешь заменить. Есть у тебя это?

- Не знаю.

- Тогда почему же ты мать огорчаешь, не идешь с ней в церковь?

- Ложь, фальшь там одна, не могу! - выкрикнула я сквозь душившие меня рыдания.

Лицо отца еще больше смягчилось, глаза стали ласковыми, добрыми.

- Вот как. Да ты не плачь, голубушка.

Почувствовав его ласку, я поняла, что должна все рассказать ему. И, запинаясь и захлебываясь, я рассказала про слепых, про старушку, про свое умиление, почему оно кончилось, рассказала про священника, про чижа, которого съела кошка.

Отец казался взволнованным. Он уже не сидел, а ходил по комнате, засунув руки за пояс, а я следила за ним, ловя выражение его лица.

- А все-таки пойдешь с матерью в церковь сегодня, можешь? - спросил он и ласково и вместе с тем многозначительно, как на взрослую, взглянул на меня.

Я поняла его взгляд.

- Хорошо.

Он нагнулся и поцеловал меня в лоб. Глаза его весело сияли. Я быстро сбежала вниз, оделась и, к удивлению и радости моей матери, сказала ей, что иду ко всенощной.

С этого дня отец уже никогда не был для меня недоступным, чужим...

Крым

Через год я должна была держать при округе экзамены на домашнюю учительницу. Больше всего меня пугал закон Божий. Надо было знать наизусть весь катехизис, богослужение, а я никак не могла их зазубрить. Говорили, что меня, дочь отлученного от

церкви, будут особенно строго спрашивать и придирааться.

Но я напрасно волновалась. Экзамена держать мне не пришлось.

Летом 1901 года отец опасно заболел, у него началась лихорадка и грудная жаба. При низкой температуре пульс доходил до 150-ти. Съехалась вся семья. Мам? и Маша по очереди ухаживали за ним. Вызвали врачей - Щуровского, Бертенсона. Они посоветовали ехать в Крым.

Графиня Софья Владимировна Панина, узнав о решении врачей, предложила свой дом в имении Гаспра на южном берегу. Отец был так слаб, что страшно было его везти. Один из его последователей, служивший на железной дороге, обратился к своему начальству с просьбой предоставить отцу для поездки директорский вагон. В Крым с отцом поехали мам?, сестра Маша с мужем, Б. и я. Пианист Гольденвейзер, усиленно искавший близкого знакомства с отцом, в Харькове присоединился к нам. Из служащих с другим поездом ехали: повар Семен Николаевич, Илья Васильевич и портниха мам?, молодая девушка Ольга.

Курьерский поезд выходил из Тулы около трех часов утра. До вокзала 17 верст ехали на лошадях. Тьма была кромешная, грязь, особенно скверно было по проселочной дороге до шоссе. Филичка с факелом провожал нас. На Тульском вокзале от суеты, от утомления отец почувствовал себя настолько плохо, что поднялся вопрос, не вернуться ли обратно. Но Б. доказывал, что возвращаться было бы безумием, вагон прекрасный, удобный, а о том, чтобы опять ехать на лошадях, страшно было и подумать. Вагон действительно

оказался превосходным, не только у каждого было свое спальное купе, умывальник, но был прекрасный салон с мягкими креслами, с большим обеденным столом, пианино. Здесь действительно можно было прекрасно отдохнуть.

На другое утро, когда проехали Курск и стало уже по-южному тепло, отец почувствовал себя лучше, пробовал работать, но не мог. Мы с сестрой Машей смотрели в окна и радовались на малороссийские белые мазанки, на пирамидальные тополя и меловые горы. Иногда присоединялся к нам и отец.

В Харькове собрались обедать, но когда поезд подошел к вокзалу, мы увидели на платформе громадную толпу, почти сплошь состоявшую из студентов. Я сразу догадалась, что готовится встреча отцу. Стало жутко: "Приветствия, речи, волнения, не выдержит сердце!" - мелькало в голове. Мы повернули обратно, об обеде и думать было нечего! И действительно, толпа хлынула к нашему вагону.

Отец взволновался, услышав, что студенты собрались приветствовать его и просят принять от них делегацию. Он весь как-то сжался, точно ему хотелось спрятаться. Лицо выражало страдание, почти отчаяние. Делегация стояла у окна и ждала. Я сочувствовала отцу, мне было тяжело смотреть на его волнение, хотелось оградить его. "У них простое любопытство, - думала я, - а отцу это может стоить жизни". Казалось, и Маша разделяла мои чувства, но мам? и Б. заразились общим возбуждением, они стали уговаривать отца принять делегацию. Отец согласился. Он делал громадные усилия, чтобы отвечать на приветствия, пожелания, -

говорить было не о чем. После первой делегации пришла вторая, а на платформе гудела толпа.

- Попросите Льва Николаевича подойти к окну! - кричали студенты, умоляем, на минутку!

- Он не может, он болен... - отвечали мы из вагона.

- Ради Бога, на минутку, пусть только покажется...

Перед третьим звонком отец подошел к окну. Головы обнажились.

- Уррррра! - вдруг загремела толпа, - урра!!

Поезд медленно отходил.

- Толстой, Лев Николаевич! Будьте здоровы! Счастливый путь. Студенты теснили друг друга, висли на столбах, бежали по платформе за поездом, но толпа постепенно редела, пока, наконец, и самые упорные принуждены были отстать...

Поезд мчался дальше. Все были взволнованы. Отец сморкался. Признаюсь, щипало и у меня в носу. Но как и предполагали, отцу не прошли даром пережитые волнения. Температура поднялась, снова появились перебои сердца. И только на утро, когда мы подъехали к Севастополю, ему стало лучше.

Здесь, на вокзале, отца снова ждала овация, но гораздо более скромная, чем в Харькове. Мне показалось, что небольшая кучка людей, которая приветствовала отца, по большей части состояла из немолодых дам. Потом мы узнали, что севастопольцы уже несколько дней подряд собирались на вокзале и ждали, когда приедет Толстой, но многие не дождались.

Мы остановились в большой, хорошей гостинице Киста на Набережной. Настроение было праздничное,

как обычно бывает, когда после дождей, осенней слякоти средней полосы России попадаешь в волшебный край, где тебя внезапно окутывает теплый морской воздух, поражает глубокая синева неба, яркость красок и теней. Все надеялись, что отец оживет на юге.

Мы с Б. сейчас же побежали в город за провизией, притащили груды душистого, спелого, желто-дымчатого, точно вспотевшего винограда, связку толстых татарских бубликов, пахнущих кислым тестом, и еще всяких вкусных вещей. Мам? хлопотала с обедом и с вещами.

Отцу тоже не сиделось дома, и он отправился с Б. гулять, заходил в Севастопольский музей, осматривал город и все расспрашивал, где находился 4-й бастион, на котором он когда-то воевал. Б. рассказывал нам, что отца везде узнавали и кланялись ему, даже городской отдал ему честь.

К вечеру отец устал, не столько от прогулки, сколько от охвативших его воспоминаний.

На другое утро в двух экипажах на перекладных поехали в Гаспру. В одной коляске, запряженной четверней, ехали отец, мать, Б. и я. В другой Оболенские и Гольденвейзер. Пока ехали городом, отец напряженно смотрел кругом.

- Ах, как все изменилось, как изменилось! - повторял он с грустью.

Он никак не мог ориентироваться, его это мучило, он напрягал память, стараясь понять, где был 4-й бастион. Расспрашивал об этом кучера. Увидавши несколько человек матросов с открытыми загорелыми лицами в белых, с синими воротниками, рубашках, стройно шагающих по улице, он сказал:

- Экие молодцы! - А потом тихо добавил: - И подумать только, что их к бойне готовят!

Он стал говорить об ужасах войны и удивлялся, как он мог когда-то не только участвовать в войне, но и увлекаться ею.

Проехали первый перегон. Пока на станции перепрягали лошадей, мы с Б. и Гольденвейзером полезли на гору. Снизу гора казалась небольшой, но когда мы стали подниматься, мы поняли, что это не так легко.

- Тише, тише, - останавливал нас Б. - С непривычки нельзя так быстро ходить в горы. Может сделаться плохо.

Но Гольденвейзер только посмеялся над этим предупреждением.

Он быстро нас обогнал и взбежал на гору. Когда мы взошли на вершину, он был страшно бледен, его тошнило.

Сбежав, мы рассказали отцу про этот случай. Отец покачал головой:

- Типичная еврейская черта, - сказал он, - желание во всем быть первыми.

В Байдарах лошадей оставили на станции и пешком прошли к знаменитым Байдарским воротам. У меня дух захватило, когда с высоты нам открылся залитый солнцем зеленый, цветущий южный берег. Слева возвышались могучие грозные скалы, вдали горело и серебром переливалось безбрежное море. Не только на меня, видевшую все это впервые, зрелище произвело

сильное впечатление, все были взволнованы. Отец сидел на камушке и молча смотрел.

Но надо было торопиться, варить отцу обед, ехать дальше, чтобы опасный в Крыму заход солнца, дающий резкое понижение температуры, не застал нас в пути. Рядом с гостиницей мы нашли помещение с плитой, которую быстро разожгли и сварили отцу обед. Простояв около часа, пообедав, отправились дальше в тот сказочный мир, который мы только что обзрели сверху. Дорожка шла вниз крутыми зигзагами. Коляски делали бесконечные петли, а мы с Б. по тропинкам шли наперерез и радовались, когда обгоняли их. Всю дорогу я смотрела, пока наконец не разболелись у меня глаза, голова, шея. Все было необыкновенно: татарские деревни с бесконечными лавочками, где пахло кизяком и бараньим салом, татарчата в круглых барашковых шапочках, татарки с чадрами на голове и крашеными ногтями, нависшие над дорогой громадные скалы, а главное, море, море...

Поздно вечером приехали. С верхнего шоссе завернули направо в ворота и по шуршащему гравию подкатили к великолепному дворцу. Первое, что бросилось в глаза, были круглые башни, домашняя церковь и фонтан около дома.

Нас встретили служащие гр. Паниной. Впереди всех управляющий немец Карл Христианович Классен с хлебом и солью.

Во дворце неприятно поразила роскошь. Я никогда в таком доме не жила. Было неловко и неудобно: мраморные подоконники, резные двери, тяжелая дорогая мебель, большие, высокие комнаты. Дом показался мне мрачным. Но когда вышли на верхнюю террасу и

открылся вид на море, все пришли в восторг. Хороша была и нижняя терраса, обвитая виноградом, со свисающими спелыми гроздьями изабеллы.

На другой день приехали на пароходе служащие. Несмотря на то, что море было совершенно спокойно, всех троих укачало. Особенно пострадал толстый Семен Николаевич, он даже плакал.

- Ну и завезли, - говорил он в отчаянии, - ну и страна! С одной стороны море, с другой горы, деваться некуда!

Илья Васильевич тоже был недоволен. И хотя лицо его сохраняло обычное выражение покорности судьбе, он был еще бледнее и меланхоличнее, чем всегда. Скорее всех утешилась Ольга-портниха. Она немедленно познакомилась с красивыми татарами-проводниками и предвкушала жизнь, полную всяких интересных приключений и романов.

Когда кто-нибудь из нас приходил в слишком большой восторг, начинал бесноваться, у нас в семье это называлось animal spiritus¹. Так вот эти "animal spirits" обуяли нас в первые дни нашего пребывания в Крыму. Почтенный толстовец точно с ума сошел. Он заказывал лошадей, и мы ездили с ним по окрестностям, ходили гулять. Помню свое близкое знакомство с морем. Б., Оболенские и я поехали вниз на берег. Был небольшой прибой. Волны, клубясь и пенясь, ударялись о скалы, окатывая их водой. Это было прекрасно, но мне надо было ощутить, почувствовать его. Я спустилась вниз, вымыла лицо, руки, выполоскала рот, но и этого было мало. Тогда я залезла на большой камень и плашмя легла на него. Маша, заражаясь моим восторгом, тоже подошла слишком близко. Большая волна окатила нас с

головы до ног. Мы сняли платья, повесили их сушить и вдруг увидели, что над нами, облокотившись на перила каменной стены, стоял генерал и смотрел на нас с нескрываемым презрением.

Хорошо было первое время в Крыму! Постепенно все входило в обычную колею. Отец поправлялся, начал работать, расположив день так же, как в Ясной Поляне, только раньше вставал и раньше ложился спать.

Сестра Маша переписывала ему, но она собиралась переехать в Ялту лечиться и беспокоилась о том, что некому будет ее заменить.

- Ну, Саша, - как-то сказала она мне, - теперь ты уже взрослая (мне только что минуло 17 лет), пора начать тебе переписывать отцу.

Она принесла мне несколько исписанных его рукой листков бумаги. Был уже вечер. Я обрадовалась, мне хотелось доказать, что я справлюсь с работой. Придя к себе в комнату, я сложила бумагу в четвертушки, нарезала ее, загнула с правой стороны поля, вложила в ручку новое перо и развернула рукопись. Как хорошо я помню ее внешний вид: четвертушки бумаги вдоль и поперек исписанные, перечеркнутые, со вставками между строчек, на полях, на обороте, с недописанными словами...

Характерно, что внешняя сторона рукописи настолько поглотила мое внимание, что я не помню ее содержания. Помню только, что это была статья о религии. Постепенно мое восторженное состояние сменилось беспокойством, а затем и отчаянием. Часы ползли. Наступила ночь. Несколько слов напишу, а потом разбираю. Чем дольше я сидела, тем туманнее становилось в голове. Теперь уже я не только слов, но

даже букв не разбирала. Начинала выдумывать, выходила бессмыслица. В глазах рябило, строчки сливались. Пробовала я отложить работу и с разбега прочитать - опять ничего.

Только уже через несколько недель я поняла, что не надо сидеть над отдельными буквами, а надо пытаться схватить основной смысл фразы, только тогда делались понятными слова и буквы. Но для этого нужно было еще долго и упорно работать.

Наступило утро. К восьми часам переписка должна была лежать на столе у отца, а у меня в руках была такая ужасная, жалкая работа, что страшно было ее нести. На каждой странице пропуски, неразобранные слова, строчки кривые, буквы острые, высокие, между линеек мало места для поправок. Когда я принесла переписку отцу, он засмеялся и отложил ее в сторону. А я ушла от него в полном отчаянии, с сознанием, что я никуда не похуь и никогда не научуь ему помогать!

Как я завидовала Маше, которая так уверенно писала маленькими, круглыми, отчетливыми буквами, ровно, гладко, точно печатала, и прекрасно разбирала отцовский почерк.

Но постепенно и я стала привыкать. Эта работа наполнила мою жизнь, я перестала чувствовать себя бесполезной.

В это лето отца посетили многие писатели: Чехов, Горький, Скиталец, Елпатьевский, Бальмонт и другие.

Чехов был у отца еще в Москве, но я его увидела здесь впервые. Он пришел с палочкой, немножко сгорбленный, застенчивый и серьезный, беспрестанно коротко и глухо покашливал, и было ясно, что он

серьезно болен. На ввалившихся щеках, может быть, от волнения, а может быть, от болезни, горел румянец. Чехов сидел с отцом на нижней террасе, разговор шел о литературе. Я знаю, что отец уважал Чехова и, пожалуй, из молодых писателей ему легче всего было с Антоном Павловичем. Ему он прямо и откровенно мог сказать свое мнение о его писаниях, он знал, что Чехов и не обидится и поймет его. В этот же раз или позднее, отец уговаривал Чехова не писать драм и восхищался его рассказами. На всех нас Чехов произвел впечатление серьезности, простоты и какой-то внутренней обаятельности.

В это же время часто заходил Горький. Он был выслан и жил в двух верстах на берегу моря в Олеше. Горький мне всегда казался чуждым. Мне казалось, что отец не мог быть с ним самим собой - правдивым и искренним до конца. Да и Горький не был естественным, он смущался и робел перед отцом. Я видела Горького в кругу его приятелей и семьи. Часто мы с ним, с Юлией Ивановной Игумновой и братьями играли в городки. Обычная, свойственная ему грубоватость исчезала в обществе отца.

Иллюстрацией такой принужденности может служить сцена, описанная доктором Волковым в его воспоминаниях:

"Однажды в моем присутствии Лев Николаевич хвалил Горькому роман Поленца "Крестьянин" и особенно умилялся художественной правдой той сцены, в которой избитая пьяным мужем жена заботливо укладывает его на постель и подкладывает под голову подушки...

Горький промолчал... А когда мы с ним возвращались, он заметил:

"Подушку под голову подкладывает! Хватила бы его поленом по башке!"

Мне помнится, что Скиталец приезжал гораздо позднее с Горьким и Шаляпиным. Бросалось в глаза сходство в его внешнем облике с Горьким. Та же косоворотка, подпоясанная ремнем, длинные прямые волосы, которые он резким встряхиванием головы отбрасывал назад, та же грубоватость и простоватость в манерах. Братья рассказывали, что Скиталец замечательно играет на гуслях и поет. Но, по-видимому, его песни, так же, как анекдоты и остроумие Шаляпина, можно было услышать только в мужской компании за стаканом вина.

Раза два приходил Бальмонт. Разумеется, стихи его отец не мог принять, и вряд ли свидание с поэтом доставило ему большое удовольствие. Он всегда стеснялся в лицо высказывать свое мнение писателям, зная, что его слово имело для них большое значение. Но, по-видимому, Бальмонта смутить было трудно. Вот как он сам рассказывает про эту встречу:

"Я прочел ему "Аромат солнца", а он, тихонько покачиваясь в кресле, беззвучно посмеивался и приговаривал: "Ах, какой вздор! "Аромат солнца"... Ах, какой вздор!" Я ему с почтительной иронией напомнил, что в его собственных картинах весеннего леса и утра звуки перемешиваются с ароматами и цветами. Он несколько принял мой аргумент и попросил меня прочесть еще что-нибудь. Я прочел ему: "Я в стране, что вечно в белое одета". Лев Николаевич притворился, что это стихотворение ему совершенно не нравится".

Часто из Ялты приезжал Сергей Яковлевич Елпатьевский и, хотя он был уже больше писатель, чем

доктор, помнится, он участвовал несколько раз в консилиумах во время болезни отца.

Приезжал Сергеенко. Мало интересный сам по себе, он всегда старался удивить отца чем-нибудь. Однажды он раздобыл откуда-то автомобиль. Автомобили тогда только что появились в России. К великому беспокойству матери, отец заинтересовался машиной и поехал с Сергеенко кататься.

Тут же в Крыму отца навестил известный кадет Петрункевич, разговор шел о политике. Мне запомнились слова, сказанные отцом после этого свидания:

"Ну как они не понимают, что дело не в перемене правительства. Разве жизнь станет лучше оттого, что вместо Николая II будет царствовать Петрункевич?!"

Все без исключения любили управляющего гр. Паниной Карла Христиановича Классена. Это был милый, добрый старик, старавшийся сделать всем приятное. Жил он в одном из флигелей со своей совсем уже старенькой мам?шей и двумя маленькими, неопределенной породы собачками. Каждое утро Карл Христианович присылал нам корзину прекрасного, душистого винограда разных сортов с собственных виноградников, а позднее яблоки и груши из штамбового, его посадки, сада. Ежедневно он осведомлялся о здоровье отца. Если ему отвечали, что плохо, он огорчался, чувствуя себя как будто виноватым в том, что его любимый Крым не помогает, закатывал свои добрейшие голубые глазки к небу и сокрушался:

- Плоко? Ах, как уясно, уясно! (Карл Христианович не выговаривал букву "ж"). Он был страстным винтером. Кто-то предложил отцу вместо отдыха играть в карты. Играли Оболенские, Сухотины, Классен, Б., когда приезжал из Москвы, иногда не хватало четвертого

партнера и звали меня. Я быстро научилась этой премудрости и гордилась тем, что меня принимали играть со взрослыми. Каждый играл по-своему. Б. играл тонко и умно, но всегда неожиданно и страшно рисковал, отец играл плохо, забывал считать козырей, назначал больше, чем мог сыграть, ремизился и редко выигрывал. Лучше всех играл Карл Христианович: он назначал игру только тогда, когда бывал вполне уверен, что выиграет, большей же частью он подсиживал других. Прижмет карты к груди, склонит голову набок, зажмурится и выжидает. Если противники его зарывались, улыбка играла на его добродушно-плутоватом лице, но если начинал рисковать партнер, он охал, вздыхал и шептал:

- Уясно, уясно...

Только отцу он прощал нерасчетливую игру.

По соседству с Гаспррой было имение великого князя Николая Михайловича. Ворота имения охранялись часовыми, вход посторонним был запрещен. Казалось, что там, за этими стенами, был другой мир и великие князья в нашем представлении были недоступными и чуждыми. Каково же было наше удивление, когда великий князь Николай Михайлович попросил разрешения повидаться с отцом. Отец согласился, и свидание состоялось с глазу на глаз. Великий князь произвел на отца лучшее, чем он ожидал, впечатление.

- Странно, - говорил он, - и что ему от меня нужно? Рассказывал про свою жизнь, просил позволения прийти еще раз. Но человек простой и, кажется, неглупый.

Много позднее отец, передавая мне на хранение бумаги, оставленные ему великим князем, рассказал, что

Николай Михайлович советовался с ним по поводу своей любви к одной даме...

Между прочим в разговоре с отцом великий князь спрашивал, чем он может быть полезен, просил не стесняясь гулять по его имению, сказал, что отдаст соответствующее распоряжение своим служащим и сам показал отцу ход в парк по тропиночке через стенку за Гаспринским садом.

С этих пор отец часто гулял по Ай-Тодору. Здесь была удивительная "Царская тропа", или, как отец прозвал ее, "горизонтальная дорожка", по которой можно было дойти почти до самой Ялты без подъемов. Иногда отец уходил к морю. Спускаться было легко, но подниматься со слабым сердцем - вредно. Мам? держала наемную коляску с парой лошадей и добродушным кучером Мустафой Умер, но отец ни за что не хотел пользоваться экипажем и предпочитал ходить пешком. В редких случаях он ездил верхом на старой серой лошади Карла Христиановича. Часто он утруждал себе сердце, лазая по горам. Отцовские прогулки были всегдашним поводом для беспокойства мам?, которая вообще терпеть не могла юг, скучала и, что бы ни случилось, винила во всем Крым.

Помню, я только что вернулась с вершины Ай-Петри, куда мы ушли ранним утром. Мы устали, хотелось есть, был уже вечер. Мы застали мам? в страшном беспокойстве. Оказывается, отец давно уже ушел гулять и в урочное время не вернулся. Мам? боялась, что с ним что-нибудь случилось, а послать разыскивать было некого. Усталость как рукой сняло. Мы бросились во все стороны искать отца. Я добежала до

моря, не нашла его, и когда вернулась, он оказался уже дома.

Странные отношения у меня создались с Б. Он был лет на двадцать старше меня, был... почти толстовцем. Что-то мешало назвать его настоящим толстовцем. Он любил и выпить, и в карты поиграть. Со мной он вел себя как юноша. Ездил верхом, затевал прогулки, веселился, шутил. Я была благодарна ему за то, что он всячески старался приблизить меня к отцу, помогал в переписке, указывал, что и как надо было сделать. Я привыкла к нему и относилась с доверием.

Однажды до меня донесся разговор отца с невесткой Ольгой, который на некоторое время омрачил меня. Но вскоре я про него забыла и вспомнила лишь много позднее.

- Замечаешь? - спросил отец и указал на нас с Б.

- Да... - сказала Ольга многозначительно.

- Вот поди-ж ты, - сказал отец, - такой серьезный, пожилой человек и вот ослабел...

Помню, как-то в один из приездов Б. мы по обыкновению ушли гулять. Захватили с собой связку бубликов, винограда и пошли пешком в Алупку. Много ходили по парку, забрели в хаос, где природа так причудливо нагромодила чудовищные груды серого камня, и береговой дорожкой возвращались домой. Поднимаясь к Гаспре без дороги - напрямик, мы запыхались и сели на полянке отдохнуть. Было жарко. Вся трава была выжжена, и казалось, что земля насквозь прогрета солнцем. Пахло мятой. Я лежала на траве и рассматривала синенькие цветочки, которые, разогревшись на солнце, сильно благоухали. Вдруг мне

стало почему-то неловко. Я подняла голову и встретила глазами с Б. Он как-то странно и необычно смотрел на меня. Мне показалось, что взгляд его подернулся мутью.

Я испугалась и вскочила на ноги.

- Куда вы? - закричал он. - Подождите, ради Бога, мне надо вам сказать.

- Нет, нет, не надо! - крикнула я и бросилась в гору, не оглядываясь.

За моей спиной шуршали оборвавшиеся камни и слышалось прерывистое дыхание Б. Он бежал за мной до самого дворца.

Я успокоилась только тогда, когда оказалась на площадке перед домом. Отец завтракал.

- Что это с тобой? Почему ты так запыхалась? - спросил он.

- Быстро шла, - ответила я и убежала в свою комнату.

На душе было гадко.

С этого дня отношения с Б. у меня испортились, не было в них той простоты и ясности, как раньше.

Маша жила в Ялте, приехала Таня с мужем и пасынками - Наташей и Дориком. Они поселились во флигеле. Таня ожидала младенца, и на этот раз, как и раньше, ребенок родился мертвым. Все горевали. Отец нежной лаской старался утешить сестру. Жизнь сестер, их радости и огорчения были по-прежнему ему близки, а они так же, как и раньше, скрашивали его одиночество.

В то время я не умела еще подойти к отцу. Отчасти этому мешала моя застенчивость, отчасти мои 17 лет. Меня отвлекали и верховая езда, и спектакли, и хор балалаечников, с которыми я ездила в море. Надя М. жила в то время в Ялте, я бывала у нее, мы ездили верхом большими кавалькадами. Иногда у нас собиралось много молодежи, бывало весело.

Помню, у Сухотиных жил учитель - маленький, хроменький человек. В детстве у него был коксит и одна нога осталась короче другой. Он стремился с нами на прогулки, мы забывали про его хромоту и шли слишком быстро. Он уставал, лицо его покрывалось красными пятнами, пот струился по измученному лицу, а он спешил за нами, волоча свою больную ногу. Я жалела его, незаметно отставала, удерживала других. Почувствовал ли он во мне доброе отношение или по другим причинам, он привязался ко мне.

Все, чем жил отец в то время, задевало меня лишь одним краем. Истинная же сущность его понимания жизни была мне недоступна. Я только что прочла "Войну и мир", это было целым событием в моей жизни. Я читала и перечитывала книгу, она была понятнее и доступнее мне, чем статья отца "О религии", которую он в то время писал.

Меня продолжали захватывать только отдельные моменты деятельности отца: выступление против церкви и правительства. Когда я прочла второе письмо отца к царю, оно сильно подействовало на мое воображение. Я мечтала о том, как царь, получит письмо, вызовет отца и будет с ним говорить, и после этого в России все изменится. Я не сомневалась, что царь, получив письмо,

поймет то, что в нем так сильно и смело изложено. Я сомневалась только, что письмо дойдет по назначению.

"Мне не хотелось умереть, не сказав вам того, что я думаю о вашей теперешней деятельности и о том, какую она могла бы быть, какое большое благо она могла бы принести миллионам людей и вам, и какое зло она может принести людям и вам, если будет продолжаться в том же направлении, в котором идет теперь", - писал отец царю.

"Самодержавие есть форма правления отжившая, могущая соответствовать требованиям народа где-нибудь в Центральной Африке, отдаленной от всего мира, но не требованиям русского народа, который все больше и больше просвещается общим всему миру просвещением; и потому поддерживать эту форму правления и связанное с ней православие можно только, как это и делается теперь, посредством всякого рода насилия, усиленной охраны, административных ссылок, казней, религиозных гонений, запрещений книг, газет, извращения воспитания и вообще всякого рода дурных и жестоких дел.

И таковы были до сих пор дела вашего царствования, начиная с возбудившего общее негодование всего русского общества ответа Тверской депутации, где вы самые законные желания людей называли "бессмысленными мечтаниями", все ваши распоряжения о Финляндии, о китайских захватах, ваш проект Гаагской конференции, сопровождаемый усилением войск, ваше ослабление самоуправления и усиление административного произвола, ваша поддержка гонений за веру, ваше согласие на утверждение винной монополии, т.е. торговля от правительства ядом,

отравляющим народ и, наконец, ваше упорство в удержании телесного наказания, несмотря на все представления, которые делаются вам об отмене этой позорящей русский народ, бессмысленной и совершенно бесполезной меры. Все эти поступки, которые вы не могли бы сделать, если бы не задались, по совету ваших легкомысленных помощников невозможной целью не остановить жизнь народа, но вернуть его к прежнему, пережитому состоянию.

Мерами насилия можно угнетать народ, но не управлять им". 12 января 1902 г.

Отец обратился к великому князю Николаю Михайловичу и просил передать письмо государю. То, что Николай Михайлович взялся передать письмо, могущее на него навлечь гнев Николая II, было новым доказательством хорошего отношения великого князя к отцу. Царь получил письмо, но оно не произвело на него никакого впечатления, а отец 8 февраля, совершенно больной, диктовал Б. следующие мысли:

"...из того тяжелого и угрожающего положения, в котором мы находимся, есть только два выхода: первый, хотя и очень трудный - кровавая революция, второй признание правительствами их обязанности не идти против прогресса, не отстаивать старого, или как у нас возвращаться к древнему, - а поняв направление пути, по которому движется человечество, вести по нему свои народы.

Я попытался указать на этот путь в двух письмах к Николаю II".

Полиция, по-видимому, следила за нашей семьей. Помню, сестра Маша получила вещи или книги из дому. Кто-то донес, что пришла большая партия запрещенной

литературы. Полиция заволновалась, заработали тайные агенты, установили слежку за квартирой сестры и за теми, кто приходил к ней. Помню, у сестры гостил приехавший из Чехословакии доктор Душан Петрович Маковицкий. За ним также следили, и он с ужасом рассказывал, что из-под "сепресов" (по-словацки кипарисы) выходит шпион и идет за ним. Мы посмеялись, но скоро сами испытали на себе преследование. Как-то вечером отправились гулять на набережную: товарищ моих братьев Алеша Дьяков, сестра Оболенского, Наташа и я. Вдруг видим, что действительно из-за кипарисов, растущих во дворе, вышел человек и пошел по другой стороне улицы. Мы ускорили шаги, он также, мы свернули на базар, он за нами, мы вскочили на мол, он от нас не отставал. Мы сели на скамеечку, любуясь морем и стараясь забыть про нашего преследователя, но когда мы встали, он оказался впереди нас.

- Стойте, - закричала я, - не пускайте его назад!

И вот началась гонка, в которой роли переменялись. Сыщик замедлял ход, замедляли ход и мы. Он шел быстрее, мы от него не отставали, он бросился на Набережную, мы за ним, в переулок, мы за ним, он сел на скамеечку, мы спокойно усаживались рядом. Полицейский метался как затравленный зверь, а мы громко хохотали и издевались над несчастным, неопытным шпионом. Мы довели его до отчаяния. Наконец где-то около старого базара он юркнул в темный, сомнительного вида трактир. Алеша сказал, что нам лучше туда не ходить, и мы, смеясь, возбужденные гонкой, вернулись домой и рассказали Оболенским наши приключения. Может быть, потому, что этот случай передавался в Ялте из уст в уста, все смеялись над глупостью полиции и дело дошло до полицейского

управления, может быть, по каким-либо другим причинам, но больше сыщиков мы не замечали. Возможно также, что поставили более опытных.

В середине января отец опять заболел. Сначала приехал из Петербурга лейб-медик Бертенсон, потом один из лучших московских врачей Щуровский. Из Ялты ездили Альтшуллер, Елпатьевский, постоянно приходил местный земский врач Волков. Болел бок. Врачи несколько дней колебались в установлении точного диагноза. Сначала нашли плеврит, потом воспаление легкого. На этот раз отец слег в постель почти на четыре месяца.

То, что старик на восьмом десятке, с ослабленным грудной жабой и лихорадками сердцем, мог выдержать плеврит, воспаление в легких, и, сейчас же, почти без перерыва, брюшной тиф - было величайшим чудом! Но эти четыре месяца все мы только и жили верой в это чудо. Надежда сменялась отчаянием.

Приезжали и уезжали братья с женами, Маша с мужем снова переселилась в Гаспру, каждую ночь по двое дежурили около отца. Мама? дежурила каждый день до четырех часов утра и никому не хотела уступить своего дежурства, ее сменяли Таня и я. Маша слабая, больная, но самая ловкая, дежурила всегда утром или днем. Ей он диктовал свои мысли, с ней говорил о самом важном - о смерти, к которой готовился.

Но люди мешали ему. Мало того, что он не доверял им, мешали тому душевному процессу, который совершался в нем и который он считал важнее исцеления.

В это время в дневнике отца все чаще и чаще появлялись три буквы: Е.Б.Ж. "если буду жив". Начиная

день, он считал необходимым вспомнить, что жизнь не зависит от нашей воли, что каждый час, каждую минуту мы можем умереть.

Отец очень не любил, когда люди строили планы.

- Ах, Боже мой, - говорил отец, - да как это можно, как можно, а если вы завтра умрете? Ну как можно загадывать, когда в вашей власти только настоящее, вы даже не знаете, что с вами будет вечером.

"23 января. Гаспра. 1902 г. Е.Б.Ж., - пишет отец в дневнике. - Все слаб. Приехал Бертенсон. Разумеется, пустяки. Чудные стихи:

Зачал старинушка покряхтывать!

Зачал старинушка покашливать!

Пора старинушке под холстинушку,

Под холстинушку, да и в могилушку"*.

Но разве для всех нас, молодых, полных сил, в этот момент живущих только одной мыслью о спасении отца, понятно было его состояние? Разумеется нет. Думаю, что даже Машу готовность отца к смерти, его постоянное упоминание об этом больше пугали, чем радовали. Всем нам нужны были врачи, их советы, их ободряющие замечания, лекарства, которые мы, точно священнодействуя, капали, компрессы, мушки, горчичники, клизмы... Отец отмахивался от нас или снисходительно позволял нам делать все эти ненужные с его точки зрения вещи, только бы не мешали главному.

- "Пора старинушке под холстинушку, под холстинушку да и в могилушку", повторял он со слабой улыбкою.

Во время отцовской болезни ближе всех сыновей подошел к нему Сережа. С какой нежностью, с каким самоотвержением этот с виду неуклюжий, суровый человек ухаживал за отцом, поднимал его как ребенка, ставил ему компрессы, переносил с места на место, прислушиваясь к каждому отцовскому вздоху, угадывая его чувства и желания.

А отец все замечал, обо всех думал, за всех страдал. Его мучило, что мам? ежедневно дежурила до 4-х часов утра и уставала. Обычно я старалась прийти на полчаса раньше.

- Ты рано, - говорила мам?.

- Ах, разве? Стало быть мои часы спешат, - оправдывалась я.

- Иди, Соня, пожалуйста, иди, ты ведь так устала, - умоляюще говорил отец.

И мам?, указав мне, что надо делать, какие в котором часу давать лекарства, - уходила.

Помню, дежурил Н.Н.Ге** - Колечка, как мы все его называли. Была глухая ночь. Отец не спал, громко стонал, покашливал и, наконец, тихим голосом позвал меня.

- Саша, - сказал он, - постучи ручкой двери!

Я слышала, что он сказал, но не поняла его.

- Ах, Боже мой, - произнес он недовольно, - ну как ты не понимаешь? Колечка храпит. Если тихонько постучать, может быть, он перевернется на другой бок и перестанет.

- Так я сейчас его разбужу, - сказала я, думая о том, в каком будет отчаянии Колечка, если узнает, что отец не спал из-за его храпа.

- Что ты, что ты! - с испугом воскликнул отец. - Разве можно его будить? Ты сделай то, что я говорю.

Я постучала тихонько, потом громче, но на Николая Николаевича это не произвело никакого впечатления, он так же громко, бессовестно, с отвратительным присвистом храпел.

- Ну, нечего делать, - грустно сказал отец, - пусть спит.

Через несколько секунд я тихонько закрыла дверь, обошла другим ходом в комнату, где спал Николай Николаевич, и так встряхнула его, что он немедленно испуганный, лохматый и сонный привскочил на кровати.

- Что случилось?

- Ничего, храпите вы, мешаете отцу спать!

- Да что ты, Саша!

Колечка был ужасно огорчен и, разумеется, остальную часть ночи не спал.

В другой раз был такой случай. Пришла я утром в спальню отца. Он только что проснулся и с помощью Б. совершал туалет. Отец просил набить частый гребешок ватой и вычесать ему волосы. Но дело не ладилось. Б. силой старался протащить вату в мелкие зубья, а она никак не лезла и отрывалась.

- Ах, Боже мой, - говорил отец с легким раздражением, - ну как это не набить гребня ватой! Да неужели вы никогда не вычесываете своих волос?

- Нет, никогда, Лев Николаевич, - смущенно и виновато отвечал плешивый Б., - никогда.

Увидав меня, он обрадовался.

- Александра Львовна! Ради Бога помогите. Вы умеете набивать частый гребень ватой?

- Ну, конечно, - сказала я, - пустите-ка, я сама причешу и вымою отца.

У отца были тонкие, мягкие волосы, на затылке они пушились, как у ребенка. Надо было их вычесать, а потом щеткой расчесать бороду. Это было очень страшно, малейшее неловкое движение причиняло боль, а борода была путаная, курчавая, большая. Потом надо было вымыть руки с мылом, лицо и шею губкой или ваткой, прибавив в воду немножко одеколона, чтобы лучше освежало.

Ползучее воспаление в легких - одна из самых изнурительных болезней. Рассасывается фокус - температура понижается. Вдруг снова через несколько часов появляется жар, оказывается, в другом месте появился новый фокус, и так тянется неделями, месяцами. Отец кашлял, задыхался, иногда не мог лежать, ему подкладывали бесконечное количество подушек под голову, чтобы облегчить дыхание. Иногда он сильно страдал, охал, стонал, задыхался, минутами лежал точно в забытьи. У отца болело все тело - боялись пролежней. Он так похудел, что страшно было на него смотреть. По ночам у него ныли ноги.

- Потри, пожалуйста! - просил он.

Растираешь и чувствуешь под руками острые кости и дряблые, дряблые, точно пустые мышцы. От постоянных

впрыскиваний болели руки, на спине сходила кожа от компрессов и мушек.

Мы не давали врачам прохода:

- Ну что, рассасывается фокус? Какого он размера, с пяточок, больше? Они рисовали, объясняли, обнадеживали.

В промежутках между дежурствами Щуровский звал меня с собой верхом. Стройный, прямой, в венгерке, с расчесанной на две стороны бородой, Щуровский был похож на кавалерийского полковника больше, чем на доктора. Он прекрасно ездил верхом.

Помню, как-то лошадь у меня захромала и я предложила вернуться домой.

- Что, домой? - Клин клином вышибается! - И он пустил лошадь полным ходом чуть ли не до самой Ялты. Я смотрела на него с восхищением. Мне казалось, что только он может спасти отца от смерти. А он мчался веселый, беспечный, непохожий на того Щуровского, который с серьезным, озабоченным лицом входил к отцу и искусственно-бодрым голосом, точно желая подавить робость перед своим пациентом, громко спрашивал:

- Ну, как мы себя чувствуем сегодня, Лев Николаевич?

Помню самую страшную ночь. В мрачной столовой Гаспринского дома сидели: Щуровский, Альтшуллер, Волков и я. Мам? и Маша были у отца. Щуровский и Альтшуллер то и дело вставали, заходили в спальную к отцу и возвращались обратно. Лицо Щуровского, обычно бодрое, теперь было озабоченно и мрачно. Изредка

врачи перебрасывались между собой несколькими фразами, которых я не понимала.

- Владимир Андреевич, - обратилась я к Щуровскому, - умоляю вас, скажите, есть надежда?

- Нет, никакой. - Но увидав мое лицо, добавил: - Из ста случаев один, что он выживет. - И как будто желая избежать дальнейших разговоров, встал и вышел.

Волков ласково тронул меня за рукав.

- Александра Львовна, я не имею основания, как врач, говорить вам это, я скажу, как обыкновенный человек. Я всей душой чувствую, что Лев Николаевич выздоровеет, вот увидите!

Никто не спал в эту ночь. Врачи не отходили от отца. Бывали минуты, что пульс едва прощупывался. Душевно отец был все так же спокоен, но физически сильно страдал.

В эту ночь невестка Ольга родила мертвого младенца.

К утру отец заснул. Кризис миновал. Земский врач оказался прав. И с этого дня, хотя и медленно, здоровье отца стало поправляться. Из дня в день ему становилось лучше, постепенно воспаление рассасывалось, в теплые дни он стал выходить на балкон. К сожалению, зима была холодная, не переставая дул норд-ост, который особенно чувствовался в Гаспре, стоящей высоко и со всех сторон открытой для ветров.

Когда прошло беспокойство за жизнь отца, мы с ужасом заметили, что от едких лекарств испортились подоконники и пострадала великолепная панинская

мебель. Мы очень боялись испортить обстановку дворца, но когда отцу бывало плохо, нам было не до этого.

- Ай, ай, ай, - кричал отец, - ай, опять панинские подоконники залили.

Иногда отец в кресле сидел на солнышке. Ходить он еще не мог, только чуть передвигался, опираясь на палочку.

Помню, как-то приехал Б. Он всегда нас подбадривал и веселил. Отец, Оболенский, даже мам?, плохо относившаяся к толстовцам, любили его.

Выдался чудесный, тихий день. Б., отец и я поехали к морю. Это был, кажется, первый выезд отца после болезни. На берегу стояли турецкие парусные лодки.

- Знаете что, Лев Николаевич! - вдруг радостно воскликнул Б. - Поедемте на лодке?!

Я думала, что Б. сошел с ума. Но отцу идея эта понравилась и он согласился.

Два крепких, стройных турка подхватили отца на руки, как перышко, перенесли на палубу и уложили на ковер. Перебегая по бортам лодки, они быстро и ловко установили паруса. Набрав ветра, паруса затрепыхались, и фелюга, чуть накренившись на один бок, понеслась в открытое море, оставляя за собой светлую, блестящую полосу на гладкой поверхности воды. Недалеко от нас небольшими стаями неуклюже ворочались дельфины.

- Как чудесно, как чудесно, - приговаривал отец.

Берег удалялся, мы едва различали дома, круглые, серые башни нашего дворца, белый, неуклюжий в мавританском стиле "Дюльбер". Уже виден был мыс Ай-Тодор и Ласточкино Гнездо. Лодку стало чуть-чуть

подкидывать на волнах. Мне стало жутко. "Вдруг буря", - мелькнуло у меня в голове.

- П.А., - сказала я, - пожалуйста, поедemте назад!

- Ну, - говорил Б., - теперь мне в пору и не показываться Софье Андреевне на глаза, вот попадет!

Мы хотели скрыть наше приключение, но, разумеется, проболтались. Уж очень нам всем троим хотелось поделиться впечатлениями о чудесной прогулке.

В ясные солнечные дни мы возили отца в самокатящемся кресле. Один раз отец пожелал, чтобы мы с Ильей Васильевичем спустили его в парк. И сейчас, как вспомню, бьется сердце. Тяжелое кресло катилось вниз, один держал спереди, другой сзади. Минутами кресло так сильно напирало, что, казалось, не было возможности затормозить его, и мы буквально ехали на ногах, скользя подошвами по гравию.

- Ну смелее, смелее, - ободрял нас отец, - чего вы боитесь?

Другой раз Б. выдумал вести отца в кресле на горизонтальную дорожку, чему отец, разумеется, очень обрадовался. Для того, чтобы туда попасть, надо было спустить кресло по очень крутой тропе. Б. не был так силен, как Илья Васильевич. Я буквально ложилась под кресло, стараясь затормозить его. Пот лил с нас градом, а когда мы наконец доехали, отец с удивлением спросил:

- Что это вы так вспотели?

Но зато чудесно было на горизонтальной дорожке, отец радостно улыбался, шутил и восхищался прекрасными видами.

Ввиду частых болезней отца решено было пригласить постоянного домашнего врача. К нам приехал бывший ассистент Остроумова, серьезный и вдумчивый врач, Дмитрий Васильевич Никитин, который сразу завоевал не только доверие, но и симпатию всей нашей семьи.

Недолго и на этот раз пришлось нам радоваться на состояние отца. Когда сестра Таня и братья все постепенно стали разъезжаться по своим домам, а мам? поехала в Москву устраивать денежные дела и послушать музыку, отец заболел брюшным тифом. Полетели во все стороны телеграммы, снова все стали съезжаться, вызывали врачей, назначали дежурства. Отца перенесли вверх, в большую светлую комнату рядом с моей. Его слабило. Болел живот. И опять вся жизнь сосредоточилась на том, как поставить клизму, как не перекапать лишнюю каплю лекарства, как ловчее подложить судно. Опять начались страшные, бессонные ночи.

Мне недолго пришлось ходить за отцом. Я заболела. Я лежала рядом с комнатой отца. У меня был сильный жар и боли в желудке. Некоторые врачи определили аппендицит, другие - тиф. Я бредила. Таня, Маша, Сережа, мам? - все заходили ко мне. Когда я очнулась, отцу было много лучше, температура падала.

- Проклятый Крым, - говорила мам?, - сидели бы в Ясной, ничего бы не было. Чудо будет, если мы все отсюда уедем живыми, Лев Николаевич четыре месяца болеет, теперь Саша заболела, надо скорее, скорее уезжать.

Ждали только, когда отец будет в состоянии ехать.

В это время произошел один комический случай. Из Ялты приехала большая компания любопытных. Они умоляли Льва Николаевича показаться. Мам? не соглашалась их принять, говоря, что отец очень слаб и не выходит.

- Ну пусть хоть у окна покажется, - умоляли посетители, - мы на него только посмотрим.

Они так долго и настойчиво просили, что отец сжалился и согласился, чтобы его кресло подкатили к окну.

- Здравствуйте, здравствуйте, чем могу служить? - заговорил отец тихим, слабым голосом.

Как всегда в таких случаях, ему было тяжело и неловко. Все молчали. Вдруг, расталкивая локтями остальных, к окну протискалась толстая, низенькая, как просфора, дама:

- Лев Николаевич, дорогой вы наш, я так счастлива, я с таким восторгом читала ваши "Отцы и дети".

- "Детство" и "Отрочество", - "Детство" и "Отрочество", - шепотом подсказывали ей сзади.

- Ах, не мешайте, разве не все равно! - горячилась дама, вся потная и красная от волнения, - разве не все равно, я читала и "Детство" и "Отрочество"... Милый Лев Николаевич, голубчик вы наш...

Барыню оттеснили.

Только в середине июня мы уехали в Ясную Поляну. С нами ехал брат Сергей, доктор Никитин и Б. Я была очень слаба. Был жар. Сережа-брат на руках снес меня по винтовой лестнице и посадил в коляску. В голове шумело. Я смутно помню любопытных, которые смотрели

на отца, провожающих, говорили, что на пароходе Чехов, Елпатьевский, Куприн. Я никого не видела. Мне было плохо. Сережа принес мне на палубу шезлонг, и я легла. В Севастополь на этот раз мы не заезжали, а сейчас же поехали на вокзал и сели в тот же директорский вагон. Здесь мне стало совсем плохо, поднялась температура, начались сильные боли. Б. бегал куда-то за льдом. Должно быть, от тряски обострился аппендицит.

Помню, как отец, слабый, худой приходил в купе и садился у меня в ногах. Глаза его светились лаской.

- Может быть, тебе что-нибудь нужно?

И было так странно, что я здоровая, сильная лежу и не могу вскочить, побежать, помочь ему, а он такой слабый, худой хочет что-то для меня сделать...

Неудачные романы

Мне было шестнадцать лет, когда отец прочитал письмо моего друга, тульского гимназиста, и запретил мне с ним переписываться. Я стояла в своей комнате растерянная, сконфуженная с письмом в руках и пыталась объяснить отцу, что у меня с гимназистом прекрасные, чистые отношения, ничего больше. Отец с досадой перебил меня:

- Ни к чему это, - сказал он, не глядя на меня, - ни к чему! Сообщи ему, чтобы он больше не писал тебе!

Отец заметил в письме нечто, переходящее в более нежные чувства, чем дружба. Я же об этом не думала, все мое внимание было направлено на то, чтобы обратить в толстовство зараженного социализмом юношу. Я считала, что отец не прав, но не хотела его послушаться и написала гимназисту, что по желанию отца я должна прекратить с ним переписку. Юноша был

оскорблен и многие годы после этого не бывал в нашем доме.

Еще когда сестры не были замужем, я замечала, как мучительно страдал отец, когда кто-нибудь за ними ухаживал. Помимо воли, он ревниво следил за всеми их движениями, вслушивался в интонации голоса, ловя в них кокетливые нотки. Иногда он с трудом сохранял спокойную вежливость с молодыми людьми, иногда, наоборот, делался с ними преувеличенно любезным, как бы подчеркивая этим недопустимость малейшей близости с его дочерьми.

Мне думается, в чувствах отца были и ревность, и боязнь потерять дочерей, а главное - боязнь нечистого.

- Я сам был молод, - говорил он, - знаю, как отвратительно, мерзко бывает проявление страсти.

Среди людей, подходящих к дочерям, он отцовским, мужским чутьем старался угадывать тех, у которых были дурные помыслы. Он мучился, волновался, видел опасность, где ее не было, и не замечал ее там, где она действительно была. Он запретил мне переписываться с наивным тульским гимназистиком и не знал, что, когда мне было пятнадцать лет, меня преследовал один толстовец...

Я помню, как толстовец зазвал меня под каким-то предлогом в пустую лакейскую рядом с передней, что-то вкрадчивым, мягким голосом говорил мне, а потом резким движением схватил и хотел прижать к себе. Меня обдало запахом пота, дегтя, я ударила его что было силы кулаком, вырвалась и убежала. Все дрожало во мне от обиды, гадливости, отвращения...

Трудно было предугадать повод, могущий вызвать беспокойство отца.

Помню такой случай. В Ясную Поляну приехал репетитор Сухотиных, тот самый хромой студент, с которым я подружилась в Крыму. Мы сидели с ним в "ремингтонной"* и проверяли переписанную мною для отца статью. Студент читал, я следила по рукописи, иногда мы прерывали чтение и перебрасывались замечаниями по поводу прочитанного. Студент был счастлив, что видит меня, счастлив, что находится в Ясной Поляне и помогает мне проверять отцовскую статью. Худое лицо его сияло, он смотрел на меня с благодарностью.

Несколько раз отец входил в комнату. Постоит молча и уйдет. Это бывало и раньше, когда я считывала вслух его статьи. Он любил их послушать, а затем снова переправить те места, которые казались ему недостаточно гладкими или ярко выраженными.

В последний раз он пришел, долго стоял у двери, засунув руки за пояс.

- Вы скоро кончите? - спросил он.

- Нет еще, а что?

- Нет, нет, ничего, - и поспешно ушел к себе в кабинет.

По его тону и выражению лица мне показалось, что он недоволен, но я отогнала от себя эту мысль.

"Почудилось, верно", - подумала я, и мы продолжали считку.

Но через несколько минут вызвала меня Маша в соседнюю комнату. Она была рассержена.

- Что это ты с отцом делаешь, а? - строго спросила она.

- Что? - испуганно пробормотала я.

- Что? Да разве ты не видишь, в каком он состоянии?

- Почему? Что случилось?

- Да знаешь ли ты, - горячилась Маша, - что он хотел выгнать твоего студента! А ты сидишь с ним тут, кокетничаешь и ничего не замечаешь!

- Что ты, Маша! Он такой несчастный. Мне жалко его!

- Жалко! - передразнила она меня. - Что ж ты, не знаешь, что он в тебя влюблен? Отец сказал: "Я его сейчас с лестницы спущу, как он смеет на Сашу так смотреть!"

Я умоляла Машу успокоить отца, уверяла, что устрою так, что студент уедет, только не надо обижать его. Маша, должно быть, поняла, что погорячилась и, обещав поговорить с отцом, ушла.

Когда я вернулась в "ремингтонную", я не поднимала глаз на студента. Мне было неловко перед ним, я не знала, что говорить. Он, должно быть, сам догадался, что случилось неладное, и утром уехал. У меня осталось впечатление, что он обижен.

У нас гостил князь N., молодой, красивый, гладко выбритый, бело-розовый человек, одетый с иголочки, с утонченной светской речью и манерами. Я на него мало обращала внимания. Мам? была этим недовольна и старалась быть любезна с князем. Она всегда мечтала

выдать меня замуж за богатого человека с именем. Князь отвечал всем ее требованиям.

Был тихий июньский вечер. Все пошли в цыганский табор по дороге к шоссе.

Цыгане с незапамятных времен малыми и большими таборами проходят мимо Ясной Поляны по старой Екатерининской дороге*.

Живут они в фурах или палатках, водят за собой больных, старых, хромых и слепых лошадей, барышничают ими на ярмарках. Все знают, что цыгане жулики, что ни к кому не применима так поговорка "не обманешь - не продашь", как к цыганам, а все-таки они ухитряются спускать своих лошадей: белых - красят, старым подпиливают зубы, чтобы нельзя было определить возраста, перед ярмаркой, чтобы лошадь казалась горячее, напаивают ее водкой. Одним словом, ни один барышник на свете не знает таких фокусов с лошадьми, как цыган.

Из-за природной ли их дикости и удальства, из-за поразительной ли их музыкальности, но все Толстые, не исключая отца, любили цыган. Дядюшка Сергей Николаевич был женат на цыганке, некоторые Толстые прожигали на них состояния. Цыган гнали отовсюду, помещики не позволяли им останавливаться на своей земле, так как неприятностей от них было много: то луга потравят, то лошадь уведут. В Ясной Поляне их не теснили, и они не вредили усадьбе.

На этот раз цыгане раскинули палатки на склоне бугра около границы. Так называлось у нас место, где стоял кирпичный, аршин в пять толщиной, столб, сохранившийся, вероятно, еще от Екатерининских

времен. Он был украшен царским двуглавым орлом и отделял Тульский уезд от Крапивенского.

Черномазые чевалы**, что-то бормоча по-своему, стреноживали худых, разномастных лошадей. Женщины, повязанные грязными, разноцветными платками, из-под которых выбивались черные, жесткие завитки волос, в подоткнутых юбках и с большими блестящими серьгами в ушах возились у потрескивающих костров, над которыми были подвешены черные, закопченные чугуны. На оглоблях отпряженных фур сохли лохмотья. Лаяли собаки, фыркали лошади, кричали дети. Пахло дымом, навозом и лошадиным потом. Увидев нас и зная, что мы пришли посмотреть пляску, цыгане стали собираться в круг. Женщины попрошайничали:

- Подай моим цыганеночкам, барыня, подай моим голопузеньким!

Кочевые цыгане поют скверно - громко, крикливо, но пляшут превосходно. Зато московские и петербургские цыгане, которые выступают обычно в ресторанах, поют хорошо, но пляшут хуже. Непосредственность, дикость уже утрачены.

В круг вошел молодой цыган, остановился, высоко поднял голову, оглянулся, хлопнул себя по коленкам, ударил рукой оземь и, чуть вывернув локти, пошел. Старик в рваной черной поддевке, стоя на месте, поводил плечами, притопывал ногой, что-то кричал осипшим, диким голосом и вдруг с тяжеловатой, ленивой грацией поплыл по кругу. Женщины громко, крикливо пели:

Зеленое яблочко, розовый цвет,

Почему ты любишь меня, а я тебя нет.

Молодой, курчавый цыган, скаля белые зубы, двумя ложками играл как кастаньетами. Цыгане плясали, выбивали чечетку, туловища же их оставались совершенно неподвижными. В разгар пляски старик останавливался как вкопанный, поводя плечом, затем бросал шапку на землю, вскакивал, снова на мгновение замирая, и, подняв руку к голове, шел дальше.

А за чевалами плыли женщины. Трудно было проследить за тем, что они выделявали ногами. Нет ни одного резкого движения в их пляске, мелкой дрожью трясутся плечи, звенят на груди монисты, колышутся длинные серьги. Забываешь их грязь, вороватость, не видишь лохмотья, которыми они прикрыты - в пляске они горды и прекрасны.

Как хорошо отец на них смотрел, как весело смеялся, короткими восклицаниями выражая свой восторг.

- Чудесно, чудесно, ах, как хорошо!

Незаметно в круг вступали маленькие, полуголые, курчавые цыганята. Подражая взрослым, они старательно выделявали чечетку босыми ножонками, трясли плечами, ударяли ручками о землю.

Мы были в восторге. Нам не надо было перебрасываться впечатлениями, мы и без слов понимали друг друга.

- Графиня, не правда ли в этом бэээздна поэзии! - прозвучал над ухом чей-то чужой голос.

Я вздрогнула. Замечание князя мне показалось таким пошлым, фальшивым...

Я не стала с ним разговаривать и уехала с отцом домой на шарабане. Прошло несколько дней. Князь снова появился.

- Что этот вылизанный князь к нам повадился? - спросил меня отец.

Меня поразили несвойственный ему резкий тон.

- Не знаю, - ответила я.

- Прекрасный молодой человек, - заметила моя мать. - Воспитанный, хорошей семьи и очень богатый.

Отец промолчал.

А после обеда, когда князь подсел ко мне и стал заниматься разговором, я достала из кармана горсть подсолнухов и щелкала их, поплеывая шелуху на землю.

Князь больше не приезжал. Мам? сердилась.

- Саша совершенно не умеет себя вести, - говорила она, - хороших женихов отваживает, вот и насидится в девках...

Я всячески старалась избегать молодых людей, никогда не оставаясь с ними наедине из страха вызвать беспокойство в отце. Но все же иногда я невольно попадала впросак.

Один раз брат Андрей зазвал меня с собой на охоту. К нам присоединился племянник нашей соседки Звегинцевой гр. К. Мы выехали за Крыльцово* в поле. Я иногда ездила с братьями на охоту, но кажется, за все время не видела, чтобы они затравили хоть одного зайца. Так было и на этот раз. Мы проехали весь день. Вдруг Андрей остановился, поднял арапник и диким голосом закричал: "Ату ее!" Я оглянулась. Вправо от меня скакал Андрей, крича и намолачивая арапником бока

своей лошади. Моя лошадь англо-кабардинец подхватила, понеслась за собаками и немедленно обскакала брата. Я чувствовала, как она перескакивала межи, видела впереди лисицу, собак. Лисица повернула под гору, в лощину через луг. Мгновенье, я увидела под собой речку, обрывистый берег, хотела задержать лошадь, но было уже поздно. Я почувствовала, как она надала задом и перепрыгнула. Мы поскакали в гору. "Что делать, если собаки затравят лисицу?" В этот момент лисица махнула хвостом, собаки отлетели в сторону. Она ушла.

Брата не было видно. Рядом со мной очутился граф К. Мы остановили лошадей, шагом спустились обратно в лощину, но река показалась нам настолько широкой, что мы не решились перепрыгнуть через нее и стали искать более удобную переправу. Смеркалось. Мы ехали полями, изредка попадались небольшие перелески, овраги. Мы сбились с дороги. Я не переставая, думала об отце. Что он скажет, когда узнает, что я одна с молодым человеком блуждаю ночью по полям? Что он подумает, как будет мучиться! К. был мне неприятен. "И к чему увязался? - думала я. - Хоть бы Андрюшу найти!"

Стемнело. В полном отчаянии я решила отдаться на волю лошади. Я пустила поводья и предоставила ей идти куда она хочет. Она тотчас же повернула под прямым углом и, весело поматывая головой, прибавила ходу. Мы заехали в глубокий, поросший лесом овраг. Ветки стегали лицо.

- Напрасно вы полагаетесь на лошадь, - говорил К.,
- увидите, что она бог знает куда завезет нас.

Но я не слушала его. Умное животное шло все увереннее и увереннее и, наконец, вышло на дорогу. Мы

подъехали к лесу. На краю стояла избушка. Я хлыстом постучала в окно. Вышел лесной сторож. Мы были на краю Яснополянского леса в трех верстах от дома.

Я стала просить графа ехать домой, но он, желая быть любезным, непременно хотел меня проводить.

"О Боже мой, - думала я. - Что подумает отец, когда увидит его? Что делать?"

Когда мы подъехали к дому, я довольно невежливо распрощалась с К., не предлагая ему зайти.

Переодевшись, я пришла в залу. Здесь было много народа. Отец сидел в желтом кресле в пол-оборота к столу, а вокруг него Горбунов, Николаев и другие. Шел оживленный разговор. Когда я вошла, отец взглянул на меня и, резко прервав разговор, спросил:

- Ты откуда?

- С охоты.

- Одна?

- Нет, меня проводил К., - с усилием произнесла я.

Так же резко отец отвернулся от меня и продолжал прерванный разговор.

Помню случай, показавшийся мне тогда непонятным.

У нас гостила сестра Ольги* - Маруся, А.А.Суллержицкий и Алеша Дьяков, часто бывавший у нас. Суллер как всегда всех веселил, шутил, пел, и не было конца его затеям, наконец он придумал телефон. Мы с Марусей по ниточке спускали записку, Суллер и Алеша из окна ловили ее и привязывали ответ. Писали глупости, радовались на собственное остроумие и

хохотали без конца. Один раз Суллер прислал нам послание, написанное высокопарным стилем, где он назначал нам свидание в саду в 12 часов ночи. Это было ново и увлекательно.

Маруся была уже взрослая и могла делать что хотела, а я еще была под надзором мисс Вельш и ночные прогулки мне были строго запрещены.

Настало время ложиться спать, я разулась, натянула ночную рубашку прямо на платье и легла в постель. Мисс Вельш ушла в свою комнату. Я ждала. Наконец в дом все затихло, я вскочила, сняла рубашку и босиком, чулок в темноте не нашла, прокралась вниз, в переднюю. Там ждали меня остальные. Тихонько, сдерживая смех, мы вышли наружу.

- Как быть с дверью? - спросила я.

- Запереть и ключ взять с собой! - скомандовал Суллер.

Так и сделали. Прокрались в темную липовую аллею парка и совещались, куда идти.

- Я ключ уронил, - вдруг вскрикнул Алеша.

Ползая на коленках, стали искать ключ. Маруся смеялась, а мне было не до смеха. Войти в дом, никого не разбудивши, мы не могли, утром хватятся нас, ключа! И подумать страшно, что тут поднимется!

Но ключ отыскали, успокоились и решили пойти на станцию.

Суллер подражал лягушкам, изображал кошек, собак, мы всю дорогу хохотали, бегали на перегонки. Вернулись на рассвете усталые, но возбужденные собственным весельем, молодостью, весной.

Я тихонько пробралась наверх в свою комнату. Мисс Вельш причесанная, как всегда аккуратная, маленькая, сидела в халате и меня ждала:

- Well, - сказала она строго, - where have you been all night?

- Oh, Mishy, - воскликнула я, - d'ont be angry, it was so nice!

- I wonder, if your mother will find your conduct nice¹, - возразила она мне сурово.

Но я знала, что мисс Вельш никогда не пожалуется моей матери. Она справлялась со мной сама, и я слушалась ее, потому что знала, что она любит меня.

Я откровенно рассказала мисс Вельш про наше ночное путешествие, и когда она поняла, что в этом не было ничего дурного, она смягчилась, заулыбалась и уложила меня спать. Мне было стыдно, что я обманула ее и что она из-за меня не спала. Засыпая, я умоляла ее простить меня и клялась, что больше не буду уходить без спроса.

Алеша Дьяков часто бывал у нас. Сначала мне казалось, что он ухаживает за Марусей, но постепенно я стала замечать, что он старается быть со мной, смущается в моем присутствии, часто краснеет. Я перестала чувствовать себя с ним естественно и просто. Когда я бывала у Андрея и Ольги в Таптыкове, Алеша часто бывал там.

Прошло около года. Однажды после отъезда Алеши из Ясной Поляны мне передали от него письмо. В нем он предлагал мне быть его женой. Я перечитала письмо

несколько раз. Было весело, страшно и приятно волновало, что мне сделали предложение, как взрослой.

Новость немедленно облетела весь дом. Я не умела скрывать, да, должно быть, и Алеша посвятил моих братьев. Они хитро поглядывали на меня, улыбались, отчего мне делалось неловко. Вечером я вспомнила, что надо написать Алеше ответ.

"Как отвечают в таких случаях? - думала я. - Надо пожалеть об утерянных дружеских чувствах и еще что-то..."

Мысль о том, что я могу выйти замуж за Алешу, ни разу не пришла мне в голову. О том, что Алеше может быть тяжело, что для него мой ответ имеет большое значение - я совершенно не думала.

Я села и написала ему отказ.

Мне стыдно вспоминать об этом письме, оно было такое фальшивое, неискреннее.

На другое утро, когда меня позвал отец, я бодрой, самоуверенной походкой вошла в кабинет. Я была еще в том же веселом, возбужденном настроении.

- Ты меня звал?

- Да.

И по нахмуренным бровям, по глазам (отец никогда не смотрел на меня, когда бывал недоволен) я поняла, что разговор будет серьезный.

Он минуту помолчал, а потом спросил:

- Тебе Алеша предложение сделал?

Я не ожидала, что отец заговорит об этом и смутилась.

- Да.
- Ну и что же?
- Я отказала ему.
- Почему?
- Я не люблю его.

- Пустяки! В наше время жениха и невесту сватали, они в глаза друг друга не видали, лучше, чем теперь. Ты подумай, он, кажется, добрый человек.

- Не хочу я замуж выходить!

- Напрасно. Вопрос важный, решается и его судьба и твоя, - тихо и серьезно сказал отец, - нельзя так легкомысленно к этому относиться.

Я молчала. Мысли одна за другой проносились в голове: "А откуда он знает, как я отнеслась? А почему он придает этому такое значение? Да, он сказал: "судьба решается"... Ведь правда, могло бы все измениться".

Мне вдруг представилось худое, подвижное лицо Алеши, сконфуженное и вместе с тем ласковое, когда он, растерянно взглянув на меня, хотел что-то сказать, но раздумал и, безнадежно махнув рукой, уехал.

Братья говорили, что он имение покупает, хочет строить больницу, зная мое увлечение медициной.

Мне стало жалко Алешу.

- Что ж ты молчишь? - спросил отец.

Приключение, щекочущее самолюбие, перестало казаться мне только забавным. Мне становилось все больше и больше не по себе. Я попробовала представить себя женой Алеши.

- Не могу, не могу я замуж выйти! - воскликнула я.

- Напрасно ты так быстро решаешь, - сказал отец, - я советовал бы тебе все-таки подумать.

- Не о чем мне думать!

Тяжесть на душе все увеличивалась, я едва сдерживала слезы.

- Никуда я не пойду от тебя!

- Ах нет, нет, голубушка, - торопливо, точно испугавшись, проговорил отец, - нет, нет, вот этого именно и не нужно. Я стар, скоро умру, ты должна самостоятельно устраивать свою жизнь.

- Что ж ты хочешь, чтобы я была несчастна?

Из-под лохматых бровей взглянули на меня серые, острые глаза и мне показалось, что они проникли глубоко, глубоко, в самое нутро. Лицо отца вдруг озарилось радостью.

- Ну, полно, полно, голубушка, - сказал он ласково, кладя руку на мое плечо, - не будем больше говорить об этом.

Как пример необычайной, ничем неоправданной подозрительности отца, можно привести случай с Дмитрием Васильевичем Никитиным. Никитин был серьезным человеком, с которым у меня никогда не было и тени флирта, но отец и для него не сделал исключения.

Доктор, приехавший с нами из Крыма, старался чем мог быть полезным отцу, но дела для него все же не было, он тяготился положением домашнего врача. И вот мы с ним надумали открыть в Ясной Поляне амбулаторию для крестьян. Дмитрий Васильевич предложил свой труд, я взяла на себя снабжение лекарствами и вызвалась

помогать в приеме. Я была уверена, что отец будет сочувствовать.

Дело пошло хорошо. Вскоре вся округа узнала, что в Ясной Поляне есть доктор, который задаром лечит и хорошо помогает. Народ к нам повалил. Амбулаторию устроили в избе на деревне, обстановка была самая примитивная, инструментов, лекарств первое время не хватало, но мы работали с увлечением. Выходили из дома часов в восемь, возвращались около двух. Дмитрий Васильевич терпеливо учил меня, я стала постепенно привыкать. Меня уже не так пугал вид больных, крови, ран, всего того, что отпугивает новичков при первом знакомстве с медициной. Единственно чего я боялась - это больных сифилисом. В Ясной Поляне и в округе их было довольно много, и как я ни старалась, я не могла без ужаса подходить к ним. Особенно сильно на меня подействовал один случай.

Мать привела трехлетнего ребенка лечиться. Толстенький, розовенький, с темно-синими большими глазами и курчавыми волосиками, мальчик этот напоминал мне Рафаэлевского ангела. Я дала ему конфетку, он развеселился, смеялся, болтал ножонками, мешая матери его разувать. На подошвах у него оказалась сплошная сыпь - белые, водяные пузырьки.

Я видела, как лицо доктора нахмурилось.

- Открой рот! - резко приказал он матери: шире, ну!

И, осмотрев горло, велел ей раздеться.

Женщина упиралась.

- Что ты, родимый, здоровая я, ты вот мальчика освидетельствуй, остудился, знать, он у меня...

- Раздевайся, говорят тебе, - с несвойственной ему суровостью повторил доктор.

У женщины оказался сифилис, которым она заразила ребенка. Ее же заразил муж, ездивший в Туле на бирже.

Я шла домой и не могла отделаться от ощущения, что случилось ужасное, непоправимое.

Амбулатория вводила меня в новый мир горя, темноты народа, каждый день открывая что-нибудь новое, болезнь у детей, куриная слепота, сифилис, преступность...

Когда я приходила домой, меня поражало, что все было так же прилично, спокойно, чисто. Лакей подавал завтрак, мам? сидела на своем месте за самоваром, Жули-Мули полулежала на кушетке, шли разговоры, которые я уже знала наизусть: о том, что мужики потравили овес, что барометр стоит на хорошую погоду, что Никиш необычайно исполняет увертюру Фрейщица...

На деревне была дурочка Параша, по прозвищу Кыня. Часто отец, осуждая нелогичность, суетность, мелочность женщин, говорил, что Параша - идеал женщины. Она никому не мешает, покорна, со всеми добра, всех жалеет, всех любит. Чего же еще надо?

Я помню, как друг нашей семьи Софья Александровна Стахович возмущалась:

- Что вы говорите Гев Никогаевич! Пготивно сгушать (Софья Александровна вместо "р" и "л" говорила "г"), - ведь она же дуга!

- А зачем вашему брату ум? - спрашивал отец.

Помню, Параша забеременела. Кто был виновником этого преступления, так и осталось неизвестным. "Вот дура, Парашка, дура, а скрыть сумела", - говорили бабы, качая головами.

Материнский инстинкт был в ней очень силен. Она все собирала разные тряпочки и копила деньги. Когда ее спрашивали: зачем это тебе, Параша? Она отвечала: "А малому-то?" - и расплывалась в глупую улыбку. А потом помолчав, конфузливо просила, называя всех девиц Марусями:

- Марусь, а Марусь, а копеечки у тебе нету?

Серебра она не любила.

- Беленькую мне не надоть, ты черненькую дай.

Я наменивала ей гривенник по копеечке, она сияла и, зажимая деньги в кулак, звенела ими и смеялась, а потом тщательно завязывала в уголочек платка.

Парашка летом стерегла у нас телят. Однажды она пришла в амбулаторию лечиться. У нее была кожная болезнь. Доктор не мог сразу определить, чем она больна. Я же почему-то сразу вообразила, что у нее сифилис. Я возилась с ней на приеме, забыла вымыть руки сулемой и вспомнила об этом только дома. На руках у меня были свежие царапины. Меня охватил ужас, я стала метаться по комнате, ища какого-нибудь дезинфекционного средства, ничего не находила. Во мне росла уверенность, что я заразилась сифилисом. На лбу выступил пот. Когда я поливала руки сулемой из большой бутылки, вошел отец. Он сразу заметил мое волнение.

- Что с тобой?

Вместо того, чтобы успокоить меня, он сам взволновался.

- Ах, напрасно ты это, напрасно в лечебницу ходишь.

Через несколько дней он сказал мне:

- Я хотел просить тебя. Ты не ходи больше с Никитиным в амбулаторию.

- Почему?

- Ни к чему это.

То, чего моя мать не могла добиться никакими способами: ни криками, ни строгостью, ни даже побоями, отец добился одним словом. Я никогда не прекословила ему, исполняя все его желания. Но на этот раз я возмутилась. Работа в амбулатории давала мне много. Раскрывала передо мною мужицкую, ничем не прикрашенную жизнь, укрепляла мою волю. Я старалась объяснить это отцу, но он не приказывал, он просил:

- А все-таки я прошу тебя больше не ходить с доктором в амбулаторию, ни к чему это.

И я подчинилась.

Никитин был серьезный врач с большими научными знаниями, с организаторскими способностями. Обязанности домашнего врача и небольшая амбулатория на деревне не могли удовлетворять его ни с научной, ни с общественной стороны. Он побыл у нас около года и уехал сначала на три месяца по случаю смерти матери, а потом и совсем. В Ясную Поляну приехал товарищ Дмитрия Васильевича, Эразм Леопольдович Гедговт.

Это был противоположный Никитину человек: развязный, шумливый, рассказывая о себе, любил

прихвастнуть. С больными он обращался круто, покрикивая на них. Новый доктор был из тех, которых терпеть не могут мужчины и которые нравятся женщинам. Мне казалось, что даже Жули-Мули была к нему равнодушна.

В Ясной Поляне было много крыс и мышей. Они прогрызали пол, залезали в шкафы, портили книги, попадали в пищу, иногда ночью вскарабкивались на ночной столик, объедали стеариновые свечи, иногда по одеялу взбирались на постель, на головы спящих.

Мам? рассказывала, что когда Андрей был маленький, ему от золотухи мазали лицо сметаной. Один раз мам? вошла в детскую и увидела, что Андрюша крепко спит, а громадная крыса слизывает с его лица сметану. Мам? схватила крысу и изо всех сил хлопнула ее об пол.

Крыс и мышей травили, ставили бесконечное количество мышеловок, но они не переводились. Кошек же мам? ни за что не хотела заводить - весной они поедали соловьев, которых все у нас так любили.

Отец обычно сам заправлял мышеловку кусочком закопченного на свечке сыра, и, когда попадалась крыса, осторожно нес зверя подальше в лес и выпускал на свободу.

Мам? уверяла, что этот способ никуда не годится, крысы несомненно прибегают обратно, надо топить их в помойных ведрах.

Иногда на крыс устраивали охоту. Мам?, Юлия Ивановна, доктор, няня, лакеи, все принимали в этом участие. Заделывались все щели и норы и щетками гоняли крысу до тех пор, пока ее не убивали.

Помню, один раз гоняли крысу у мам? в спальне. Она металась по комнате, с перепугу вскочила на большой образ, ее согнали, она прыгнула и исчезла. Вдруг несвойственным ей пронзительным голосом вскрикнула няня: крыса сидела у нее на спине.

Доктор был великолепен. Он становился в выжидательной позе у дверей, и когда крыса бросалась ему под ноги, он ударом каблука расплющивал ее на месте. Мы возмущались, а он, закидывая голову, раскатисто, басом хохотал.

В эту весну у нас гостила Таня с мужем и пасынками - Наташей и Дориком. Весна была ранняя, жаркая. Отцветал сад, покрывая бело-розовыми нежными лепестками черную вскопанную кругами землю, на разросшихся запущенных куртинах распускалась сирень, и в кустах, точно состязаясь друг с другом, заливались соловьи; по дорожке к Кузминскому дому гудели и шуршали по листьям майские жуки, а снизу в прудах беззастенчиво, резко, точно стараясь всех перекричать, заливались лягушки. С деревни слышались песни баб, мычание скотины, смех, гармошка...

Мы с Наташей плохо спали по ночам и с тоской думали о том, что понапрасну уходят лучшие годы...

Вечерами Наташа с доктором сидела на скамеечке под елкой против дома и бесконечно с ним о чем-то разговаривала. Я сердилась на нее. Мне было одной скучно, а Гедговта я избегала. Несколько недель тому назад он написал мне бестактное письмо, обвиняя в кокетстве, и, неизвестно зачем, рассказал, как он виноват перед одной девушкой, которая из любви к нему лишила себя жизни. И хотя доктор уже просил у меня прощения за письмо, мне было с ним неприятно.

Помню, двадцать третьего апреля, в день моих именин было жарко, как летом. Днем мы все ездили верхом к старушке Шмидт в Овсянниково, внесли шум, суету в ее тихое жилище, выпили несколько крынок холодного, со льда, молока с черным хлебом. На минутку приезжал в Овсянниково отец, отчего Мария Александровна вся засветилась радостью.

Обедали на террасе в светлых летних платьях. А вечером неизвестно откуда забрел бродячий шарманщик. Он играл, а мы с Наташей говорили о любви, о докторе, а на утро Сухотины уехали и я поехала провожать их на станцию. Когда я возвращалась обратно, на линейку вскочил Гедговт. Он ждал меня в лесу.

Недели через две я привыкла к доктору, старалась не замечать его вульгарности, хвастливого, самоуверенного тона. Через месяц я решила, что влюблена.

Часто, когда я уезжала верхом далеко в поле или в лес, передо мною вырастала высокая фигура доктора. Он шел рядом с лошадью и мы разговаривали. Доктор говорил мне о своей любви, смущался, робел и казался мне совсем другим - простым и милым. Но несмотря на то, что я все больше и больше убеждалась, что люблю его, что-то мешало мне признаться ему в этом.

А отец наблюдал. Постоянно я чувствовала на себе его испытующий, внимательный взгляд. Я знала, что стоило мне поднять глаза и встретиться с ним взглядом, отец разгадает мою тайну. И вот настала страшная минута. Я принесла отцу работу, положила ее на стол и, не поднимая глаз, хотела выйти из комнаты. Отец окликнул меня.

- Подожди, я хочу поговорить с тобой, - произнес он, также не глядя на меня, - что это у тебя за странные отношения с доктором?

Гедговт не нравился отцу, я это знала, хотя он никогда ни единым словом об этом не обмолвился.

- Он признавался тебе в любви?

- Да.

- Ну, что же ты ему ответила?

- Мне кажется, что люблю его, - сказала я с отчаянием, точно падая в бездну.

- Боже мой, Боже мой! - простонал отец. - Неужели ты ему говорила... Ты обещала ему что-нибудь?

- Нет, нет! - с живостью возразила я. - Нет!

Отец с облегчением вздохнул.

Тогда, плача и запинаясь, я рассказала ему все, что было между мной и доктором. Несколько раз мне приходилось останавливаться, я не могла говорить от подступавших к горлу слез. Когда я кончила, я выбежала на балкон, прислонилась к перилам и долго плакала. Я слышала, как отец ходил взад и вперед по кабинету.

Успокоившись, я вошла к нему и снова села на кресло. Он стал мне говорить, и с каждым словом отца мне делалось все яснее и яснее, что Гедговт чуждый, далекий, что у меня не было никакого серьезного к нему чувства, что все это блажь, глупости, навеянные весной и ночными разговорами с Наташей.

- Я скажу ему, чтобы он уехал.

Но при одной мысли, что отец будет говорить с доктором, волноваться, мучиться, меня охватил ужас.

- Нет, нет! - с испугом воскликнула я. - Умоляю тебя, не делай этого, я сама сделаю так, что он уедет. Ты поверь мне, поверь, - говорила я, всхлипывая, - я больше ничего, ничего не буду скрывать от тебя, обещаю тебе...

Я верила, что сдержу свое слово...

Отец отвернулся. Послышались странные, кашляющие звуки. Я схватила его руку и поцеловала. С полными слез глазами мы взглянули друг на друга.

"Гедговт, романы, - думала я, выходя из кабинета, - что все это стоит в сравнении с таким счастьем. Разве я смогу бросить его, променять на кого бы то ни было..."

И сбегая с лестницы, неожиданно для себя самой громко сказала: "Дай зарок в том, что я никогда ни для кого его не оставлю".

Внизу я разыскала доктора.

- Я завтра уезжаю! - сказала я ему.

- А когда вернетесь?

- Когда вас здесь не будет.

И на другое утро я уехала к своему брату Илье в Калужскую губернию.

Доктор вышел меня провожать на крыльцо.

Я прожила неделю у брата. С племянницей Анночкой мы заводили граммофон и ставили мою любимую пластинку "Уймитесь волнения страсти" Глинки. Я слушала и плакала о своем неудавшемся романе. В мечтах он казался мне поэтичнее, чем был на самом деле.

В комнате Жули-Мули стоял прекрасный портрет доктора, написанный ею масляными красками.

Вернувшись, я не застала Гедговта. А вместо него снова приехал доктор Никитин. Он передал мне толстое письмо. Желая исполнить свое обещание, я побежала к отцу.

- Пап?, от Гедговта письмо.

- Ну и что же?

Я взяла конверт, не распечатывая положила в него письмо Гедговта, запечатала и написала адрес. Я ждала одобрения, но отец не сказал ни слова.

Мне теперь кажется, что я поступила скверно.

От доктора Никитина я слышала, что Гедговт уехал на русско-японскую войну, в качестве морского врача, и там погиб.

Дядя Сережа

Вскоре после нашего возвращения из Крыма приехал дядя Сережа повидаться с отцом. Он бывал очень редко в Ясной Поляне, особенно за последнее время, и было странно видеть его вне Пирогова в чуждой ему обстановке. Здесь не было и следа обычной его суровости, неприступности, он казался растроганным, размягченным. Так на него подействовала радость свидания с братом, которого он не чаял увидеть после его тяжелой крымской болезни.

Свидание было необычайно трогательное. Старики старались избегать спорных вопросов, на которых они могли бы столкнуться. Отец рассказывал дяде Сереже о своих литературных планах, и Сергей Николаевич внимательно выслушивал их, хотя многому и не мог сочувствовать по своим убеждениям. Утром они вместе пили кофе в кабинете у отца. Обычно никто не входил в

кабинет в это время, так как отец за кофеем уже начинал свои занятия: просматривал почту, обдумывал предстоящую работу. Отец нежно заботился о дяде Сереже, спрашивал, не устал ли он, не хочет ли отдохнуть, угощал, выбирая для него мягкие, по зубам, яблоки. И так странно и вместе с тем ласково звучали уменьшительные имена "Левочка", "Сережа" в устах этих семидесятипятилетних стариков. Старость сделала обоих братьев похожими друг на друга. То же спокойствие, благообразие, благородство старых аристократов, та же манера охать, громко зевать так, что все в доме вздрагивали.

- Оооох, ооох, оох! - вдруг слышались страшные не то крики, не то вздохи из кабинета.

- Что это? Кто кричит? Лев Николаевич, ему плохо? - со страхом спрашивали новые, непривычные люди.

- Нет, - отвечали мы со смехом: - это Лев Николаевич зевает.

Семейный уклад дяди Сережи был совершенно особенный. Его жена, цыганка, кроткая Мария Михайловна и три дочери: Вера, Варя и Маша, трепетали перед ним. В доме всегда была тишина. Иногда дядя Сережа, вспоминая что-нибудь неприятное или чувствуя себя не совсем здоровым, начинал громко кричать у себя в кабинете:

- Аааааа!

Жена и дочери пугались еще больше и совсем затихали.

Сына Сергея Николаевича Григория Сергеевича я никогда в жизни не видела. Говорили, что он поссорился с отцом, женился против его воли и жил где-то в Орле.

Все три дочери были дружны с моими сестрами и находились под влиянием моего отца. Дядя Сережа дал им хорошее домашнее образование: они прекрасно знали языки и между собой почти всегда говорили по-французски. Жили они очень просто, сами все на себя делали: стирали, убирали свои комнаты, работали на огороде, доили коров. Зимой они учили ребят грамоте, чем могли помогали крестьянам. Все это они делали тихо, незаметно, зная, что этим вызывают недовольство отца. В этой деятельности они, по-видимому, старались найти смысл жизни.

Странные бывали у них фантазии. Помню, приехала я в Пирогово. Вера и Варя в задних комнатах учат ребят.

- У нас урок английского языка, - сказала мне Верочка.

- Английского языка? - удивилась я. - А зачем им английский, когда они по-русски-то как следует не знают.

- Да захотелось им, - кротко сказала мне Вера, - вот я их и учу.

Все три сестры говорили тихими голосами, точно извинялись в том, что они вообще решались говорить. А Верочка, когда смеялась, всегда конфузилась и закрывала рот рукой.

- Знаешь, я вот этому мальчику объясняю слово по-английски, - и она ласково положила руку на голову одному из ребят, - а он мне и говорит: "Ловко, старая псовка!" Каков, а?

Жили мои двоюродные сестры замкнуто, никого не видали, общались только с крестьянами, рабочими, людьми гораздо ниже их по развитию. Всех соседей постепенно дядя Сережа отвадил. Он был нетерпим, не

выносил пустоты, пошлости. Помещики, жившие поблизости Пирогова, казались ему неинтересными, малообразованными. Один из соседей - молодой человек был страстно влюблен в младшую дочь Сергея Николаевича - Машу. А Маша, тихая, маленькая, с черными волнистыми волосами, похожая на цыганку, робела перед своим отцом и не знала, как ей отнестись к ухаживаниям.

- Dites, допс, - говорила она, - за ne fait rien, que Сергей Васильевич dit "собака брешет"?1

Сергей Васильевич Бибиков - высокий, статный человек с длинными, красиво загнутыми усами - был дворянин-помещик, страстный охотник, лошадиник, но человек с малым образованием. Дядя Сережа считал его недостойным своей дочери. Двери пироговского дома были для него закрыты, но он старался где мог увидаться с Машей, появляясь перед ней верхом то в поле, то в лесу и всячески добиваясь ее любви.

Пирогово находилось от Ясной Поляны в 35 верстах, а местность была уже совсем другая. Уже за несколько верст от Ясной Поляны кончались леса и начинались степи. У нас крестьяне были избалованные, давно отвыкшие от домотканой одежды, шитых рубах, панев, в Пирогове же можно было еще увидеть, особенно на старухах, старинный крестьянский наряд. В Ясной Поляне крестьяне извозничали, уходили на заработки в город на фабрики, заводы. Плохая земля, малые наделы не могли прокормить семью. В Пирогове была прекрасная земля чернозем, и крестьяне жили главным образом земледелием. Самая лучшая ржаная мука шла на тульский базар из этих мест. Яснополянские крестьяне с презрением говорили про пироговских: "Ну, степные, что

они понимают". "Балованные, подгородные", - в свою очередь отзывались пироговские о наших крестьянах.

Бывало, едешь из Ясной Поляны в Пирогово часа три на лошадях, на поезде ездить не было смысла, так как Пирогово находилось в семнадцати верстах от станции. Дорога шла почти все время большаком, бесконечными полями, названия деревень странные, особенно дальше - в степь: "Коровьи Хвосты", "Иконские Выселки". А около самого Пирогова хутор тети Маши совсем чудно назывался: "Порточки". Мы, бывало, покатываемся со смеха, когда спросишь мужиков: "Откуда вы?" А они отвечают: "Да из графских Порточков". Пирогово было видно еще издали. Оно стояло высоко на бугре. На фоне темной густой зелени резко выделялась белая, старинная церковь. А внизу по громадному лугу бесконечными петлями вилась река Упа. По обеим сторонам реки на крутых обрывах раскинулось село, с правой стороны маленькая усадьба сестры Маши, а с левой в зелени, за церковью "большое", как мы его называли, Пирогово.

Дом был старый, растянутый, с большой оранжереей, где всегда при дяде Сереже было много цветов. Мебель старинная, пожухлая от времени, с потертой обивкой, большей частью еще принадлежавшая Николаю Ильичу Толстому. А около дома небольшой, но старый запущенный парк. Некоторые аллеи так заросли, что в них почти не проникало солнце, было свежо и пахло сыростью. Иные были обложены по краям волчьими костями, что в детстве производило на меня страшное впечатление. Жутко становилось, когда я представляла себе всех этих зверей, убитых дядей Сережей на охоте.

Не знаю почему, но дядя Сережа был всегда со мной ласков и я не боялась его. Когда я приезжала, он расспрашивал меня об отце, интересуясь мельчайшими подробностями его жизни. Я должна была ему рассказывать, что отец писал, кто у него бывал, в каком он настроении.

А вечером, когда в старой, уютной гостиной зажигалась керосиновая лампа с большим темным абажуром, неслышными шагами в мягких, прюнелевых туфлях ко мне подходила маленькая сморщенная старушка в черном повойничке и черном платье и, улыбаясь уголками беззубого рта, говорила:

- Ну, чудесенькая моя (это было ее любимое слово - чудесно, чудесенький), спой что-нибудь.

Я косилась в сторону дяди Сережи.

- Сергей Николаевич будет рад, - говорила она, кивая головой.

- Спой, Александра Львовна, "Шэл мэ верста"*.

- Спой, спой, - говорил Сергей Николаевич, улыбаясь.

Тогда я подходила к роялю и пела, а старушка стояла около меня, улыбаясь и шепотом повторяя за мной цыганские слова.

- Тетя Маша, - спрашивала я ее, упорно называя тетей, хотя она меня называла по имени и отчеству, - что значат эти цыганские слова?

Она старалась припомнить, но не могла. За свою долгую жизнь с дядей Сережей она забыла свой родной язык.

- Не помню я, чудесненькая моя, не помню. Ты спой еще что-нибудь.

Говорили, что, когда она была молода, у нее был удивительный голос, нельзя было слушать ее без слез. Но при мне она уже не пела.

Так шла жизнь в Пирогове. Никто не ожидал событий, разыгравшихся здесь, менее всех ожидал их дядя Сережа, для которого не могло быть большего унижения, чем то, что случилось.

В доме жил повар, молодой, смазливый парень Володя, один из тех, которые вырастают и на многие годы приживаются в помещичьих усадьбах.

Некрасивая, маленькая - почти карлица, с длинной, толстой косой, Варя влюбилась в повара.

Восприняв по-своему учение моего отца, она решила, что поступает по-толстовски, не делая различия между собой и поваром. Моя двоюродная сестра Елена Сергеевна Денисенко* рассказывала, что когда Варя советовалась с моим отцом по поводу своего замужества, она была поражена, что отец отнесся к ней намеренно строже, чем Сергей Николаевич, резко осуждая ее не только потому, что это так огорчало дядю Сережу, сколько потому, что, по мнению отца, не могло быть счастливого брака при разной степени развития, отсутствия общих интересов.

Но Варя никого не послушалась и уехала из дома.

А через некоторое время разразилось второе несчастье.

Толстые почти каждое лето выписывали из Самарских степей башкирцев, умеющих делать кумыс.

Кумыс был особенно полезен любимой дочери Сергея Николаевича Вере, страдавшей малокровием и имевшей склонность к туберкулезу.

Башкирец был молод, красив, и Вера увлеклась им.

- Он такой хороший был, - рассказывала она мне несколько лет спустя. - Все книги Льва Николаевича читал, о Боге, о душе со мной говорил. Я очень жалела его, потом полюбила. Как ты думаешь, Саша, - наивно спрашивала она меня, - я очень дурно поступила?

Вера уехала из дома с башкирцем.

Дядя Сережа никому не жаловался, ни с кем об этом не говорил, но иногда в опустевшем доме раздавались страшные крики:

- Аааааа!

А маленькая сморщенная старушка в ужасе вскакивала, неслышными шагами подходила к двери кабинета, крестилась и, не смея войти, снова уходила в свою половину.

Старики поспешили дать свое согласие на брак последней дочери с Сергеем Васильевичем Бибиковым.

Варя поселилась в уездном городишке с своим поваром. Говорили, что он на ее деньги открыл торговлю, стал пьянствовать и жестоко бил свою крошечную жену. Затем пошли дети, повар ее бросил. Во время революции она умерла где-то в глуши - одинокая, несчастная, оставив несколько человек детей.

В Пирогове стало еще мрачнее. Дядя Сережа молчал и только кричал, сидя у себя в кабинете. А Мария Михайловна не жаловалась, не осуждала своих дочерей и

не то со страданием, не то с недоумением спрашивала, когда приезжала:

- Каково, а? Варя-то, Варя... А Верочка, Верочка каково, а?

И слезы наворачивались у нее на глаза.

А через год Верочка вернулась, и в самой дальней от дяди Сережи комнате появился маленький, желтолицый, с косыми глазенками мальчик - Миша. Дядя Сережа простил дочь, но не желал видеть внука.

В 1904 году дядя Сережа умер. У него сделался рак на языке. Он страдал ужасно. За ним ухаживали Верочка и Мария Михайловна. Отец ездил к нему в Пирогово и возвращался расстроенный, огорченный...

17 августа отец записывает в дневнике:

"Пирогово. Три дня здесь. У Сережи было очень тяжело. Он жестоко страдает и физически и нравственно, не смирясь"*.

Дядя Сережа не мог примириться с страданиями, с неизбежностью смерти, роптал на судьбу, не находя душевного успокоения. Мария Михайловна страдала за него, думала, что исповедь и причастие могли бы облегчить его, но, зная его отвращение к священникам, не решалась позвать батюшку. Отец помог ей. Он предложил дяде Сереже исповедоваться, дядя Сережа согласился. Мария Михайловна успокоилась, да и отец был рад, он надеялся, что хоть священник поможет Сергею Николаевичу подготовиться к смерти.

Когда дядя Сережа умер, старушка Мария Михайловна осталась в Пирогове с Верочкой. Она нашла утешение в своем внуке Мише - желтолицем звереныше,

который смотрел исподлобья. Ни с кем, кроме матери и бабушки, не разговаривал, всех дичился. Когда он подросток и его стали учить грамоте, он все пытался писать слева направо - по-восточному.

Иногда летом приезжала Варя со своими детьми и жена Григория Сергеевича с семьей.

Во время революции, когда громили помещичьи усадьбы, Веру предупредили, что мужики собираются громить Пирогово. Взяв с собой самое необходимое, ночью, с совсем уже дряхлой Марией Михайловной и Мишей, Вера, покинув навсегда свое старое гнездо, спряталась у священника. Оттуда на тряской телеге крестьянин отвез их за пятьдесят верст, в город Тулу. Отъехавши несколько верст, они увидели на небе громадное зарево. Горело Пирогово.

Старинные вещи Толстых крестьяне растащили по домам, среди них погибли старинные клавикорды, на которых когда-то играла Мария Николаевна - мать отца.

Мария Михайловна после путешествия в Тулу на тряской телеге заболела и умерла.

Верочка многие годы скиталась по югу России, испытывая нужду, голод, холод. Миша, такой же слабый и больной, как и его мать, вынужден был работать на заводе простым слесарем. Измученные, худые, в старых, изношенных одеждах они наконец попали в Ясную Поляну. Миша опять поступил на завод около Тулы, но у него сделалось кровохарканье, он слег и вскоре умер. А через несколько месяцев от туберкулеза в больнице умерла его мать.

От всей семьи осталась в живых одна Мария Сергеевна. Муж ее умер, а она, получив крестьянский надел, работает на нем вместе со своими детьми.

Опять дома

Отец, видимо, поправлялся, но все еще было жутко за него. Малейшее недомогание, расстройство пищеварения, затрудненное дыхание казались началом новой болезни. Мы хватали его за руку, считали пульс, он отмахивался, смеялся, но все же терпеливо переносил наши приставания.

По-видимому, привычные условия Ясной прекрасно на него подействовали. Вызванные из Москвы врачи Щуровский и Усов вместе с доктором Никитиным подтвердили, что лучшего искать нечего и надо оставаться в Ясной Поляне, но советовали отцу перейти наверх. Отец из "под сводов" переселился в две светлые комнаты рядом с гостиной на солнечной стороне. В первой комнате ему устроили кабинет, во второй спальню.

Постепенно силы его прибывали. Он удлинял свои прогулки, пробовал делать гимнастику. Помню, как в первый раз после болезни отец поехал верхом на только что купленной мною лошади. Он с трудом поднял левую ногу в стремя, с усилием перекинул свое тело, лошадь разгорячилась, и он скрылся по "пришпекту". Я не находила себе места. Мне все казалось, что отец не справится с молодой, горячей лошадей, и я с нетерпением ждала его возвращения.

- А я на Козловке был! - весело крикнул он мне, подъезжая к дому.

И как только я увидела его, я поняла, что напрасно волновалась. Делир шел спокойным, ровным шагом... Казалось, что отец давно свыкся с лошадьёю, а она, почувствовав в нем хозяина, покорилась ему.

- Хорош твой Делир, - сказал отец, - и умен, и спокоен, и вместе с тем горяч.

Я была рада, что лошадь ему понравилась, и перестала на ней ездить, а отец свыкся с ней, полюбил и до самых последних дней ездил на ней.

Мне казалось, что обычное свойство отца - радоваться жизни, цветам, деревьям, детям, всему, что окружало его, - усилилось в нем после болезни. Как сейчас вижу, идет он из леса. Белая блуза мешком сидит на похудевшем теле, воротник отстал, торчат ключицы, он идет без шляпы, пушатся на голове седые, мягкие волосы.

- Вот, посмотри, что я принес, - говорит он, весело улыбаясь.

Я заглядываю в шляпу. Там аккуратно на лопушке положены несколько грибов.

- Ты понюхай, понюхай только, как они пахнут! Чудесно!

Я нюхаю грибы, и мне тоже делается весело.

Может быть, радость возвращения к жизни вызвала в нем стремление к художественному творчеству. Отец стал писать "Хаджи Мурата". Мы с Машей, часто бывавшей у нас в то время, радовались, но боялись это показать, чтобы не спугнуть настроение отца. Мы с нетерпением ждали каждую новую главу, выходящую из-под его пера. Я обижалась, что Маша и Коля редко

давали мне переписывать "Хаджи Мурата", а переписывали все сами.

Но отец не мог удовлетворяться одной художественной работой. После статьи "К духовенству" он пишет полухудожественное произведение "Восстановление Ада", вызвавшее негодование моей матери.

- Ведь писал же Лев Николаевич прекрасную вещь "Хаджи Мурат", - говорила она, - а теперь пишет злобную, отвратительную гадость... И к чему это? Черти, ад, всякая мерзость... Отвратительно...

Точку зрения матери я не принимала, все, что отец писал, было прекрасно. Оно только разделялось в моем мозгу на более интересное и менее интересное. Я огорчалась, казнила себя, но то, что все больше и больше интересовало его, иногда казалось мне скучным.

В ту пору отец изучал буддизм, магометанство, иудаизм и из всех верований выбирал то, что сходилось с его мирозерцанием.

- В каком прекрасном обществе я сегодня провел вечер, - говорил он после чтения Канта, Шопенгауэра, Монтеня и других мыслителей.

У него образовался свой круг чтения - собрание книг, дававших ему духовную пищу, и он все чаще и чаще стал задумываться, каким образом сделать это чтение наиболее доступным широким массам.

Иногда по утрам, отрывая листочки календаря, он возмущался плохим выбором и случайностью попадавшихся в нем изречений. Может быть, это и дало ему мысль составить нечто вроде календаря с изречениями "Мысли мудрых людей". Как драгоценные

камни он искал изречения в массе окружавших его книг, нанизывая их одно на другое в стройной последовательности. Эта книга положила начало составлению целого ряда сборников - ими отец занимался до конца своей жизни.

А какая была радость, когда Иван Иванович Горбунов прислал первые именные экземпляры "Мыслей мудрых людей". Отец не мог налюбоваться ими, всем показывал, читал вслух. Я не помню, чтобы какая-нибудь книга доставляла ему такое удовольствие. Иногда он наобум открывал страницу и говорил:

- Ну, Саша, я загадываю, это вот тебе!

И если содержание оказывалось подходящим, он радовался.

В это время одно событие нарушило спокойное течение нашей жизни.

Вечером сидели в зале, пили чай. Чувствовался запах дыма. Сначала думали, что подали самовар с угаром, позвали лакея, он вынес, продул, но в самоваре ничего не оказалось. Осмотрели все печи, но и здесь ничего не нашли и решили, что дворник напустил дыма, когда ставил самовар. На этом все успокоились и собрались расходиться спать. Только одна мам? волновалась и бегала по дому, ища причины запаха. Наконец, она открыла дверь на чердак и громко вскрикнула оттуда повалил густой дым.

- Пожар! - закричала она. - Саша! Скорей приказчика, рабочих!

Я недослушала и уже бежала сломя голову по направлению к дворне. Приказчик Петр Алексеевич спал.

Мой стук разбудил его. Он выскочил сонный, накинув поддевку.

- Скорей! Скорей! Большой дом горит! - крикнула я и помчалась к рабочим.

Когда я прибежала домой, здесь уже ведрами таскали воду на чердак. По лестнице установилась цепь. Две бочки стали подвозить воду из пруда. Пожарной машины в Ясной Поляне не было. Горела толстая, дубовая балка над кабинетом отца. Пожар затушили, двое рабочих остались на ночь дежурить на чердаке. Оказалось, что в борове вывалился кирпич, балка постепенно обугливалась и наконец вспыхнула. Если бы мам? не выяснила причину пожара, ночью над головой отца мог рухнуть потолок.

В то время как отец не переставая находил все новые интересы, часто повторяя, что у него не хватит жизни, чтобы все успеть сделать, мам? томилась. Она сама писала про себя в записной книжке: "живу без жизни". Все, что волновало отца, было ей чуждо, его новое увлечение сборниками не интересовало ее, хотя она и любила цитировать два-три изречения Сенеки и Спинозы.

Тем не менее мам? была все время занята. Когда в зале накапливалось много книг, присылаемых отцу авторами и издателями, мам? с Юлией Ивановной или с Абрикосовым*, часто бывавшим в то время в нашем доме, убирала их в шкафы, записывала в составленный ею каталог, расставляла по полкам. Она собирала вырезки из газет, наклеивала их в особые книги**, иногда с увлечением занималась фотографией, снимала, сама проявляла, копировала.

Иногда, не зная, куда девать накопившуюся энергию и несмотря на то, что к этому был приставлен садовник и около дома всегда околачивались десятки поденных, мам? сама собирала в маленькие кучки сор, окурки, кусочки бумаги и затем все это сжигала. У нее в комнате были все садовые инструменты: маленькая английская лопата, коса с брусом, грабли, молоток, гвозди, секатор, пила. Летом, когда около дома разрастались крапива и лопух, мам? выкашивала их. Осенью и весной она вырезала сушь в сирени, в акации. Она любила красить садовые столы, скамейки, умывальник в доме.

Энергия у мам? была громадная. Она не могла оставаться бездеятельной. Одно время она целыми днями училась печатать на машинке. Также неожиданно она вдруг увлеклась живописью, писала копии портретов предков, отца, начала писать мой портрет. Живопись сменилась писательством. В "Жизни для всех" появилось стихотворение в прозе "Стонь", автором которого была моя мать. Но главным ее увлечением была музыка. Мало того, что она часами играла гаммы, экзерсисы Ганона, она пробовала разучивать то, что играл в концертах Танеев: Бетховена, Моцарта, Мендельсона. Она играла пьесы с начала до конца бесконечное число раз, неизменно делая одни и те же ошибки, громко стуча по клавишам плохо гнущимися пальцами.

Кто бы ни приезжал хоть немного играющий на фортепиано, она сейчас же просила его поиграть с ней в четыре руки. Место достоинства гостя измерялось тем, играет ли он на фортепиано.

К нам приезжала тульская барышня Надечка Иванова - дочь серого купца, давшего своей единственной дочери гимназическое образование. У

Ивановых был дом на Киевской улице, бакалейная лавка и небольшой вонючий двор, где останавливались наши лошади.

Надечка, хлебнувши образования, как к солнцу тянулась к нашему дому. Но как человек недалекий, она без разбора хватала все, что ей попадалось под руку. С жадностью читала газеты, журналы, Шопенгауэра, Маркса, Энгельса, Мечникова, Толстого, Розанова, Канта...

Всю эту разнообразную пищу она не могла переварить, металась из стороны в сторону, ища применения своей "образованности". Метнулась в сторону толстовства, чуть было не увлеклась социализмом, но и в том и в другом разочаровалась. Родные сватали ее за богатых купцов, но она с негодованием отвергала безграмотных претендентов. Наконец, Надечка нашла свое призвание. Не имея музыкальных способностей, с посредственным слухом, Надечка вдруг с необычайной страстью принялась за музыку. Она купила себе рояль, тратила деньги на учителей, в продолжении нескольких лет безнадежно барабанила по клавишам и, наконец, стала преподавательницей музыки.

Посещения Надечки участились. Из залы громко раздавались звуки того, что должно было быть Гайдном, Моцартом, Брамсом. Обе близорукие, близко придвинув пюпитр, мам? и Надя с жаром целыми вечерами, безжалостно нажимая правую педаль, играли в четыре руки. Иногда Надечку заменяла Наташа Сухотина. Меня раздражала эта музыка, я не могла ее выносить. Часто играющие разъезжались, несколько тактов играли врозь, о чем спохватывались к концу страницы. Я уходила

переписывать вниз в свою угловую комнату и с ужасом думала, что отец вынужден выслушивать часами эти концерты.

Часто мам? уезжала в Москву и, когда она возвращалась оттуда веселая, оживленная, полная впечатлений от концертов, встреч с родными и знакомыми, меня охватывало состояние тоски и раздражения, мучившее меня в детстве.

Временами со свойственной ей энергией мам? принималась за хозяйство. Но она не понимала, не знала этого дела и не могла его делать хорошо. Внимание ее не было обращено на существенные стороны, а лишь на мелочи. Бабы, несущие траву через усадьбу, старуха, волочащая сухой сук из барского леса, сердили ее, но она не видела воровства приказчика, садовника, не замечала беспорядка.

Помню ужасный случай, происшедший от бесхозяйственности. С незапамятных времен в Ясной Поляне брали песок из так называемой Песочной ямы - бугра в полуверсте от усадьбы, где имеются залежи прекрасной глины и песка. Говорили, что при отце разделялись правильные карьеры, откуда можно было легко, без риска доставать песок. Но приказчики об этом не заботились, хотя положили с мужиков по 10 копеек с воза. Песок брали, копая ямы как попало. И вот, на глазах у нашего старосты Адриана Павловича засыпало крестьянина Семена Владимирова. Он подкопался глубоко, яма стала осыпаться, ему прихватило ноги. Он кричал, просил помощи, но сын Семена и Адриан Павлович подбежали, когда его засыпало по пояс. Они хотели бросить ему веревку, но почувствовали, как

из-под их ног поплыл песок, и отскочили. Они видели, как его постепенно засыпало и яма сравнялась.

- Его уже не видать, - говорил Адриан Павлович, - а все слышно, как он из-под песка кричит.

Прибежали на усадьбу сказать о несчастье. Все кинулись на "Песочную". Я редко видела отца таким расстроенным. Вместе с рабочими он откапывал Семена.

- Нельзя, нельзя такие вещи делать, - говорил он мам?, - если имеешь хозяйство, надо вести его хорошо или совсем от него отказаться!

Это был единственный раз, на моей памяти, когда отец вмешался в хозяйственные дела. Он нанял копачей, показал, как надо открыть карьер и с тех пор часто заходил на "Песочную яму" - и смотрел, правильно ли берут песок.

Мать считала, что самым главным делом ее жизни была забота об отце. Чувствуя внутренний разлад между собой и отцом, она, как утопающий за соломинку, хваталась за внешнюю заботу о нем. Радовалась на шапочку, которую ему вязала, на хорошую сшитую ею блузу. Этим она утешалась, не отдавая себе отчета в том, что никакая забота не могла искупить моральных страданий отца. Она искренне верила, что отец погиб бы, если не подливать ему в суп мясного бульона, если во время болезни она не дежурила бы около него, не обдумывала так тщательно его одежду, питание.

- Левочка, не пей так много кваса, - постоянно говорила мать, отстраняя от отца кувшин, - опять у тебя сделается отравление кишечным ядом...

- Левочка, надень теплое пальто, сегодня очень холодно!..

Иногда отец молча покорялся, иногда с досадой говорил:

- Ах, оставь, пожалуйста, Соня, я знаю...

Радость совершенная

Мне кажется, что Маша была единственным человеком в семье, для которого воля отца была священна. Может быть, именно поэтому у нее с матерью сложились тяжелые отношения.

Много лет спустя, когда мне пришлось исполнять волю отца по его духовному завещанию, много горьких слов и обиды вытерпеть от семьи, я часто вспоминала Машу и думала о том, насколько было бы легче, если бы она была жива.

И несмотря на то, что она не одобряла моего легкомыслия, считала, что я недостаточно прониклась взглядами отца, в глубине души она чувствовала, что моя привязанность к нему с годами делается все сильнее и глубже, и многое прощала мне за это.

Та трещина, которую я смутно ощущала в отношениях родителей, сделалась для меня реальной после нескольких разговоров в Машей, и с годами я стала все больше и больше понимать глубину разделявшей их пропасти.

Как сейчас помню, Маша окликнула меня в гостиной. Она была расстроена, взволнована и сказала мне, что мам? пишет дневники задним числом, пользуясь дневником отца, истолковывая события, настроения отца по-своему.

Я не сразу поняла ее.

- Зачем? - наивно спросила я.

- Вот в этом-то и дело. Зачем? А затем, чтобы люди, читая эти дневники, считали отца злодеем, эгоистом по отношению к мам?, на которую он навалил тяжесть всех дел, хозяйства, семьи... А мам? мученица...

- Надо как-нибудь помешать этому! - с жаром воскликнула я. - Нельзя же этого допускать...

- Ну как ты этому помешаешь? - грустно улыбнулась Маша. - Надо только нам с тобой помнить, что не все верно в этих записях...

Я этого никогда не забывала. И когда мам? заговаривала о своих писаниях: дневниках, "Истории моей жизни", я холодно и враждебно молчала. А она часто говорила о том, что ей надо оправдаться перед будущим поколением, что она положит свои дневники в румянцевский музей с тем, чтобы их напечатали через 50 лет после ее смерти, и тогда люди увидят, как она страдала и как отец был жесток и несправедлив по отношению к ней.

Несмотря на то, а может быть, именно потому, что мам? постоянно повторяла, что надо все сохранить, записать, что все это будет впоследствии интересно, и огромное значение приписывала тому, что будет говорить и думать будущее поколение, меня ужасно раздражала мысль об этом будущем поколении, и я писала дневник только тогда, когда меня что-нибудь сильно задевало или когда я бывала влюблена.

Теперь я чувствую себя виноватой перед памятью отца.

В другой раз Маша с таинственным видом позвала меня в отцовский кабинет.

- Вот под этим креслом, - сказала она - видишь, подкладка у него оторвана, лежит письмо. Пап? просил в случае чего (Маша не сказала чего) передать его дяде Сереже. Если нас с Колей здесь не будет, сделай это!

- А кому письмо? - спросила я, проникаясь важностью и таинственностью возложенного на меня поручения.

- Не знаю.

Любопытство разбирало меня, но я не смела больше расспрашивать, да возможно, что Маша и сама не знала, что лежало в рваной подкладке старого кресла.

Когда Маши не было уже в живых, Оболенский напомнил отцу про письмо, узнав, что мам? собирается перебивать кресла в кабинете. Отец достал письма, их оказалось два, и передал Коле, прося сохранить у себя и после его смерти передать мам?.

Оболенский так и сделал. Он рассказал, что, прочитав одно письмо, мам? немедленно изорвала его на мелкие клочки. Содержание второго письма я узнала гораздо позднее. Я и не подозревала тогда, что отец был так близок к мысли об уходе.

Привожу его ниже:

"Дорогая Соня!

Уже давно меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями. Заставить вас изменить вашу жизнь, ваши привычки, к которым я же приучил вас, я не могу; уйти от вас до сих пор я тоже не мог, думая, что я лишу детей, пока они были малы, хотя того малого

влияния, которое я мог иметь на них, и огорчу вас; продолжать же жить так, как я жил шестнадцать лет, то борясь и раздражая вас, то сам подпадая под те соблазны, к которым я привык и которыми я окружен, я тоже не могу больше, и я решил теперь сделать то, что я давно хотел сделать, - уйти: во-первых, потому, что мне с моими увеличивающимися годами все тяжелее и тяжелее становится эта жизнь и все больше и больше хочется уединения, и, во-вторых, потому, что дети выросли, влияние мое в доме уже не нужно и у всех вас есть более живые для вас интересы, которые сделают вам мало заметным мое отсутствие. Главное же то, что, как индусы под шестьдесят лет уходят в леса, как всякому старому религиозному человеку хочется последние годы своей жизни посвятить Богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису, так и мне, вступая в свой семидесятый год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения и хоть не полного согласия, но не кричащего разногласия своей жизни со своими верованиями, со своей совестью. Если бы открыто сделать это, были бы просьбы, осуждения, споры, жалобы, и я ослабел бы, может быть и не исполнил бы своего решения, а оно должно быть исполнено. И потому, пожалуйста, простите меня, если мой поступок сделает вам больно, в душе своей, главное ты, Соня, отпусти меня добровольно и не ищи меня, и не сетуй на меня, и не осуждай меня.

То, что я ушел от тебя, не доказывает того, чтобы я был недоволен тобой, я знаю, что ты не могла, буквально не могла и не можешь видеть и чувствовать как я, и потому не могла и не можешь изменить своей жизни и приносить жертвы ради того, чего не сознаешь. И потому я не осуждаю тебя, а напротив с любовью и

благодарностью вспоминаю длинные тридцать пять лет нашей жизни, в особенности первую половину этого времени, когда ты, со свойственным твоей натуре материнским самоотвержением, так энергически и твердо несла то, к чему считала себя призванной. Ты дала и миру то, что могла дать; дала много материнской любви и самоотвержения, и нельзя не ценить тебя за это. Но в последний период нашей жизни - в последние пятнадцать лет мы разошлись. Я не могу думать, что виноват, потому что знаю, что изменился я не для себя, не для людей, а потому, что не мог иначе. Не могу и тебя обвинять, что ты не пошла за мной, а благодарю тебя и с любовью вспоминаю и буду вспоминать за то, что ты дала мне.

Прощай, дорогая Соня. Любящий тебя Лев Толстой.

8 июля 1897 года".

А несколько месяцев спустя он пишет сестре Тане:

"Ты пишешь о моем неприезде в Москву. Я думаю об этом каждый день раз сто, и подолгу, и не могу решить. Ехать на мучения, недостойную и праздную жизнь, бросив свое плодотворное уединение, когда мне так мало остается жить и работать, есть некоторого рода духовное самоубийство, и зачем?

А между тем я знаю, что мам? от этого страдает, и мне хотелось бы помочь ей. Но приехав, я знаю, что ей я не помогу, она как-нибудь иначе будет страдать, а себе, того, что во мне не мое, - поврежу. Постоянно думаю и желаю решить не для себя, а перед Богом".

Я знала, что у родителей было много причин для раздоров: наше воспитание, жизнь в Москве, роскошь, но чаще всего ссоры происходили из-за прав на сочинения.

Еще подростком я помню, как отец передал права напечатания "Хозяина и работника" в "Вестник Европы" и как мам? сердилась, плакала, упрекала его. Мне тогда казалось, что во всем виновата Л.Я.Гуревич, про которую мам? говорила, что она "нахальная еврейка", сумевшая выпросить у отца рассказ.

В 1895 году отец написал нечто вроде завещания в дневнике, где он просил своих детей и жену передать его сочинения в общее пользование. "То, что мои сочинения продавались эти последние десять лет, было для меня самым тяжелым делом", - писал он.

Маша сняла три копии с этого завещания. Одну дала отцу подписать и оставила у себя, а две другие отдала Сереже и Черткову на хранение.

Об этом завещании узнал Илья и рассказал матери.

Весь гнев мам? обрушился на Машу. Она называла ее лживой, неискренней, обвиняла в том, что она исподтишка дала отцу подписать бумагу.

Маша сдерживалась, старалась объяснить, что бумага, о которой шла речь, не имела юридического характера, что волю отца знала вся семья, но мам? не слушала ее и продолжала кричать. Она вспомнила о том, что Маша, отказавшись от имущества, снова взяла свою часть, чтобы кормить мужа голоштанника, упрекала ее в фарисействе...

От Маши мам? побежала к отцу. Между ними произошла бурная сцена. По-видимому, отец не соглашался уничтожить бумагу, потому что мам? продолжала волноваться, кричала, плакала, грозила убить себя.

У отца сделались перебои сердца. Маша, зная, что мам? не перестанет мучить его, пока не добьется своего, испугалась за его здоровье и отдала матери завещание.

В дневнике от 10 октября 1909 года мать дает такое объяснение этому событию:

"Когда произошел раздел имущества в семье нашей по желанию и распределению Льва Никола-а, дочь Маша, тогда уже совершеннолетняя, - отказалась от участия в наследстве родителей, как в настоящее, так и в будущее время. Зная ее неправдивую и ломаную натуру, я ей не поверила, взяла ее часть на свое имя и написала на этот капитал завещание в ее пользу. Но смерти моей не произошло, а Маша вышла замуж за нищего - Оболенского и взяла свою часть, чтобы содержать его и себя. Не имея никаких прав на будущее время, она, почему-то тайно от меня, переписала из дневника своего отца 1895 года целый ряд его желаний после его смерти. Там, между прочим, написано, что он страдал от продажи своих сочинений и желал бы, чтобы семья не продавала их и после его смерти. Когда Л.Н. был опасно болен в июле прошлого, 1901 года, Маша тихонько от всех дала отцу эту бумагу, переписанную ею из дневника, - подписать его именем, что он, больной, и сделал.

Мне это было крайне неприятно, когда я случайно это узнала. Отдать сочинения Л.Н. в общую собственность я считаю и дурным, и бессмысленным. Я люблю свою семью и желаю ей лучшего благосостояния, а, передав сочинения в общественное достояние, мы наградим богатые фирмы издательские вроде Маркса, Цейтлина (евреев) и другие. Я сказала Л.Н., что, если он умрет раньше меня, я не исполню его желания и не

откажусь от прав на его сочинения; и если бы я считала это хорошим и справедливым, я при жизни его доставила бы ему эту радость отказа от прав, а после смерти это не имеет уже смысла для него. И вот теперь, предприняв издание сочинений Льва Николаевича, по его же желанию оставив право издания за собой и не продав никому, несмотря на предложения крупных сумм за право издания, мне стало неприятно, да и всегда было, что в руках Маши бумага, подписанная Львом Николаевичем, что он не желал бы продажи его сочинений - после его смерти. Я не знала содержания точного и просила Льва Николаевича мне дать эту бумагу, взяв ее у Маши.

Он очень охотно это сделал и вручил мне ее. Случилось то, чего я никак не ожидала: Маша пришла в ярость, муж ее кричал вчера Бог знает что, говоря, что они с Машей собирались эту бумагу обнародовать, после смерти Льва Николаевича сделать известной наибольшему числу людей, чтобы все знали, что Лев Николаевич не хотел продавать свои сочинения, а жена его продавала".

Была осень. Поредели прозрачные березы, кое-где в темной густой зелени лип появились ярко-желтые ветки, на прозрачной и почти черной воде в прудах пестрели опавшие листья...

Мы шли молча втроем по березовой аллее к нижнему пруду. Глубокое чувство нежности соединяло нас, и от этого, и оттого, что отец казался таким измученным, было бесконечно грустно и хотелось плакать. Он, точно угадывая наше настроение, заговорил о том, что жизнь - радость и что если мы это не сознаем, виноваты мы сами.

- Тебе вот кажется, какое было бы счастье, если бы изменились условия твоей жизни, если бы мог уехать куда-нибудь, или если бы вдруг прозрел Х., или ты сделался бы молодым и мог начать свою жизнь сначала. Вот, думаешь ты, будет совсем, совсем хорошо... Ан, нет... неправда. Изменилась жизнь по твоему желанию, исчезла одна тяжесть, а на смену ей сейчас же пришла другая, третья. А надо...

- Как Франциск Ассизский... - перебила его Маша.

- Да, да, как это ты всегда все прекрасно понимаешь! - радостно воскликнул отец. - Да, вот, когда будут поносить вас и гнать, вот тогда испытать радость совершенную...*

Голос его задрожал. Я не могла видеть его страданий, заплакала и убежала.

А вечером Маша спросила меня:

- Ты что это, Александрополь, почему заревела? Может быть, пап? ко мне приревновала?

- Что ты! - воскликнула я. - Нет, мне жалко его, мучается он, страдает...

И слезы опять полились из глаз.

Всю осень почти до самого Нового года отец прохворал. И первое время не могли определить его болезни. Был жар, сильные боли в боку. Затем резким скачком поднялась температура. Вызвали московских врачей. Они определили инфлюэнцу.

Прогулки

Какой задорный вид бывал у отца, когда он выходил из кабинета после удачной работы! Поступь легкая, бодрая, лицо веселое, глаза смеются. Иногда вдруг

повернется на одном каблуке или легко и быстро перекинет ногу через спинку стула. Я думаю, всякий уважающий себя толстовец пришел бы в ужас от такого поведения учителя. Да, такая резвость не прощалась отцу! Я помню такой случай:

На "председательском" месте, как оно у нас называлось, сидела мам?. По правую сторону отец, рядом с ним Чертков. Обедали на террасе, было жарко, комары не давали покоя. Они носились в воздухе, пронзительно и нудно жужжа, жалили лицо, руки, ноги. Отец разговаривал с Чертковым, остальные слушали. Настроение было веселое, оживленное, острили, смеялись.

Вдруг отец, взглянув на голову Черткова, быстрым, ловким движением хлопнул его по лысине! От напившегося кровью, раздувшегося комара на макушке Черткова осталось кровавое пятнышко.

Все расхохотались, смеялся и отец. Но внезапно смех оборвался. Чертков, мрачно сдвинув красивые брови, с укоризной смотрел на отца.

- Что вы наделали? - проговорил он. - Что вы наделали, Лев Николаевич! Вы лишили жизни живое существо! Как вам не стыдно?

Отец смутился. Всем стало неловко.

Когда отец бывал в веселом настроении, он всегда выдумывал интересные прогулки: в Засеку, на станцию Рвы*, к Марии Александровне Шмидт, на Провалы**. Бывало, всех соберет - и старых и малых, для тех, кто уставал, брали верховую лошадь. Торных дорог отец избегал и любил сокращать пути.

- Пойдите, пойдите, - говорил он, - вот тропинка, она непременно должна вывести на дорогу.

Мы шли версту, две, три...

- Ах, Боже мой, пропустили... Пойдите, должно быть, тропинка ушла вправо.

Мы идем без тропинки - целиком. Под ногами мягко от перегнувшегося листа, цепляешься головой о ветки орешника, обходишь вековые пни и деревья, разросшиеся кусты папоротника, пахнущего свежим огурцом. Забираемся все глубже и глубже в лес. Мам? устала и начинает сердиться.

- Вот ты всегда так, Левочка, со своими сокращениями, прямой дорогой давно пришли бы, а теперь, дай Бог, к вечеру добраться!

А молодежь довольна. Гораздо интереснее, чем по дорогам!

Уж как хорошо отец знал Засеку, но и он часто по ней плутал.

Иногда водили гулять гостей. Помню, приехали к нам соседи - Шеншины. Он желтый кирасир, толстый, красный человек в белом кителе с желтыми погонами, молчаливый и потный. Она бойкая, болтливая, типичная полковая дама.

- Володечка, - подбадривала она своего мужа, - что же ты молчишь? Ты бы рассказал что-нибудь Льву Николаевичу!

После обеда отец пошел с ними гулять в Засеку и на этот раз по своему обыкновению не удержался от соблазна сократить дорогу. От Кудеярова колодца*** повел тропинкой по шоссе. На ту сторону Воронки

переправились по двум жердям, перекинутым через речку. Перешел отец, легко перепорхнула полковая дама, Володечка же, видимо, робел. Все с любопытством и ожиданием смотрели на него. Дойдя до середины, он вдруг сконфузился, заторопился, одна жердь слегка переломилась и Володечка шлепнулся в воду.

Отец смеялся до слез, рассказывая нам это происшествие, а место это мы с тех пор так и прозвали "Володечкиным переходом".

Отец любил цветы, всегда собирал их без листьев, тесно прижимая один к другому. Когда я делала ему букеты по-своему, прибавляя в них зелени и свободно расставляя цветы в вазе, ему это не нравилось.

- Это ни к чему, надо проще...

Обычно он первый приносил едва распустившиеся фиалки, незабудки, ландыши, радовался на них, давал всем нюхать. Особенно любил он незабудки и повилику, огорчался, что повилику неудобно ставить в воду - стебельки слишком коротки.

- Понюхай, как тонко пахнет, горьким миндалем, чувствуешь? А оттенки-то какие, ты посмотри...

Лошади и собаки играли большую роль в нашем доме.

Отцу подарили породистую сибирскую лайку Белку. Хороший был пес, ласковый, а главное - серьезный, с чувством собственного достоинства. Но отец мало обращал на него внимания, не кормил его, и Белка не признал отца хозяином. Он гораздо охотнее гулял с Юлией Ивановной или со мной. Иногда только делал вид, что идет с отцом, бежал вперед, махая хвостом и заглядывая ему в глаза, провожал отца через яблочный

сад до леса, а там тихонькой сторонкой и домой. Отец даже обижался.

- Отбили вы у меня Белку, - говорил он Юлии Ивановне, - не хочет со мной гулять.

Помню, я завела себе густо-псового борзого - здорового, лохматого пса с длинной мордой. Ходил он за мной по пятам, мрачно и покорно опустив голову. Но стоило ему увидеть стадо овец, он во весь дух насккивал на него, врезывался в серединку и нередко задирали овец до смерти. Его наказывали, запирали - ничего не помогало.

Повадился борзой гулять с отцом. Пришел как-то отец с прогулки очень расстроенный.

- Убери ты куда-нибудь свою собаку!

- А что?

- Да опять сегодня за овцами гонялся! Я насилу его отогнал!

- Устал, запыхался?

- Да это бы ничего. А только в грех он меня ввел. Я снял ремень и его отодрал. И главное, нехорошо то, что со злобой...

Пришлось борзого отдать.

Прижились у нас две собаки дворовые - Тюльпан и Цыган. Должно быть, два брата, уж очень были похожи между собой: черные с белой грудью, уши болтаются, спереди облезлые, сзади лохматые, всегда в репьях. Собаки эти всегда сопровождали отца на прогулках.

В самой чаще Заказа*, куда ведет едва заметная тропа, в глубоком овраге течет ключ. В одном месте он образует небольшую водомоину с чистой, прозрачной

водой. Это "волчий колодезь". Здесь в бугре живут барсуки. Они прорыли себе глубокие норы, сообщающиеся между собой подземными коридорами. Сюда, в это безлюдное, дикое место, любил иногда ходить отец. Собаки проскальзывали в норы, влезая в одну и выскакивая из другой, иногда выгоняли оттуда зверя. Один раз Цыган выскочил из норы со страшным визгом весь в крови, барсук откусил ему хвост. Помню, мы с отцом гуляли по Чапыжу и собаки прямо на нас выгнали большого барсука.

Цыган и Тюльпан кидались на нищих, странников, рвали им одежду, и от них решили избавиться. Несколько раз их отдавали, но они возвращались обратно. Кто-то придумал отправить их подальше поездом. Сдали их на Засеке в багажный вагон на предъявителя до ст. Ревякино по другую сторону Тулы. Но, когда на другой день мы встали, обе собаки, виляя хвостами, приветствовали нас у подъезда.

- Кто хочет идти со мной на вегетарианскую тягу? - спрашивает отец после обеда.

Мы натягиваем на себя пахнущие дегтем тяжелые болотные сапоги и весело идем за ним через яблочный сад и Чапыж к Заказу. В канавах кое-где еще лежит грязный, обледенелый снег, лес голый, но побурела уже набухающая почка на деревьях и местами желтеют нежные пушки ивы.

Мы выходим на поляну и останавливаемся.

- Теперь тише, - говорит отец, - не разговаривайте и слушайте!

Мы садимся на пенушки и ждем. Я напряженно слушаю, и у меня от волнения сжимается сердце.

- Слышите? Слышите? - шепчет отец.

"Хр, хр, хр!" - хоркает вальдшнеп, пролетая над нашими головами. Он описывает в воздухе круг и исчезает за лесом. А за ним потянул второй, третий.

Настала полная тишина. Стемнело.

Мы шли домой, очень довольные "вегетарианской тягой". Громко чвякали сапоги, утопая в сырой земле.

- Как странно, - говорил отец, - как странно, что я когда-то увлекался охотой, убивал...

Если едешь с отцом верхом, "не растрепывайся", как говорил Адриан Павлович, держись крепче. Ездил он оврагами, болотами, глухим лесом, по узеньким тропиночкам, не считаясь с препятствиями, встречавшимися на пути.

- Уж очень узко тут, не проедем, пожалуй, - говорила я.

- А как ты думаешь, кто скорее пройдет по узкой тропинке, лошадь или человек? - спрашивал отец, направляя Делира по самому корешку оврага.

- Человек!

- Нет, лошадь. Бояться нечего!

Если по дороге ручей, отец недолго думая посылает Делира, и он как птица перемахивает на другую сторону. Помню, я ехала на плохой, безногой лошади. Отец перепрыгнул, моя лошадь споткнулась, упала на передние ноги, и я очутилась у нее на холке.

- Ты жива? - кричит отец, оглядываясь.

- Чуть жива! - отвечаю я, смеясь и поправляясь на седле.

А то перемахнет ручей, да в гору карьером. Тут деревья, кусты, того и гляди ногой о ствол ударишься или веткой глаза выстегнешь.

- Ну?

- Ничего, - отвечаю, - сижу.

- Держись крепче!

Один раз мы ехали с отцом по Засеке. Подо мной была ленивая, тяжелая кобыла. Отец остановился в лесу и стал разговаривать с пильщиками. Лошадей кусали мухи, оводы. Кобыла отбивалась ногами, махала хвостом, головой и вдруг сразу, поджав ноги, легла. Отец громко закричал. Каким-то чудом я выкатилась из-под лошади и не успела еще вскочить на ноги, как отец молодым, сильным движением ударил ее так, что она немедленно вскочила.

Помню, мне было еще лет пятнадцать, когда он учил меня ездить.

- Ну-ка, Саша, брось стремя!

Страшно. Кажется, вот-вот упаду.

- А ну-ка, попробуй рысью!

Еду рысью, хлопаюсь на седле и думаю только о том, как бы удержаться.

- Нет, нет, ты английской - облегченной!.. Хорошо, теперь брось поводья!

"Господи, только бы лошадь не испугалась, - думаю я, - не шарахнулась бы в сторону! Сейчас слечу!"

Помню, отец упал с лошади. Мы ехали мимо чугунно-плавильного завода "Косой Горы", стали переезжать шоссе. Лошадь степная, горячая, испугалась,

шарахнулась, налетела на кучу и упала. У меня точно внутри оборвалось что-то. А отец, не выпуская поводьев, со страшной быстротой высвободил ногу из стремени и прежде лошади вскочил на ноги.

- О Господи, - простонала я. - Ушибся?

- Нет, пустяки.

Он подвел лошадь к той же куче щебня, сел, и мы поехали дальше.

- Смотри, мам? не говори! - обернувшись, крикнул он мне.

Последнее время мы боялись пускать его одного, вдруг обморок или сердечный припадок, всегда кто-нибудь с ним ездил - Душан Петрович, Булгаков или я.

- Саша, едем верхом!

Я всегда с восторгом. Он на своем любимце Делире, я на светло-гнедом, как червонное золото, карабахе.

На изволоке отец оборачивается:

- Ну-ка рысью!

Только пустили лошадей, мой карабах начал бить задом.

- Стой, пап?, - кричу я, - стой! У меня Орел задом бьет!

- Ничего, надо прогреть! - кричит отец и пускает лошадь галопом.

Я уже еле сижу. Лошадь каждую минуту дает такие свечи, что того и гляди выбьет из седла.

- Ничего, ничего, - ободряет отец, - давай, давай ему ходу.

Так продолжалось всю дорогу. Я измучилась. Приехали, расседлали лошадей, а у Орла под животом, где подпруга, громадная рана - от этого он и задом бил.

День был тихий, солнечный.

Отец ехал верхом, мы за ним в двух санях. Зимняя дорога извивалась по лесу, а на фоне ослепительно-яркого снега, то появляясь, то снова исчезая за деревьями, мелькали темный круп лошади и широкая спина в черном полушубке с повязанным на шее башлыком.

- Тпррру! - крикнула я, натягивая вожжи.

Через дорогу аркой перекинулось дерево. Макушка его примерзла к земле на другой стороне дороги. Отец пригнулся к седлу и проехал. А мы же застряли, дуга не пускала. Как тут быть? Распрягать и снова запрягать двое саней долго! Неподалеку была сторожка. Я позвала лесника, он прибежал с топором, стал перерубать дерево. Надрубив, налег грудью со стороны макушки, чтобы оно переломилось. Но дерево не поддавалось. Я торопилась, прошло уже около десяти минут, как отец уехал, я беспокоилась за него. Недолго думая, я всей тяжестью навалилась на дерево со стороны комля. Крах! Освободившись от макушки, дерево с силой распрямилось и ударило меня по челюсти. Меня подкинуло вверх, и я потеряла сознание.

Не знаю, сколько времени я лежала. Когда я очнулась, пронзительным, бабьим голосом кричал мужик.

- Батююшки, родиимые, убиили, убиили, барышню на смерть убиили, родиимые.

Я вскочила на ноги. По подбородку текла кровь. Во рту каша. В верхней челюсти один зуб висел на обнаженном нерве. Остальные шатались. Подбородок был разбит. Мужик все причитал.

- Да брось ты, - огрызнулась я на него, - чего воешь, зубы вставляю...

Мы сели и поехали. Я хотела передать кому-нибудь вожжи, чтобы закрыть рот - от холода нестерпимо ныл раздробленный зуб, трясла лихорадка, но оказалось, что править никто не умел. Я гнала лошадь, отца нигде не было.

Еще сторожка. Стоит девка лет семнадцати.

- Не видала, не проезжал здесь старичок верхом?

- Вон туда поехал! - сказала она и почему-то фыркнула.

Мы погнали лошадь по указанному направлению, ехали с полчаса, встретили мужика с возом.

- Графа видел? Не проезжал он тут?

- Нет, не видал. Он здесь, должно, и не ездил, я б его встретил...

Повернули обратно. Зуб болел все сильнее, меня трясло. Отца так и не нашли. Когда приехали домой, узнали, что он уже дома и отдыхает. Я легла в постель, лицо распухло, боль усиливалась. В шесть часов отец проснулся, ему рассказали о случившемся.

- Ах, Боже мой, Боже мой! Да что же это я наделал. Голубушка, это все из-за меня, - говорил он. - А я старый

дурак уехал, не догадался, что дуга под дерево не подойдет.

На глазах у него стояли слезы, а я прижалась больным местом к его руке, мне было хорошо.

Мы возвращались с отцом домой по "Купальной дороге"*. Поравнялись с полянкой, где весной на бугорке цвели голубым полем незабудки, а летом росли бархатные с розовым корнем и коричневой подкладкой крепкие боровики. Отец окликнул меня:

- Саша!

И, когда я, пришпорив лошадь, подъехала, он сказал:

- Вот тут, между этими дубами... - Он натянул повод и хлыстом, отчего Делир нервно дернулся, указал мне место. - Тут схороните меня, когда я умру*.

Японская война. 1905 год

В городе не так чувствуется мобилизация, как в деревне. И хотя люди живут здесь близко друг от друга, на самом деле они бесконечно далеко, не ведая часто, что творится не только в соседнем доме, но и в соседней квартире. В деревне всех знаешь: у кого какая семья, сколько детей, какие достатки, кого из ребят забрали в солдаты. Горе, причиненное войной, тут же на глазах, никуда не уйдешь от него.

Слышится плач, вой, лихо заливаается гармошка, и несколько молодых голосов с пьяной удалью то подтягивают, то обрывают песню. Пьяные новобранцы, заломив картузы, нестройными группами шляются по деревне и, несмотря на залихватский вид, веселую, забористую песню, на лицах написано тупое отчаяние.

На время война вытеснила все остальные интересы. Обыденные радости, огорчения - все потонуло в этом несчастье.

Брат Андрей, только что бросивший свою жену Ольгу Константиновну с двумя детьми - несчастный, запутавшийся в каком-то новом увлечении, поехал на войну, и мам?, брат Илья с женой ездили в Тверь, где стоял его полк, с ним прощаться. Забрали повара Семена Николаевича**. Толстый, рыхлый, он был мало похож на воина и жалобно плакал, целуя мам? руки и прощаясь со всеми нами.

Теперь к отцу часто стали приходиться с просьбами, связанными так или иначе с войной: "Неправильно забрили, не по закону", "пособия никак не могут получить".

Подъема патриотизма в деревне и помину не было. Шли, потому что велят и нельзя не идти. А из-за чего началась война, почему гнали на Дальний Восток никто не знал.

Прогулки отца на шоссе участились. Здесь он собирал главные новости, улавливая настроение, отношение крестьян к войне. То с мужиками в санях или в телеге подъедет, то пешком с бабами пройдет, об их нужде поговорить.

Пробовал отец газеты читать, но не мог, они слишком волновали его.

- Не могу, - говорил он, - читать, что люди, как о чем-то высоком, прекрасном, пишут о кровавых событиях, стараясь вызвать патриотизм народа!

Но стоило кому-нибудь приехать, он сейчас же спрашивал:

- Ну что нового? - Что на войне делается?

И когда ему говорили, что японцы побеждают, он огорчался.

- Не могу отделаться от чувства обиды, когда слышу, что русских бьют, говорил он.

Когда же он узнал, что Порт-Артур сдан без боя, сказал:

- Эх, в наше время так не воевали!*

Помню, доктор Никитин, Юлия Ивановна и я сидели в "ремингтонной" и говорили о войне. Дмитрий Васильевич поднял вопрос о том, можно ли при полном отрицании убийства идти на войну в качестве доктора, сестры милосердия.

Вошел отец.

- О чем это вы?

Мы рассказали ему.

- Если бы я был молод, - сказал отец, - я пошел бы на войну санитаром!

Но разве можно было отцу выражать свои непосредственные, мимолетные чувства? Люди спешили подхватить его слова и пустить в печать. Правые, патриотически настроенные люди радовались.

- Сам Толстой охвачен патриотизмом, несмотря на свое непротивление!

Две девицы приехали к отцу. Они собирались ехать на войну сестрами милосердия и спрашивали отца, правильно ли они поступают? Он сказал им, что нельзя,

по его мнению, принимать участие в деле убийства в какой бы то ни было форме. Девушки были удивлены и старались доказать, что это необходимо - раненые все равно будут, помогать им надо.

- Сознайтесь, - возразил отец, - что в вас есть желание подвига, желание отличиться! Почему вы хотите именно там, на войне, отдать свои силы людям? Почему вы не идете в глухую деревню помогать миллионам страдающих, умирающих от болезней, грязи, недоедания? Почему? - Потому, что это серо, неинтересно, никого не удивишь этим...

Газеты и журналы не понимали или делали вид, что не понимают отца, чтобы иметь случай лишний раз поместить его слова, и запрашивали его мнение о русско-японской войне.

Так, например, филадельфийская газета спрашивала: за кого Толстой, за русских или японцев? На что отец ответил:

"Я ни за Россию, ни за Японию, а за рабочий народ обеих стран, обманутый и вынужденный правительством воевать против совести, религии и собственного благосостояния".

- Удивительное дело, - говорил отец, - христианство запрещает убийство, буддизм также. И вот два народа, исповедующие религии, запрещающие убийство, с злобой убивают, топят, калечат друг друга.

Отец не мог оставаться равнодушным к войне, и, отложив на время "Круг чтения", над которым в то время работал, - писал статью "Одумайтесь".

И только в далеких уголках России полуграмотные крестьяне понимали учение Христа так, как понимал его

отец. Они не спрашивали его, за кого он, за русских или японцев, они отказывались брать в руки оружие и воевать. И делали это просто, не рисуясь, не думая о последствиях. А последствия были ужасные их сажали в тюрьмы, отправляли в дисциплинарные батальоны, нередко секли, истязали...

Война действовала на всех возбуждающе, и, как всегда бывает в таких случаях, если даже ничем не можешь помочь, хочется двигаться, действовать, выскочить из привычной, обыденной обстановки. Мы ничего не могли придумать путного и решили: Наташа, Миша и Аля Сухотины, Наташа Оболенская, гостивший у Сухотиных немец Браумюллер пройти пешком от Кочетов* до Ясной Поляны приблизительно около ста сорока верст.

Оделись просто, в ситцевые платья, за спинами котомки с вещами и провизией, и пошли. Станный, должно быть, был у нас вид! Если бы не наша молодость, нас можно было бы принять за странников-богомольцев. Один Браумюллер отличался от всех. На нем были швейцарская куртка, короткие суконные штаны, рюкзак за спиной, фетровая шляпа. В нем сразу можно было узнать иностранца.

Первую ночь мы ночевали у знакомых. На следующий день должны были добраться до брата Сережи. Он овдовел и жил совершенно один в своем имении Никольском-Вяземском. Но до Никольского было около тридцати пяти верст. Было жарко, решили зайти в деревню, отдохнуть, напиться чаю и молока. Облюбовав хату почище, мы вошли и спросили хозяев, не могут ли они поставить нам самовар и подать молока? Крестьяне оказались не приветливыми. Они подозрительно на нас

посматривали, выпрашивали, откуда мы, да куда идем, кто такие? Мы отвечали неохотно, нам не хотелось открывать наше инкогнито и сознаваться в том, что путешествие наше не имело определенной цели.

- Да куда вы идете-то, Богу что ли молиться? - допытывались они.

- Да нет, просто путешествуем...

- Путешествуете? Чудно чтой-то, - с сомнением говорил хозяин. - А вот этот, чей же такой будет?

- Это немец, он интересуется русской деревней.

- Антересуется? Чем же он антересуется? Чего ему надо?

- Да вот интересуется, как вы живете, русской деревней интересуется, он никогда не бывал в России.

- Так, так... - Мужик, недоверчиво покачивая головой, вышел из избы.

По-видимому, нас не собирались поить чаем, и мы решили, воспользовавшись уходом хозяина, перейти в другой дом. Но толкнувшись в дверь, мы с изумлением почувствовали, что она заперта.

- Эй, - закричали мы, - чего это шутить вздумали, к чему дверь заперли?! Отоприте!

- Повремените покеда! - крикнул мужик. - Я к старосте сбегая!

Мы перепугались.

- Вот так самовар, вот так молоко! - дразнили мы друг друга. - Как бы в холодную не угодить!

Взволнованные, возмущенные, мы сунулись было в окна. Но они были маленькие, высокие. Только немец

сохранял полное спокойствие, допуская, по-видимому, что в России все возможно.

Через полчаса явился наш хозяин и привел с собой еще двух мужиков, старосту и одного понятого. Хозяин наш оказался десятским. Староста без всяких разговоров хотел нас вести к земскому, но тут вдруг обычно кроткий и спокойный Миша Сухотин вышел из себя.

- Вы знаете, с кем имеете дело? - крикнул он грозно.
- Я - сын действительного статского советника Михаила Сергеевича Сухотина, а это княжна Оболенская, а это - дочь графа Толстого, слышали, такой писатель в Ясной Поляне живет. Да знаете ли вы, что если вы нас задержите, что с вами будет? Как вы смеете?!

Мужики струсили, на них подействовал грозный тон и громкие фамилии, которые выкрикивал Миша.

- Ты, стало быть, сын Михаила Сергеевича Сухотина будешь? - спросил мужик.

- А это сестра графа Толстого, что в Никольском-Вяземском живет? Так чего это вам в голову пришло пешими по деревням бродить? - спрашивал староста.

- А вот этот чей такой будет? - спросил десятский, указывая на Браумюллера, на которого беспрестанно косились мужики.

- Мы же тебе говорили, глупая ты голова, что это гость наш - немец...

- Немец, не японец? - вдруг выпалил мужик.

- Немец, немец. Разве японцы такие бывают? Они черные, глаза у них узкие, а этот белокурый, глаза у него синие...

Оказывается, мужики приняли Браумюллера за японца и хотели, как шпиона, задержать его.

Большой радостью для отца было известие, что в Японии находятся люди, которые так же, как и он, борются против войны.

В японской социалистической газете "Heimin Shintun Sha" в августе 1904 года была помещена статья на английском языке, автором которой оказался известный японский социалист Изо Абэ. Отец вступил с ним в переписку и между прочим писал, что жалеет, что Изо Абэ социалист. Японец ответил, что хотя он и социалист, но стоит за мирную революцию и в сношениях с русскими революционерами всегда уговаривает их воздерживаться от насилия.

Революционеры причиняли много огорчений отцу.

Помню такой случай. Мы сидели за завтраком. Снизу, запыхавшись, пришел отец.

- Ах, Боже мой, Боже мой! - громко охал он. - Ведь это ужас какой-то! Я ему говорю, что нельзя насильем добиваться улучшения положения народа, а он меня с таким апломбом перебивает: "Вы ошибаетесь, не нельзя, а должно беспощадно уничтожать всех тех, которые эксплуатируют народ!" И кто же? Гимназист лет семнадцати - еврей! Какая злоба! Какая злоба! Я стал ему говорить про закон Бога, про учение Христа. "Все это глупости, - снова перебил он меня, - никакого Бога нет!" Я не выдержал, раздражился! Главное, эта безграничная самоуверенность. "Зачем же вы ко мне пришли, если вы все так хорошо знаете?" - спросил я и вышел из комнаты.

Я редко видела отца в таком состоянии. Лицо его было красное, он дышал часто, быстро ходил взад и вперед по комнате и все охал.

Отец ждал революцию. Настроение рабочих, солдат, крестьян он чувствовал не только из разговоров, но и по бесконечным письмам, стекавшимся к нему со всех концов России. Он знал про нараставшее с каждым днем народное недовольство, знал, что никому ненужная, бессмысленная японская война, куда гнали сотни тысяч людей на смерть, переполнила чашу терпения...

Для него было совершенно ясно, что революция не улучшит положения народа, может быть, поэтому он неоднократно обращался к правительству, чтобы предупредить надвигавшиеся кровавые события. Форма, по его мнению, не имеет значения, каждая власть основана на насилии и каждая власть поэтому дурна. Новое правительство будет так же основано на насилии, как и старое. Как Кромвель, Марат давили своих противников, так и у нас новое правительство давило бы консерваторов, "Новое время" и т.д. Если же мне выбирать, то я лучше уж выберу Владимира Александровича. Он заживной вор и не будет так страшно воровать.

В статье "Правительству, революционерам и народу" отец писал:

"Для того, чтобы положение людей стало лучше, надо, чтобы сами люди стали лучше. Это такой же трюизм, как то, что для того, чтобы нагрелся сосуд воды, надо, чтобы все капли ее нагрелись. Для того же, чтобы люди становились лучше, надо, чтобы они все больше и больше обращали внимание на себя, на свою внутреннюю жизнь. Внешняя же общественная

деятельность, в особенности общественная борьба, всегда отвлекает внимание людей от внутренней жизни и потому всегда, неизбежно развращая людей, понижает уровень общественной нравственности, как это происходило везде и как мы это в поразительной степени видим теперь в России. Понижение же уровня общественной нравственности делает то, что самые безнравственные части общества все больше и больше вступают наверх и устанавливается безнравственное общественное мнение, разрешающее и даже одобряющее преступления. И устанавливается ложный круг: вызванные общественной борьбой худшие части общества с жаром отдаются соответствующей их низкому уровню нравственности общественной деятельности, деятельность же эта привлекает к себе еще худшие элементы общества".

Когда к отцу обратился тульский крестьянин, спрашивая: "Долго ли еще будут многомиллионные серые сермяги тащить перекувыркнутую телегу", отец говорил:

- Бросить ее надо, эту перекувыркнутую телегу, бросить, пусть кто хочет тащит ее. Кто будет воевать, работать на помещиков, сеять, пахать, работать на фабриках, если крестьяне и рабочие откажутся?

События девятого января глубоко взволновали отца. Он говорил о бессмысленности того, что было сделано, обвинял агитаторов.

- Царь не мог принять пятнадцать тысяч рабочих, этого могла не знать темная толпа, но не могли не знать те, которые вели ее.

"Преступление, совершенное в Петербурге, ужасно. Оно втройне отвратительно: тем, что правительство предписывает убивать народ, тем, что солдаты стреляют

в своих братьев, и тем, что нечестные агитаторы, ради собственных низких целей, ведут простой народ на смерть. Я не осуждаю народ, но у меня нет слов, чтобы выразить мое отвращение к тем, которые вводят его в обман".

Настроение было беспокойное, напряженное, говорили, что вот-вот вспыхнет революция, ждали беспорядков в Москве и других городах...

Я вернулась из Петербурга с тетенькой Татьяной Андреевной и с ее старшей дочерью. Мы привезли много новостей, рассказывали про то, что делалось в Москве и Петербурге. Отец с интересом, но с видимым страданием нас слушал.

Накануне, четвертого февраля, когда я была в Москве, послышался страшный взрыв. Все бросились к Кремлю. Говорили, что бомбой убит Сергей Александрович. Взрыв был настолько сильный, что не могли собрать тела великого князя, оно было разорвано на мелкие куски.

- Какой ужас! Какой ужас! - повторял отец, морщась от боли, когда я рассказывала, как в вагоне по дороге из Москвы студенты говорили, что убийство Сергея Александровича первый сигнал к началу революции. "Здорово сделано, чисто! Собаке собачья смерть!"

- Ах, Боже мой! - застонал отец. - Ну как не понять, что злобой, жестокостью они вызовут еще большие жестокости и конца этому не будет.

Тетенька с возмущением говорила о беспорядках на заводах, о забастовках, а отец делался все мрачнее и мрачнее.

Я рассказала, как Саша Берс* во время этих событий должен был вместе со своим Преображенским полком охранять мосты. Курсистка подошла к нему и начала его ругать. Она называла его палачом, жандармом, царским опричником. Саша терпеливо молчал. Тогда она плюнула в него. Не желая ее арестовывать, он нагнулся, приподнял ее на седло и отшлепал. Мне это казалось смешным.

- Ах, как можно, как можно смеяться, - сказал отец, нахмурившись, - ну что может быть ужаснее, чем эта взаимная злоба, рознь людей?

Говорили о том, как Лева был у царя, как царь был растроган делегацией рабочих.

- А кто уполномочил этих рабочих идти к царю? - спросил отец. - Они не имели никакого права говорить от лица многомиллионного народа.

А когда я добавила, что Лева хочет написать царю письмо и считает, что оно будет иметь важное значение, отец сказал:

- Как они все любят учить, как любят учить, а сами ничего не знают, своей жизни устроить не умеют! Лева воображает, что он напишет письмо царю и от этого судьба России изменится...

Все чаще и чаще запрашивали мнение отца о революции, задавая пустые, непродуманные вопросы. Не потрудившись познакомиться с его взглядами и схватив налету то, что им было на руку - отрицательное отношение к церкви и государству, - некоторые революционеры делали быстрое заключение, что Толстой человек их лагеря, и наивно ждали от него сочувствия.

Были и такие, которые, хорошо зная взгляды отца, затушевывали то, что им было не по сердцу и, желая употребить влияние Толстого в свою пользу, распространяли некоторые его произведения: "Мне неприятно, - говорил отец, что продается на улицах моя солдатская памятка. Я желал бы, чтобы мои мысли были приняты всецело, а не пользовались бы частью их для целей мне чуждых"*.

Когда отец старался оставаться в стороне - его осуждали.

"Меня причисляют к лагерю Каткова. В это время испытания надо сохранить свое я. Я за Бога и не за правительство, не за либералов. Люди пренебрегают той вещью, в которой одной они свободны: внутренней жизнью. Все делают планы, как осчастливить других, а про свою духовную жизнь забывают. Я живу в счастливых условиях отдаленности от этой борьбы и продолжаю именно в интересах освобождения людей сохранять и развивать свои мысли, которые позже, когда наступит время, будут полезны"**.

В мае было получено известие о поражении нашего флота. Много родственников и знакомых погибло. Тетенька Татьяна Андреевна уже оплакивала своего сына Васю, но он уцелел. Он продержался на воде около восьми часов. Японцы его выловили, и он несколько месяцев пробыл у них в плену.

В октябре пришло известие о бунте в Кронштадте. Затем вдруг смолкли на железной дороге свистки, точно в волшебной сказке сразу прекратилось движение, все поезда - товарные, пассажирские - остановились, и было в этом что-то жуткое и волнующее. Растерянные пассажиры бродили около Козловки*. К станции

потянулись вереницы баб с узелками, смекнув, что можно воспользоваться случаем, они втридорога продавали молоко, масло, яйца.

В это время к нам заехал брат Миша. Его жена должна была родить, и он спешил в Москву. Не дожидаясь конца железнодорожной забастовки, он нанял лошадей и поехал. Из Серпухова он позвонил в Москву. В Москве шла стрельба, строились баррикады.

- Лина что? - спросил брат.

- Дуплет! - ответил ему товарищ.

- Лина, жена что? - допытывался брат, думая, что тот говорит о стрельбе.

- Ведь я ж тебе говорю - дуплет! Понимаешь? Двойня, двойня! Благополучно родились под аккомпанемент выстрелов - мальчик и девочка...

Я была в Туле в день объявления конституции. По Киевской** нельзя было проехать, она была заполнена народом. Шли бесконечные толпы, слышались крики ура, усиленные наряды полиции поддерживали порядок, и непонятно было, то ли радуются дарованной конституции, то ли вот-вот вспыхнут беспорядки...

Весной начались выборы в Государственную думу. Неожиданно для всех был выбран Михаил Сергеевич Сухотин. Несколько лет тому назад он был предводителем дворянства в Новосильском уезде, но затем совершенно отошел от общественной деятельности, и казалось непонятным, почему выбрали именно его.

Таня с дочкой жила у нас, и мы все с нетерпением ждали приездов Михаила Сергеевича из Петербурга.

Никто не умел так рассказывать, как он, - живо, интересно, остроумно. Черносотенные типы, представители рабочей партии в расшитых косоворотках, с их непримиримостью, наглостью, как живые вставали перед нами...

- Какой отвратительный тип образуется из рабочего, - с грустью говорил отец, слушая эти рассказы, и все больше утверждаясь в мнении, что из Думы ничего не выйдет, - какое безумие, какой ужасный грех словоговорения! И на эти бесполезные пререкания, шутовство, злобные выкрики тратятся миллионы народных денег!

Михаил Сергеевич не возражал, только добродушно посмеивался, в глубине души соглашаясь с отцом. Но брат Сергей всегда с ним спорил, убежденный в том, что от перемены правительства зависит благоденствие России. Иногда споры между отцом и братом доходили до обоюдного раздражения.

- Ты вот говоришь конституция, N.N. за неограниченную монархию, революционеры - за социализм, и вы все думаете, что можете устроить судьбу народа. А я уверяю тебя, что только тогда, когда каждый человек будет стремиться сам жить хорошо, не вмешиваясь в жизнь другого, только тогда жизнь людей улучшится.

- Но ведь надо же как-то ограничить власть. Ведь сам же ты ужасаешься, что правительство сажает в тюрьмы, расстреливает...

- И будет продолжать то же делать. Дело не в форме...

Один раз Михаил Сергеевич рассказывал, как во время перерыва депутаты собрались в Таврическом саду. Сторожа косили траву. Несколько человек левых взяли у них косы.

- Ну, давайте, кто кого! - крикнул Стахович, сбрасывая пиджак и берясь за косу.

И как пошел Стахович махать, ни один социалист за ним не поспевает, вспотели, запарились, а остальные депутаты и сторожа смеются:

- Ну куда им, они ведь представители от крестьян!

- Ведь это поразительно, - сквозь смех воскликнул отец, - поразительно! Ну разве это крестьяне? Ведь это случайно попавший сброд, который берется решать судьбу русского народа. Ни один настоящий, порядочный крестьянин никогда не будет заниматься политикой - это ему чуждо, противно!

Иногда отец читал газеты, следя за политическими событиями, иногда месяцами не прикасался к ним. "Газеты хуже дурмана, хуже папирос, вот на газетах ясно виден вред цивилизации, - говорил он. - Каждый день громадные листы бумаги заполняются всякой чепухой. Печатают ненужную, преступную болтовню в Думе, шутовские выкрики, злобные речи левых, друг на друга нападают, оправдывают преступления, убийства".

Иногда, выходя в залу, он заставал разговоры о политике и невольно принимал в них участие, но спохватывался и быстро уходил к себе.

Думой отец заинтересовался гораздо позднее и на короткое время, когда ему пришла в голову мысль о

проведении системы единого налога Генри Джорджа. Отец обратился по этому поводу к В.А.Маклакову.

- Вчера вечером говорил с Маклаковым, - сказал он, - о проведении системы Генри Джорджа через Государственную думу.

- Ну и что же?

- Да он мне ответил так неопределенно, я думаю, что ничего не выйдет. Главное, что он сам в это не верит...

Действительно, Маклаков сказал отцу, что этой реформы провести нельзя.

В другой раз отец говорил об этом с депутатом Думы Челышевым, который приезжал поговорить с отцом о борьбе против пьянства. Но и Челышев подтвердил мнение Маклакова. Этим кончился интерес отца к Думе.

Он писал свою статью "Единое на потребу". Он призывал к прекращению насилия, убийства и злобы, но какое могли иметь значение его слова?

Люди были заняты крупными политическими и общественными делами, устраивая судьбы русского народа. Какими наивными казались мечты о проведении закона о едином налоге, с какой иронией они относились к идее о непротивлении злу насилием!

Я часто спрашиваю себя, сдерживал ли тогда отец хоть отчасти разыгрывающиеся кровавые события своими постоянными обращениями к правительству и к революционерам? И имел ли бы его голос значение теперь, когда в России пролилось и продолжает проливаться столько невинной крови?

Рождение Танечки. Моя школа. Душан Петрович

В ноябре 1905 года у нас в семье произошло важное событие. У Тани родилась дочь. Сестра только что вернулась из Швейцарии, где она лечилась в санатории, и, может, поэтому ребенок родился живым.

Утром я зашла в девичью. У окна сидела и шила няня, многозначительно поджав губы, а по комнате взад и вперед ходила сестра. Лицо у нее было сосредоточенное, возбужденное, изредка около рта пробегала легкая судорога.

- Таня! - воскликнула я. - Началось?

И не успела кончить, как поняла, что не надо было спрашивать.

Таня с упреком посмотрела на меня.

Из своей комнаты я слышала, как она ушла к себе "под своды"*, как следом за ней прошла акушерка. В доме все сосредоточенно и молчаливо ждали. Прошел час, может быть, полтора, я вертелась внизу у дверей Таниной комнаты, и вдруг кто-то сказал:

- У Татьяны Львовны дочка родилась!

Я побежала к отцу, а он, точно почувствовав, уже спускался с лестницы. Ему не работалось в этот день.

- Пап?, у Тани дочка родилась!

- Чего же ты, глупая, плачешь? - сказал он и пошел обратно, сморкаясь и утирая слезы.

А вечером, когда я доставала ему с полки книги, он вдруг сказал:

- Почему Мария?

- Что?

- Почему они Марией хотят назвать? Мария, Мария Михайловна, - первая жена Михаила Сергеевича. Уж пусть лучше назовут Татьяной...

Началась новая забота. Танечка была плохенькая, худенькая девочка, как цыпленок-позднышек, чуть ли не с самого рождения страдала поносами, и было так жутко за эту едва теплившуюся жизнь, появившуюся на свет Божий после стольких лет бесплодного, мучительного ожидания. Маленькое, сморщенное существо сразу заняло большое место в нашем доме. Бабушка проводила много времени с ней. Низко, низко склонившись над внучкой, она беспокойными, близорукими глазами подолгу смотрела на нее.

Таня зимой жила у нас в Ясной Поляне. Михаилу Сергеевичу было предписано на самые холодные, зимние месяцы уезжать в теплые края.

На этот раз я поехала с ним и с Оболенским в Рим. И как ни странно, больше всех побуждал меня к этой поездке отец. Он, должно быть, видел, что я временами тосковала, что все, кроме работы для него, казалось мне постылым, скучным. Но и заграница мне не помогла, недаром отец всегда говорил, что от себя не убежишь. Скучно, тоскливо - ищи причины в самом себе.

Приступы тоски повторялись. В такие минуты мне всегда хотелось музыки. Уйдешь в свою комнату, затворишься и поешь песни под гитару, и кажется, что душа твоя оголилась, услышит кто-нибудь - станет стыдно. Иногда я играла на фортепиано, но редко. Концерты в четыре руки навсегда отвратили меня от дилетантского исполнения классиков. Было только две прелюдии Шопена, которые я знала.

Помню, раз после обеда все ушли гулять. Наверху никого не было. Окна в зале были отворены, и слышно было, как, кружась со свистом, под карнизами пролетали ласточки и стрижи. Я вошла в залу и, по сохранившейся еще с детства привычке, как на коньках разогналась по скользкому паркету к желтой этажерке в углу, достала ноты в рябеньком переплете и села за фортепиано.

Было ощущение блаженства в одиночестве, в звуках фортепиано, я чувствовала, как пела у меня мелодия в левой руке и неясные, заманчивые мечты рождались в голове.

- Ах, это ты, Саша? А я шел и думал, кто это так славно Шопена играет.

Я вздрогнула, почему-то ужасно смутилась и покраснела.

- Тебе бы надо учиться, - сказал отец, - у тебя большие способности. Я поговорю с Гольденвейзером.

Я начала учиться музыке. Первое время добросовестно, часами барабанила гаммы, экзерсисы, аккуратно ездила брать уроки к Гольденвейзеру в Телятинки*, а зимой два раза в месяц в Москву, но постепенно музыка превратилась для меня во что-то необычайно скучное и нудное. Я чувствовала, как своими руками убивала разучиваемые мною незначительные вещи Моцарта, Грига, Баха. Внимание моего учителя сосредоточивалось на технике и точности исполнения. Выученные мною вещи погибали для меня навеки, я начинала их ненавидеть. Кроме того, от усиленных упражнений и работы на машинке у меня стали болеть и пухнуть руки. Я бросила музыку. Другие занятия отвлекли меня.

В Ясной Поляне была очень плохая церковно-приходская школа. В 1891 году сестры учили ребят в так называемой каменке - сторожке рядом со старинными въездными воротами. Еще семилетней девочкой я бегала туда учиться. Но Тульский губернатор Зиновьев предупредил сестер, что, если они не перестанут учить крестьянских детей, ему придется по долгу службы официально закрыть эту школу.

И вот, точно в противовес влиянию Толстого, в нашем уезде открыли целый ряд церковно-приходских школ, очень плохих как в смысле помещения, так и в смысле преподавания. В Ясной Поляне было построено маленькое, в одну комнату, училище с нелепо торчащей посередине унтермарковской печью, низкими потолками и маленькими окнами. Комната эта вмещала с большим трудом тридцать, сорок человек, и крестьяне в первую очередь посылали учиться мальчиков, считая, что грамота им нужнее, чем девочкам, да кроме того окончание училища давало льготу при отбывании воинской повинности.

Учитель обычно был духовного звания, окончивший четырехклассное училище. Крестьяне жаловались, что школа плохая, что ребят бьют, на горюх в угол ставят, а толку ничего нет - ни читать, ни писать, ни считать как следует не умеют. И вот, у меня возникла мысль самой учить девочек. Я устроила школу в бывшей мастерской сестры, где она когда-то вместе с "дедушкой Ге" и Репиным занимались живописью.

У меня набралось 20-25 девочек. Широкими планами я не задавалась. Мне хотелось их выучить чтению, письму и счету. В то время у нас почти все бабы были неграмотные.

Встанешь рано утром, напьешься кофе и бежишь. Девочки меня уже ждут. Затапливаем печку и садимся заниматься.

Один раз я иду в школу, а навстречу мне отец.

- Ты куда?

- В школу.

- А бывает так, что тебе трудно рано встать, трудно заставить себя заниматься, не хочется, надоело?

- Нет, - не подумав, ответила я. Но в следующую минуту его мысль дошла до моего сознания. - Да, иногда не хочется, приходится себя заставлять...

- Ага! Если так, то это хорошо. Это признак того, что это настоящее дело, не баловство, не игрушки. Ну иди, иди, - улыбаясь и кивая, сказал он и пошел дальше.

Мне бывало иногда трудно с моими девчатами. Я не знала учительского дела, действовала по собственному разумению, и бывали дни, когда я не могла с ними справиться. Меня не пугали их шалости, смех, подсаживание, больше всего я боялась, когда в класс закрадывалась скука. Зевнет одна, другая, постепенно заражаются все, грызут карандаши, болтают ногами, отвечают глупости, глаза делаются сонными, тупыми...

Один раз в такую минуту вошел отец. Он быстро окинул взглядом девчат, и мне показалось, что он уловил настроение. Девочки поздоровались с ним, сели на места и с любопытством на него поглядывали.

- Что у вас.

- Арифметика.

Я подвинула отцу задачник.

- Это что? Задачник? Не нужно. Ну, слушайте! По Воронке* паслось стадо: 60 коров да 32 овцы. Стерегли стадо: пастух да два подпаса. Сколько у всех было ног?

Одна задача сменялась другой. Девочки проснулись, отвечали наперебой. Стало вдруг шумно, весело, ребята мои точно переродились.

На прощание отец похвалил девочек:

- Ну, молодцы! Считаете хорошо!

Заходил он ко мне в школу не раз. Девочки привыкли к нему, а кто посмелее, кричали:

- Заходи к нам, Лев Николаич!

На масленице он сказал:

- Ты бы блины своим девочкам устроила. Вот, когда у меня школа была, мы блины пекли, а потом запрягли лошадей да кататься поехали. Ребятам это очень понравилось.

Я послушалась его. Кухарка Матрена навела нам целую дежу блинов. Пришли девочки, нарядные, в новых сарафанчиках, волосы гладко причесаны и чувствовали себя совсем не так, как в школе, - конфузились, жеманничали, от блинов отказывались.

В то время у нас гостил Александр Никифорович Дунаев. Мы с ним пекли по очереди. Сняв пиджак, потный, красный, Никифорович ловко орудовал ухватом, сажая и вынимая румяные блины из печки. Девочки чинно сидели вокруг стола, на котором стояли селедки, сметана, растопленное масло. Постепенно они разошлись и перестали стесняться.

- Ну-ка мне блинка-то! - кричали они, протягивая пустые тарелки. Ели руками, по которым стекали масло и

сметана, громко чавкая, молча и серьезно, точно дело делали.

На минуту зашел отец, постоял, посмотрел на них, улыбаясь, и пошел. А мы на нескольких санях поехали кататься.

Зимой приезжих у нас было гораздо меньше, чем летом. Я любила это время, когда мы оставались одни, если не считать прижившуюся у нас Юлию Ивановну и доктора. После Г. к нам на некоторое время вернулся Никитин, затем он снова уехал, и его заменил Григорий Моисеевич Беркенгейм - милый, добрый человек. Но и Беркенгейм недолго пробыл в Ясной Поляне, и у нас поселился Душан Петрович Маковицкий.

У себя на родине, в Чехословакии, он, вместе со своим другом Шкарваном, стоял во главе толстовского движения, переводил и издавал книги отца и не раз приезжал в Россию и в Ясную Поляну, чтобы с ним повидаться. Шкарван даже отказывался от воинской повинности и подвергался преследованиям.

Кажется, Маше пришла мысль попросить Душана Петровича остаться в Ясной Поляне. Он согласился. Съездил на родину, сообщил родным о своем решении, простился с ними и вернулся в Ясную Поляну, где и остался до конца жизни отца.

Про Душана Петровича отец говорил:

- Душан святой. Но так как настоящих святых не бывает, то Бог ему тоже послал недостаток - ненависть к евреям.

Действительно, доброе лицо Душана Петровича принимало упорное, злое выражение, когда говорили о евреях. Он любил "Новое время" и Меньшикова за то, что

он бранил евреев, и старался незаметно подложить отцу его статьи. Душан Петрович никогда ничего не покупал у евреев и осуждал меня, если я заходила в еврейские лавки.

- О, Александра Львовна, Александра Львовна! Стыдно, стыдно! - говорил он. - Ну почему покупать у еврея, ну почему? Почему не поддерживать своих, ведь евреи вас ненавидят, они же вам на шею сядут...

При Душане Петровиче оживилась амбулатория, пришедшая в некоторый упадок после отъезда Дмитрия Васильевича Никитина. Душан Петрович сейчас же установил правильный прием, без отказа ездил по больным.

Я было начала помогать ему, и на этот раз отец не возражал, но мне не нравились способы лечения Душана Петровича, мне всегда казалось, что он плохой врач, и я перестала ходить с ним в амбулаторию. Первое время больные не понимали его.

- На ком ряд? - кричал доктор. - На ком ряд?

Впоследствии он немножко научился русскому языку, но ударения в словах всегда делал неправильные и, так как мы смеялись над ним, он совсем перестал их делать, стараясь произносить слова без ударения. Лекарств Душан Петрович давал очень мало.

- Пр?шу д?вать побольше ш?колада, - говорил он бабе, когда та приводила малокровного ребенка. Баба смотрела на него с недоумением.

- Ты бы мне лекарства какого, капелек аль порошков.

- Пр?шу д?вать побольше ш?коладу... - настойчиво повторял Душан Петрович. Приходилось вступаться мне и объяснять, что баба не только никогда не ела шоколада, но и в глаза его не видала и что она не может покупать шоколад ребенку, это ей не по средствам.

Тогда Душан Петрович от рахита стал применять другое средство.

- К?рмите г?рохом, - говорил он. - Г?роховый суп в?рите!

- А как же порошочков-то, не дашь?

- Дальше! На ком ряд? - выкрикивал доктор, не обращая внимания на растерявшуюся бабу.

Один раз заболела крестьянка Марфа Кубарева, с семьей которой мы были очень дружны. Я пошла с Душаном Петровичем ее проведать. Марфа сильно кашляла. Он отсыпал ей доверова порошка и сказал:

- Пожалуйста, принимайте на кончике н?жа три раза в день.

Я попробовала убедить Душана Петровича, что надо развесить порошки, но он сказал:

- Н? надо, понимаете, на кончике н?жа.

Наутро за мной прибежала Марфина дочка, плачет.

- Чего ты?

- Да мамка все спить и спить, добудиться никак не можем.

Я побежала к ним в дом. Марфа крепко спала. Я разбудила ее, но она снова сейчас же заснула. Я побежала за Душаном Петровичем. Когда мы привели

бабу в чувство, я спросила, пила ли она лекарство, которое дал ей Душан Петрович.

- Да почесть всю выпила. Кто ее знает, я думала побольше выпью, скорее полегшает...

Доктор никак не мог приспособиться к некультурности русского крестьянства.

Однажды по дороге из амбулатории домой Душан Петрович мрачно сказал:

- Александра Львовна, я очень плохой человек! Очень плохой! Я сегодня опять нагрешил!

Я засмеялась. Сегодня в амбулаторию пришла женщина с чесоткой. Пока Душан Петрович готовил ей лекарство, она не переставая чесалась.

- Пр?шу не чесаться! - сказал он строго.

Но баба, забывшись, снова начала скрести больное место. Тогда Душан Петрович изо всей силы шлепнул ее по руке.

- Не буду, не буду, родимый, уж ты не серчай, свербит дюже... - говорила баба, ничуть не обижаясь на доктора.

Это было так нелепо, так смешно, что, выбежав в аптеку, я долго не могла успокоиться, хохотала до слез.

Если кто-нибудь в доме кашлял и просил совета Душана Петровича, он отказывался давать лекарство, а только говорил:

- Пр?шу л?жать, не г?ворить и не дышать пылью!

Когда Наташа Сухотина или я сидели за столом сгорбившись, он тихонько подходил, толкал в спину и говорил:

- Пожалуйста, прошу держаться по-ровнее!

Душан Петрович скоро сделался незаменимым в доме. Но не как врач. Когда кто-нибудь серьезно заболел, вызывали Никитина, Беркенгейма, Щуровского. Душан Петрович сделался необходимым, как помощник отцу. При составлении "Круга чтения" отцу приходилось перечитывать много книг, отмечая карандашом то, что должно было войти в сборник. Душан Петрович помнил, какие книги надо было достать из библиотеки, какие выписать. Помогал Душан Петрович и с посетителями, стараясь как врач отвлечь их от отца и как единомышленник разъясняя его взгляды. Иногда отец поручал ему отвечать на письма, что Душан Петрович делал охотно, хотя и весьма кратко. Но главная заслуга Душана Петровича состояла в том, что он был необычайно точным летописцем*.

Все, что он делал, он делал добросовестно, с каким-то тяжелым упорством. За отцом записывали многие: Гольденвейзер, Гусев, Булгаков, но никто не записывал так точно и так систематически и беспристрастно, как Душан Петрович. Я как сейчас вижу его напряженное, до жутости неподвижное и странное лицо, склоненную лысую, белую голову, опущенную в карман руку. В кармане у него были наготовлены маленькие, остро наточенные карандашики и крошеные твердые бумажки, которые он перелистывал ощупью. Он записывал, опустив руку в карман

Я не могла спокойно смотреть на его неподвижную, странную фигуру. Мне хотелось поддразнить его.

- Душан Петрович, я сейчас скажу пап?, что вы записываете...

- О! Александра Львовна! Пожалуйста не надо! О, пожалуйста!

- Сейчас скажу! Пап?! - кричала я через стол.

Душан Петрович поспешно выдергивал руку из кармана, краснел и с укором и мольбой смотрел на меня.

- Пап?! Душан Петрович... - тут я делала небольшую паузу, во время которой бедный доктор то краснел, то бледнел... - Душан Петрович сегодня 30 человек больных принял!

- Очень устали? - участливо спрашивал отец.

- Ничего, - говорил Душан Петрович с облегчением, - ничего, не устал.

Через некоторое время повторялось то же самое. Душан Петрович опускал руку в карман, глаза его делались стеклянными.

- Сейчас скажу, ей-богу скажу! - изводила я его.

Это было бы ужасно для Душана Петровича, который больше всего боялся, что отец заметит, что он за ним записывает.

Бывало, отец читал что-нибудь вслух. Как только он открывал книгу, Душан Петрович стремглав бежал вниз. Если чтение должно было, по его расчету, продолжаться семь минут, он заводил будильник на семь минут, ложился на кровать и моментально засыпал, как убитый. Через семь минут будильник звонил, Душан Петрович вскакивал, шел наверх и записывал отзывы отца о прочитанном.

Душан был малокровный, слабый, лицо бледное, ни кровинки, должно быть, он очень уставал. Утром прием, затем его звали к больным, приходилось иногда в телеге

или зимой в розвальнях делать десятки верст в холод, по плохим дорогам. Потом записи за отцом, разборка записей. Он работал с утра до вечера, и немудрено, что, стоило ему прилечь на кровать, как он уже засыпал. Он пользовался каждой свободной минуткой для того, чтобы успеть "ноги погреть", т.е. поспать. Кровать доктора стояла ногами к печке, и когда печка была натоплена, он действительно согревал назябшиеся за день в амбулатории и в далеких поездках ноги.

"Спишь, не грешишь!" - говорил Душан Петрович.

Болезнь мам?. Смерть Маши

Мам? давно уже жаловалась на тяжесть и боль внизу живота. В августе 1906 года она слегла в постель. У нее начались сильные боли, поднялась температура. Вызвали хирурга из Тулы, определившего вместе с Душаном Петровичем опухоль в матке.

Сестра Маша, Юлия Ивановна и я по очереди ухаживали за ней. Она ужасно страдала: металась по постели, вся в поту, громко стонала... Врачи говорили о необходимости операции и просили вызвать из Алексина профессора Снегирева. Известили Таню и братьев.

Снегирев приехал с ассистентами, фельдшерницей, инструментами и даже операционным столом.

Съехалась почти вся семья, и, как всегда бывает, когда соберется много молодых, сильных и праздных людей, несмотря на беспокойство и огорчение, они сразу наполнили дом шумом, суетой и оживлением, без конца разговаривали, пили, ели. Профессор Снегирев, тучный, добродушный и громогласный человек, требовал много к себе внимания. Книжечка Семена Николаевича перешла ко мне, и я старалась так же внимательно отнестись к

хозяйственным заботам, как делала бы мам?. Надо было уложить всех приехавших спать, всех накормить, распорядиться, чтобы зарезали кур, индеек, послать в Тулу за лекарством, за вином и рыбой (за стол садилось больше двадцати человек), разослать кучеров за приезжающими на станцию, в город - забот было много.

Но неожиданно наступило улучшение. Снегирев решил отложить операцию и уехал.

На другой день боли начались с новой силой, температура поднялась до сорока. Врачи сказали, что началось воспаление брюшины и что операцию необходимо делать немедленно. Снова приехал, вызванный срочной телеграммой, Снегирев.

Отец постоянно заходил в комнату мам? и выходил оттуда растроганный, умиленный. В дневнике он в это время записал:

"Болезнь С[они] все хуже. Ныне почувствовал особенную жалость. Но она трогательно разумна, правдива и добра. Больше ни о чем не хочу писать. Три сына - С[ергей], А[ндрей] и М[ихаил] - здесь и две дочери, М[аша] и С[аша]. Полон дом докторов. Это тяжело: вместо преданности воле Бога и настроения религиозно-торжественного - мелочно непокорное, эгоистическое. Хорошо думалось и чувствовалось. Благодарю Бога. Я не живу и не живет весь мир во времени, но раскрывается неподвижный, но прежде недоступный мне мир во времени. Как легче и понятнее так. И как смерть при таком взгляде - не прекращение чего-то, а полное раскрытие".

С громадным терпением и кротостью мам? переносила болезнь. Чем сильнее были физические страдания, тем она делалась мягче и светлее. Она не

жаловалась, не роптала на судьбу, ничего не требовала и только всех благодарила, всем говорила что-нибудь ласковое. Почувствовав приближение смерти, она смирилась, и все мирское, суетное отлетело от нее. Отец видел это и плакал не от горя, а от радости. Он видел "не прекращение чего-то, а полное раскрытие".

- Прощения у меня просила, - говорил он, всхлипывая, - и духовно так хороша, так хороша...

Готовились к операции: Снегирев, три ассистента и Душан Петрович. Снегирев волновался. Делать операцию, когда началось уже воспаление брюшины, в домашней обстановке, без всяких приспособлений, было действительно рискованно. По его просьбе из Петербурга вызвали профессора Феноменова, но ждать его дольше было нельзя.

Снегирев обратился к отцу, спрашивая, согласен ли он на операцию. Отец ответил, что по его мнению операцию делать не надо.

- Но ведь если не делать операцию, Софья Андреевна умрет! - возразил профессор.

- Делайте, как хотите! - сказал отец.

Снегирева поразил ответ отца, братья возмутились, но никто не понял, что для отца было важно одно - что мам? живет, "раскрывается"...

Перед операцией мам? просила позвать священника, исповедовалась, причащалась, прощалась со всеми, просила прощения у детей, у служащих. Каждому она старалась сказать что-нибудь ласковое, многие выходили от нее в слезах.

Когда началась операция, отец ушел в Чепыж и просил, если будет благополучно - позвонить в колокол два раза, если нет - один раз.

С лестницы в открытую дверь я видела все, что происходило. Посреди стоял операционный стол, пол был залит водой, шепотом переговариваясь между собой тихо двигались врачи, в белых халатах, пронесли мам? и затворили дверь. Я слышала, как она стонала, затем затихла. Раздавался только громкий голос профессора, сначала спокойный, затем все более и более нервный и раздраженный. Вдруг посыпалась скверная, неприличная ругань...

- Ах ты немецкая морда... Сукин сын! Немец проклятый!..

Кетгут, которым Снегирев зашивал рану, рвался на швах, и он ругал поставщика немца.

Мне казалось, что прошло много, много времени, что конца этому не будет, как вдруг с шумом распахнулась дверь и из комнаты выскочил багрово-красный, потный профессор. На него накинули что-то теплое, повели вниз, пронесли за ним бутылку шампанского.

Операция прошла благополучно. Я побежала в Чепыж и увидела отца на лужайке между дубами.

- Пап?, благополучно! - крикнула я.

- Хорошо, хорошо!

Я поняла, что он хочет быть один. Возвращаясь, я встретила Машу и Илью, они шли к отцу. А дома застала врачей, рассматривающих громадную кисту, величиной в детскую голову. Когда ее вынимали - она лопнула.

Я зашла к Снегиреву, он лежал в постели, покрытый теплыми одеялами, и маленькими глотками пил холодное шампанское. Он казался совершенно спокойным, шутил, улыбался, но про операцию говорить не стал, - уклонился.

К матери долго никого, кроме отца, не пускали. За ней ходила вызванная из Тулы сиделка. Приезжали доктора Никитин и Беркенгейм помочь Душану Петровичу ходить за больной. Постепенно она поправлялась и крепла. Только кетгут "проклятого немца" сделал то, что местами внутренние швы разошлись и у матери сделалась грыжа.

Снегирев часто писал мне ласковые письма, спрашивая о здоровье матери. В письмах он по-стариковски нежно называл меня "голубка", "родная". Но переписка продолжалась недолго. Случайно одно из писем попало отцу. Оно не понравилось ему, и он просил меня больше не писать профессору.

А потом жизнь пошла по-прежнему. Таня переехала во флигель со своей маленькой, все еще плохенькой девочкой и пасынками Наташей и Дориком. Часто приезжал Андрюша. Он отдал свое имение Таптыково жене Ольге Константиновне и детям. Одинокому, запутавшемуся, ему негде было преклонить голову.

Мам? возобновила свои занятия: играла на фортепиано одна и с Наташей Сухотиной в четыре руки, шила, суежилась по дому, иногда уезжала в Москву. Материальные дела снова затянули ее. Снова начались заботы о хозяйстве, издательстве, о том, что всегда так тяжело отражалось на жизни отца.

Иногда отец с умилением вспоминал, как прекрасно мам? переносила страдания, как она была ласкова, добра со всеми.

Во второй раз в моей жизни, как это было после смерти Ванечки, я видела, как открылось окошечко, хлынул свет, осветивший нашу жизнь... и снова оно захлопнулось...

В холодный ноябрьский день Маша, Коля, Андрюша и Юлия Ивановна ходили гулять. Около Воронки они видели лисицу. Когда они возвращались, навстречу дул сильный ветер и Маша прозябла. К вечеру у нее сделался озноб, жар. Долго не могли понять, что с ней. Вызвали из Тулы военного доктора Афанасьева, которому особенно доверял Коля. Болезнь развивалась с молниеносной быстротой. Жар был настолько сильный, что Маша почти не приходила в сознание. Приехавший из Москвы доктор Щуровский определил крупозное воспаление в легких. По очереди: Коля, Юлия Ивановна и я ухаживали за ней. Она не могла говорить, только слабо по-детски стонала. На худых щеках горел румянец, от слабости она не могла перевернуться, должно быть, все тело у нее болело. Когда ставили компрессы, поднимали ее повыше или поворачивали с боку на бок, лицо ее мучительно морщилось, и стоны делались сильнее. Один раз я как-то неловко взялась и сделала ей больно, она вскрикнула и с упреком посмотрела на меня. И долго спустя, вспоминая ее крик, я не могла простить себе неловкого движения.

Маша угасала. Глядя на нее, я вспоминала Ванечку, на которого она теперь была особенно похожа. Точно так же бурная, беспощадная болезнь быстро уносила ее, и было очевидно, что бороться бесполезно. Лицо у Маши было важное и чуждое, только тело ее оставалось с

нами, душа как будто отлетела. И так же, как когда умирал Ванечка, мне казалось, что она знает что-то нам недоступное, значительное.

Тихо, беззвучно входил отец, брал ее руку, целовал в лоб. А мы с Колей не смотрели друг на друга, не разговаривали.

Так продолжалось девять дней. Худыми, прозрачными пальцами она перебирала одеяло, пульс слабел. И вдруг появился пот, которого мы тщетно ждали несколько дней. На меня напала ни на чем не основанная, глупая, бессмысленная надежда. Толстый военный доктор сидел в комнате у Душана Петровича на кровати, закрыв лицо рукой.

- Доктор! - крикнула я. - Доктор! Пот! Она потеет!

Доктор безнадежно махнул рукой.

- Пот, да не тот! - не поднимая головы, буркнул он.

Все вошли в комнату. Отец сел у кровати и взял Машу за руку. Чуть светила загороженная лампа. Было тихо, все молчали, только слышалось угасающее дыхание Маши. Оно становилось все реже, реже, стало прерываться и затихло. У окна глухо рыдал Коля.

"26 ноября. Сейчас час ночи, - пишет отец в дневнике. - Скончалась Маша. Странное дело, я не испытывал ни ужаса, ни страха, ни сознания совершающегося чего-то исключительного, ни даже жалости, горя. Я как будто считал нужным вызвать в себе особенное чувство умиления, горя и вызвал его, но в глубине души я был более покоен, чем при поступке чужом, не говорю уже своем, нехорошем, не должном. Да, это событие в области телесной, и потому безразличное. Смотрел я все время на нее, когда она

умирала - удивительно спокойно. Для меня она была раскрывающееся перед моим раскрыванием существо. Я следил за его раскрыванием, и оно радостно было мне. Но вот раскрывание это в доступной мне области прекратилось, т.е. мне перестало быть видно это раскрывание; но то, что раскрывалось, то есть. Где? Когда? Это вопросы, относящиеся к процессу раскрывания здесь и не могущие быть отнесены к истинной, внепространственной и вневременной жизни".

Как узнали на деревне, что умерла Мария Львовна - заголосили бабы, прибежали к дому, старушки просились посидеть около ее тела. Иные выли по обычаю с причитаниями, иные фартуками вытирали сердечные, искренние слезы. Бабы шепотом переговаривались, вспоминая, что она кому сделала: кого лечила, для кого в поле работала, кому слово ласковое сказала. Они, попеременно, сидели день и ночь у Машиного гроба до самых похорон. А когда ее понесли по деревне*, из изб выбегали мужики, бабы, клали медные деньги в руку священника и заказывали панихиду

Отец проводил гроб до ворот и пошел домой. Никто не решился пойти за ним, говорить слова утешения...

"Живу и часто вспоминаю последние минуты Маши (не хочется называть ее Машей, так не идет это простое имя тому существу, которое ушло от меня). Она сидит, обложенная подушками, я держу ее худую, милую руку и чувствую, как уходит жизнь, как она уходит. Эти четверть часа - одно из самых важных, значительных времен моей жизни"**. .

Занятия с ребятами. Обморок

Дорик Сухотин, пасынок сестры Тани, был славный мальчик, кроткий, добрый, но слабовольный. Учился он плохо. Отец часто внимательно вглядывался в него.

- Ты, Дорик, молишься?

Дорик опускал свои большие черные глаза, краснел и шептал:

- Молюсь.

- А как ты молишься?

- Отче наш, Богородицу говорю...

- А своими словами не молишься?

Дорик конфузился и умолкал. Отец все чаще и чаще заговаривал с ним о молитве, жалости к животным, о Боге, и Дорик стал привыкать к таким разговорам.

С деревни к отцу приходили мальчики за книжками. Отец говорил с ними о прочитанном. Постепенно разговоры эти углублялись и перешли в постоянные занятия. В этих занятиях осуществилась идея отца о том, что главное в преподавании не формальные знания, не обучение письму и счету, а религиозно-нравственное воспитание. Из отдельных предметов они занимались только географией.

После нашего обеда, в начале восьмого часа, внизу в передней слышались хлопанье дверей, веселые, сдержанные голоса ребят. Отец торопился к себе в кабинет, собирал листочки, книжечки и, весело улыбаясь, шел вниз, в библиотеку. Обычно приходило человек восемь-десять, но бывали дни, когда набиралось их до двадцати. Такое количество ребят стесняло отца, занятия, которые он вел, требовали интимности. Самыми постоянными учениками были четверо: Дорик Сухотин,

Коля Ромашкин, Паша Резунов и Петя Воробьев. Отец любил их, особенно Колю и Пашу. Паша был вдумчивый мальчик, серьезно и внимательно воспринимал услышанное, если спрашивал, то всегда со смыслом, стараясь вникнуть, понять. Голубоглазый, веселый, привлекательный мальчуган Коля, с ямочками на щеках и на подбородке, был чуток, схватывал на лету, быстро загорался и так же быстро остывал. Все же на некоторое время влияние отца сказалось на нем. Еще мальчиком его отдали в кондитеры-ученики в г. Тулу. Он там не ел мяса, не пил, не курил, и товарищи прозвали его толстовцем.

Отец не мог заниматься с детьми при посторонних. Иногда, под влиянием настойчивых просьб, он уступал, но делал это с большой неохотой. К занятиям он готовился, записывал в дневнике или на листочке все, о чем намеревался говорить с ребятами.

"Для детского закона Божия записываю простые правила: 1) не осуждать, 2) не объедаться, 3) не разжигать похоти, 4) не одурманиваться, 5) не спорить, 6) не передавать недоброго о людях, 7) не лениться, 8) не лгать, 9) не отнимать силой, 10) не мучить животных, 11) жалеть чужую работу, 12) обходиться добром со всяким, 13) старых людей уважать".

17 марта 1907 года отец записал: "За это время был занят только детскими уроками. Что дальше иду, то вижу б?льшую и б?льшую трудность дела и вместе с тем б?льшую надежду успеха. Все, что до сих пор сделал, вряд ли годится. Вчера разделил на два класса: нынче с меньшим классом обдумывал".

Отец не только занимался с ребятами религиозно-нравственными вопросами, он постоянно

задумывался о моральном воспитании детей вообще. Написав "Учение Христа, изложенное для детей", он решил составить "Детский Круг Чтения", и на своих ребятах примеривал, какие мысли могли быть наиболее им понятны:

"Зачем живешь? Чтобы быть счастливым. Как быть счастливым? Чтобы все, живя так, были счастливы", - писал он в дневник.

Все нечистое, дурное в детях ужасно огорчало отца. Помню, пришел он с прогулки расстроенный, взволнованный, лицо его потемнело, осунулось. Я думала, что он заболел.

- Ведь это ужас какой-то! - воскликнул он. - Ужас! Я иду, утро такое чудесное, птицы поют, запах клевера... И вдруг скверные, бессмысленные ругательства! Подхожу ближе... За акацией сидят маленькие ребята, лошадей стерегут и так скверно, грязно ругаются и курят. Я заплакал... Я сказал им, что это нехорошо. Ну, да этим разве поможешь?

Мать скептически относилась к занятиям отца.

- У Льва Николаевича новое увлечение, - говорила она снисходительно, задалбливает с ребятами какие-то христианские истины. Они повторяют наизусть, как попугаи, а он уверен, что у них что-нибудь останется.

А когда отец с восторгом рассказывал, как ребята прекрасно усваивают учение Христа, она говорила:

- Все равно все пьяницами и ворами будут.

Отец умолкал.

В то время мать увлекалась новым делом - организацией хранилища для реликвий и рукописей отца.

Все рукописи она перевезла в Московский Исторический музей и теперь продолжала с ревнивым увлечением собирать все, что только находила в шкафах, в старых диванах и ящиках.

В людях, окружавших отца, мать подозревала корыстные замыслы и изо всех сил старалась оградить интересы семьи. Она сердилась на Сергеенко, собиравшегося издать хрестоматию из сочинений отца и не только отказала ему, но написала письмо в газеты, где подтверждала свои права на издания сочинений до 80-го года.

Отец ходил мрачнее тучи, стараясь не слушать разговоров о внуках, которые пойдут по миру, о рукописях, которые он желал бы все отдать Черткову...

- Лев Николаевич не в духе сегодня, - говорила мать, - это всегда у него бывает, когда печень не в порядке.

Она не понимала, что отца расстраивали разговоры об издании.

В январе 1908 года в Ясную Поляну приехал Сергей Иванович Танеев. Вечером собрались у меня в комнате: Танеев, старушка Шмидт, мам?, Варвара Михайловна*. Мам? была оживлена, большие глаза горели, все движения ее были нервны, неуверенны. Мне казалось, что она придавала странное, преувеличенное значение всему, что говорила. Мария Александровна, как всегда, старалась все сгладить, не замечая неприятного, фальшивого, подчеркивая все хорошее.

Я смотрела на Танеева. Он был как всегда весел, добродушно хихикал, не замечая напряженного состояния матери.

- Я поиграю вам, - сказал он, - хотите?

- Хотим, очень хотим! Пожалуйста! - ответили мы все хором.

Не помню, что играл Сергей Иванович, только помню, что, когда он заиграл "Песню без слов" Мендельсона, мам? вдруг неожиданно громко зарыдала.

Танеев встал из-за фортепиано и ходил по комнате, потирая руки. Всем было неловко. Только Мария Александровна сочувственно воскликнула:

- Душенька, Софья Александровна! Что это с вами?

Я смотрела на мать. Голова ее тряслась. Несмотря на черные волосы, на прекрасный цвет лица, она была старухой, ей было шестьдесят три года. Мне стало ее бесконечно жалко, и чувство это, смешанное с чувством неловкости, было невыносимо тяжело. Резким движением я встала.

- Спасибо, Сергей Иванович, - сказала я. - Пойдемте наверх!

В феврале Сергей Иванович снова приехал. Отец всегда был с ним преувеличенно ласков и любезен, играл в шахматы, слушал его музыку, восхищался ею, рассказывал ему про свои работы.

В этот раз одновременно с Танеевым у нас гостила Софья Александровна Стахович. Я любила ее. Веселая, остроумная, прекрасный знаток литературы, она всегда вносила оживление в наш дом. Учения отца она не понимала и не сочувствовала ему, но не было, кажется, больших ценителей его художественных произведений, чем Стаховичи. "Войну и мир" Софья Александровна знала почти наизусть.

Помню случай, который всех нас очень насмешил. Софья Александровна в зале читала вслух отрывок из "Войны и мира". Отец вошел в залу и остановился в дверях, заткнув как всегда руки за пояс. Когда Софья Александровна замолчала, отец спросил:

- Что это вы читали? Недурно написано!

- Неужели вы не узнаете, это же "Война и мир", - воскликнула Софья Александровна.

- А-а! - отец разочарованно махнул рукой и вышел из комнаты.

В этот свой приезд Софья Александровна как всегда всех развеселила. Днем поехали кататься. В первых санях я за кучера везла Танеева. Он радовался, как ребенок, хохотал и на ухабах, не стараясь удерживать равновесие, как куль валился в снег.

- Это бог знает что такое! - кричала мне Софья Александровна с задних саней. - Ты, Саша, совсем не умеешь пгавить!

- Тпрру! - закричала я, натягивая вожжи. - Вы меня оскорбили, Софья Александровна! Садитесь, пожалуйста, на мое место за кучера!

Мы переменились местами и поехали дальше. Я все поглядывала на передние сани. Ухаб, раскат, сани накренились. В тонкой, гибкой фигуре Софьи Александровны видно страшное напряжение, она силится своим легким телом перевесить сани в обратную сторону. Но напрасно. Сергей Иванович грузно клонится вместе с санями в ухаб.

- Ах! - вскрикивает Софья Александровна, останавливая лошадь в то время, как Сергей Иванович уже барахтается в снегу, беззвучно сотрясаясь от смеха.

- Ага! - кричу я с торжеством. - Ага! Кто же плохой кучер?!

Когда мы вернулись домой, Софья Александровна все возмущалась:

- Да это мешок какой-то! Бгевно! Я кгичу ему: кгонитесь впгаво, кгонитесь впгаво! А он только хохочет и валится в снег.

Но несмотря на внешнее веселье, настроение было напряженное, тяжелое. Мам? все просила Сергея Ивановича сыграть ей "Песню без слов", придавая этому опять какое-то таинственное значение, вызывавшее чувство неловкости во всех присутствующих и в самом Сергее Ивановиче.

В записной книжке мам? от 22 февраля 1908 года есть такая запись: "День праздника сердца. Ездили кататься. Ох, эта "Песня без слов"!

В эту весну мам? была занята писанием повести под названием "Песня без слов". Она дала прочитать ее отцу и удивилась, что повесть ему не понравилась.

Безграмотные, глупые приказчики все больше и больше озлобляли крестьян. Не умея извлекать доходов из самого хозяйства, поставленного плохо, они стремились увеличить арендную плату за землю; вместо того, чтобы держать в порядке изгороди, они загоняли крестьянский скот из парка, сада, огородов, беря с крестьян большие штрафы за потравы; лес охранялся небрежно, сторожа были плохие, участились порубки лесов. Злоба между усадьбой и крестьянством

разгоралась все сильнее и сильнее. Крестьянские ребята озорничали, залезали в огороды, парники, даже амбары и подвалы. Приказчик и садовник приходили жаловаться к мам?.

- Нельзя с этим народом мирно жить, - говорили они, - сладу с ним нету. Надо либо черкесов, либо стражников взять.

Повлиял и пример соседки Звегинцевой, поместившей у себя на усадьбе полицейский стан и окружившей себя целым лагерем черкесов и стражников. Один раз после стычки садовника с крестьянскими ребятами, где кто-то в кого-то стрелял, мам?, посоветовавшись с братом Андреем, решила просить заступничества у губернатора.

Нечего и говорить о том, как тот был доволен! В Ясной Поляне, где живет человек, проповедующий непотворение злу насилем, потребовалась помощь властей. Они, разумеется, постарались сделать из мухи слона. Стычка на огороде была раздута чуть ли не в вооруженное нападение на имение Толстых. На деревню приехали тульские власти: губернатор, полицмейстер, исправник, пристав и проч. Напуганные крестьяне вышли встречать начальство с хлебом и солью. Многих крестьян арестовали и посадили в тюрьму.

А между отцом и матерью происходили тяжелые разговоры, которые не облегчали положения, не вносили успокоения, а создавали все б?льшую и б?льшую пропасть между родителями, наполняли горечью их души.

Морщась от боли, отец стремительно шел из кабинета через гостиную в залу. Ему мучительно хотелось прекратить разговор, поскорее уйти.

- Полно, полно, Соня, - говорил он. - Если ты не понимаешь, что жизнь со стражниками, которые хватают мужиков, арестовывают, сажают в тюрьмы, мне непереносима, - говорить бесполезно...

- Что ж ты хочешь, чтобы нас всех здесь перестреляли? - говорила мам?, быстрыми, нервными шагами поспевая за отцом. - Вчера стреляли в садовника, завтра будут стрелять в нас, все растащат...

- Ах ты Боже мой! Ну как же ты хочешь, чтобы я был спокоен. Ведь это ад, ад какой-то! Ведь нельзя хуже создать обстановку, чем ты мне создала... не могу я больше жить так в этой ужасающей злобе, которая каждый день растет вокруг нас... и подумать только, что у нас на усадьбе семь вооруженных людей.

- Ты отстранился от всего, тебе все равно, а что мне делать? Ведь нельзя же позволять бессовестно грабить...

Такие разговоры происходили почти ежедневно. Крестьяне, обиженные стражниками, искали заступничества у отца, отец обращался к матери.

Мне кажется, она не представляла себе всего ужаса его переживаний.

"Неприятный разговор с Львом Николаевичем из-за стражников, - пишет она в своей записной книжке, - мое положение безвыходное, я замурована нравственно и меня же бьют". И еще запись: "С утра неприятное отношение Льва Николаевича к стражникам".

"Приходит в голову сомнение, хорошо ли я делаю, что молчу, - прорывается у отца в записной книжке, - и даже не лучше ли было бы мне уйти, скрыться, как Буланже. Не делаю этого преимущественно потому, что это для себя, для того, чтобы избавиться от отравленной со всех сторон жизни. А я верю, что это перенесение этой жизни и нужно мне" (2 июля).

"Все так же мучительно, борюсь, но плохо борюсь! Жизнь здесь, в Ясной Поляне, вполне отравлена. Куда ни выйду - стыд и страдание" (3 июля).

И опять от 6 июля: "Помоги мне, Господи. Опять хочется уйти. И я не решаюсь, но и не отказываюсь. Главное, для себя ли я сделаю, если уйду. То, что я не для себя делаю, оставаясь, это я знаю. Надо думать с Богом. Так и буду".

Из семи стражников остались на усадьбе двое. В комнате, рядом с передней, поселился неуклюжий, широкий человек с револьвером на боку. Другой жил в людской. Они внесли запах дегтя, махорки и вообще чего-то нечистого, грубого...

В Гнумонте обнаружилась крупная кража леса - 129 дубов. Улики против крестьян были недостаточные. Все просили мать прекратить это дело. Крестьяне приходили к отцу за заступничеством. Он говорил с матерью, но она была неумолима.

"Неприятно, что земский начальник оправдал крестьян за порубку 129 дубов, - пишет мать в записной книжке, - и за неотработку. Подаю в съезд".

Сыновья, Андрей и Лев, поддерживали мать.

- Ну что ж тут делать, - говорил Лев, - или надо ничего не делать, от всего отстраниться, как сделал

пап?, или надо хозяйничать как следует. Нельзя же допускать, чтобы мужики все растаскивали.

Так как отец старался всегда защитить крестьян, просил мать, чтобы она прощала им штрафы, стражники враждебно относились к нему.

- Ну что же это, ваше сиятельство, - говорили они матери, которую считали настоящей "барыней" и уважали. - Что же это такое? Мы работаем, стараемся, отваживаем мужиков от воровства, а граф им прощает, повадку дает. Как вам будет угодно, так не годится...

Я негодовала, слушая такие разговоры. "Выгнать их отсюда! - думала я. Выгнать! Чтобы духу их не было в Ясной Поляне!"

А отец старался по-человечески подойти к стражникам, добраться до их души.

- Семья есть? - спрашивал он.

- Как же, есть: жена, двое детей, - оживлялся стражник.

- А зачем на такую нехорошую должность пошел? - продолжал расспрашивать отец.

- Есть, пить надо, - уклончиво отвечал стражник.

Помню, в последний год пребывания у нас стражников у меня вышла с ними большая неприятность. Отец в это время гостил у сестры Тани.

Стражники поймали на пруду крестьянина Ефима Орехова. Он сетью ловил рыбу. Большой пруд всегда считался у нас в общем владении с крестьянами. Сторона, примыкавшая к деревне, принадлежала крестьянам, к усадьбе - Толстым. Трудно, разумеется, решить, где ловил рыбу Ефим. Стражник его взял, отнял

сеть и привел в контору. Я застала такую картину: Ефим, мокрый, посиневший от холода, стоял перед стражником и просил вернуть ему сеть. Стражник ругался, кричал на него, тряс за плечо и замахнулся, чтобы ударить. В этот момент я вскрикнула:

- Что вы делаете? Как смеете драться!

- Что нужно, то и делаю, - нахально ответил мне стражник.

Все задрожало во мне. Глаза застелило туманом, дыхание сперло.

- Мерзавец! - крикнула я ему не своим голосом. - Немедленно отдайте сеть и отпустите крестьянина.

Стражник беспрекословно исполнил мои приказания, а я пошла объясняться с матерью.

Через несколько дней приехал исправник и потребовал, чтобы я извинилась перед стражником, так как я оскорбила его при исполнении служебных обязанностей. Я вспылила еще больше и написала письмо исправнику, что извиняться перед этим негодяем ни в коем случае не буду и прошу, если он считает нужным, возбудить против меня судебное дело.

На другой день я поехала к губернатору. Меня принял вице-губернатор Лопухин. Разговор был для меня в высшей степени мучителен. Когда я рассказала ему историю со стражником, он с иронической улыбкой заметил:

- Во всей Тульской губернии только в одном имении есть стражники, и это имение - Ясная Поляна!

- Так почему же вы не уберете их?! - воскликнула я.

- Почему? Мы хотели их взять...

- Ну и что же?

Лопухин смотрел на меня, посмеиваясь, с сознанием превосходства своего положения и, может быть, моей глупости.

- Когда мы хотели взять ваших стражников, графиня написала заявление, прося их оставить.

- Что вы говорите?

- Да.

Он показал мне заявление.

- Хорошие документы графиня оставляет в наших руках!

Я вернулась домой совершенно расстроенная и не могла сдержаться. Я долго и резко говорила с матерью, передала ей разговор с Лопухиным, говорила о том ужасном, недопустимом положении, в которое она ставит отца.

Пусть пропадет все, не только несколько дубов, а вся Ясная Поляна, все, все! Нельзя же ставить отца в такое положение!

- Напрасно вмешивалась, - сказал мне Лева. - Попала в глупое положение, и больше ничего. Нельзя позволять мужикам безобразничать на усадьбе!

- Одни неприятности и гадости от тебя, - говорила мать, - я прекрасно знаю, что тебе решительно все равно, если всю Ясную растащат. А я не имею права так рассуждать, у меня дети.

Два года пробыли у нас стражники. Кажется, только после этого случая мам? решила их заменить черкесом. Но положение от этого мало изменилось.

Как ни крепка была отцовская натура, постоянные волнения надломили ее.

В марте 1908 года у него был первый обморок. Он вдруг побледнел, зашатался. Гусев, бывший в комнате, хотел поддержать его, но не мог. И отец медленно сполз на пол. Он потерял сознание. Прибежали мать, Душан Петрович, отца привели в чувство. Но когда он очнулся, оказалось, что он ничего не помнит. Забыл, что был в доме, какие произошли события, потерял представление о времени.

С этого дня обмороки стали повторяться.

Отец

Когда я была подростком, я мало видела отца, мне кажется, все случаи, когда он говорил со мной, я знаю наперечет.

Помню, я расстелила карту полушарий в зале на паркете, и, лежа на животе и задрав ноги кверху, смотрела в нее и мечтала. Я старалась на месте синих пятен представить себе безбрежные океаны, вечный снег и лед на полюсах, я мысленно совершала кругосветное путешествие... Вдруг отец окликнул меня:

- Что это ты делаешь?

Я медленно опустила ноги и встала на коленки.

- Учю географию.

- А где же учебник? Так смысла не имеет...

Он не любил, когда дело смешивали с бездельем.

Как-то мне попался Козьма Прутков. Прежде чем читать книгу, я решила изучить помещенную перед текстом биографию писателя. Я только что прошла с учительницей краткую биографию Пушкина.

- Что это ты учишь?

- Биографию Козьмы Пруткова, - отвечала я с важностью.

- Что-о-о?!

- Биографию Козьмы...

- Ах, Боже мой! Да кто же тебе эту книжку дал? Да как же было не объяснить? Разве ты не знаешь, что это шутка? Ведь никакого Козьмы Пруткова не существовало. Это Алексей Толстой, Жемчужников... и он стал мне объяснять происхождение книги.

С каждым годом я подходила к нему все ближе и ближе.

- Дай-ка руку!

Я конфужусь, особенно, если руки не совсем чистые. Он долго рассматривает их с одной стороны, потом с другой.

- Средний палец кривой, - говорит он точно про себя.

- Что ж это значит?

Я знаю, что он придает большое значение рукам, мне хочется, чтобы он сказал что-нибудь, но он молчит. Я стараюсь незаметно поджать средний палец.

- Когда моешь руки, кожу около ногтей оттягивай полотенцем, зарастать не будут.

Мне смешно.

- Чего смеешься? Я серьезно говорю. А то некрасиво!

В одиннадцать лет мне дали очки. Случилось это так.

Я играла на фортепиано в зале, вошли сестры. Ноты я видела плохо, пюпитр выдвинула насколько возможно, руки на клавишах, а локти на аршин торчат из-за лопаток.

- Саша, что это ты так сидишь?

- А я не вижу!

Сестры сказали мам?, она повезла меня к профессору по глазным болезням, который определил астигматизм и большую близорукость. Мне дали очки. Помню, как я в первый раз, надев их, в звездную ночь вышла во двор. Я была поражена, увидав столько звезд. Для меня открылись новые горизонты и я не расставалась с очками.

- Сними очки! - говорил отец. - Нельзя же себя так уродовать!

Я покорно снимала их и погружалась в туман.

- Вот так лучше, - говорил он.

Бывало войдешь к нему. Он долго, пристально смотрит на меня, потом с грустью скажет:

- Боже мой! Как ты дурна! Как ты дурна!

Мне неприятны его слова, я деланно смеюсь. Он как будто это замечает.

- Ну ничего, ты не огорчайся, это не важно...

- Я не огорчаюсь, - говорю я не совсем искренне, - замуж никто не возьмет, так я и сама не собираюсь.

Каждый год я устраивала с деревенскими ребятами каток. Мы расчищали пруд от снега, я из Москвы привозила 30-40 пар коньков и начиналось веселье! Когда отец после завтрака уезжал верхом, я брала от него работу, а сама отправлялась на каток. Ребята подвязывали коньки, кто на валенки, кто на сапоги, кто на лапти и ждали. Я выбегала на лед и пускала муфту по гладкой, блестящей поверхности.

- Ребята, лови!

И вся орава за мной. Иногда ухвативший муфту не удерживался на ногах и летел кубарем, другие налетали и падали на него. Хохот, крик, веселье! А то в снежных стенах, образовавшихся вокруг катка, мы делали пещеры и вечером зажигали в них стеариновые огарки. Льетса, отражаясь на льду, мягкий, желтый свет, а мы радуемся.

- Эх, хороша люминация! - кричат ребята.

Возвращаясь с прогулки, отец спускался к пруду и смотрел на нас.

Помню, я как-то взяла его дневник переписывать и прочла: "Ходил на каток, Сашей любовался. Будешь переписывать, помни, что любоваться хочу в тебе такой же духовной энергией" (3 дек. 1909 г.).

Отец любил настоящее, хорошее веселье. Он часто шутя повторял:

- Трех вещей я боюсь: чтобы Андрюшка не развелся с Катей, чтобы не умерла Мария Александровна и чтобы Саша не перестала смеяться!

Бывало мы с Анночкой распоемся под гитары - откроется дверь. Если это была мам?, Чертков или еще кто-нибудь из старших, мы смущались, замолкали. Но если входил отец, мы останавливались только для того, чтобы спросить, не надо ли ему чего.

- Нет, нет, я так зашел к вам. Ну-ка, Анночка, у тебя это хорошо выходит!

Как под яблонкой под той,
Под кудрявой зеленой,
Под кудрявой, под зеленой,
Сидел молодец такой!

Отец улыбался, притопывал ногой.

Иногда он пристально, долго смотрел на меня. Я сжималась от этого взгляда.

- Ты что, пап?ша?

- Толста ты очень, работать надо, физически работать!

Я это знала сама и старалась двигаться как можно больше - колоть дрова, расчищать снег, но приходилось вести сидячий образ жизни и этого было мало.

Отец большое внимание обращал на то, что я читала. В пятнадцать лет я попросила у матери дать мне "Войну и мир".

- Что ты! Что ты! - сказал отец. - Раньше восемнадцати лет давать нельзя.

Мне было уже двадцать три-двадцать четыре года, когда он раз спросил меня, что я читаю.

- "Санина" Арцыбашева.

- Ах, оставь, пожалуйста! Пожалуйста, оставь! - с мольбой проговорил он. Это такая мерзость!

- Да! Там с первой же страницы, брат, как-то странно...

- О Господи, - простонал он, очевидно вспомнив содержание книги, - ну зачем ты это взяла? Только душу засорять!

- Ну, не буду, не буду! - сказала я, захлопывая книгу.

А он долго еще охал и стонал у себя в кабинете.

Когда получили "Яму" и все в доме читали ее, отец сказал мне:

- У меня к тебе, Саша, просьба. Пожалуйста, не читай "Яму", тяжелая вещь, нехорошая! Я даже не понимаю, зачем Куприн описывает весь этот ужас!

С каждым днем привязанность моя к отцу росла и последние годы моя жизнь целиком сосредоточилась на нем. Мне трудно было уезжать хотя бы на несколько дней от него, утром я с нетерпением ждала, когда он встанет, чтобы узнать, как он спал, как себя чувствует. Вечером, прощаясь, возьмешь его руку и поцелуешь, рука большая, красивая, ногти всегда чистые, рубчиками, с хорошо оттянутой кожей.

Но, несмотря на мою привязанность, я часто огорчала его. У меня были деньги, я тратила их зря и, хотя он никогда не говорил со мной об этом, я знала, что ему это неприятно. Ему было тяжело, что я неизвестно зачем купила землю, держала лошадей.

Лошади были одним из моих главных увлечений. Я постоянно покупала, продавала, объезжала их. Они

носили меня, выбрасывали из экипажей. Все свободное время я проводила верхом на лошадях, в экипаже или в конюшне.

- Ни к чему это, - говорил отец, укоризненно покачивая головой, - ни к чему!

А я была, должно быть, слишком молода, чтобы глубоко задумываться, почему его это так мучило, я отмахивалась от этих вопросов и глупо, по-детски радовалась, когда он хвалил моих лошадей.

Зиму 1909 года в Ясной Поляне жила Таня с Танечкой и Дориком. Наташа* вышла замуж за Колю Оболенского**.

Зимой Дорик Сухотин заболел корью. Он лежал наверху, рядом с "ремингтонной", и я часто заходила к нему. Он легко перенес болезнь и стал уже поправляться, когда я заболела. У меня сделалась сильнейшая головная боль, резало глаза, ломило все тело. Таня испугалась за Танечку, сделали дезинфекцию, и почему-то весь запах формалина сосредоточился в моей комнате. От этого мне сделалось еще хуже, я стала задыхаться.

Вызвали тульского врача. У меня был сильный жар. Доктор подвел меня к окну, внимательно разглядывая сыпь на теле. От окна дуло, я едва держалась на ногах.

Корь осложнилась воспалением легких, в мокроте появилась кровь. День и ночь за мной ходила Варвара Михайловна.

Помню, один раз ночью мне было особенно плохо. Варвара Михайловна побежала за Душаном Петровичем. Он решил поставить мне компресс, взял простыню, намочил ее холодной водой, слегка отжал, вместе с

Варварой Михайловной приподнял меня и, уложив на простыню, стремительно убежал.

- Пойдите, пойдите! - кричала Варвара Михайловна, - Душан Петрович, куда же вы? Помогите мне завязать компресс!

- Не могу! - воскликнул Душан. - Я очень стыдлив! Верните сами!

Варвара Михайловна была в отчаянии. Я лежала на мокрой простыне, не в силах повернуться, а она не могла приподнять меня. Пришлось разбудить Афанасьевну. Через четверть часа плохо отжатая простыня намочила рубашку, постельное белье - меня стало трясти.

Все остальное я плохо помню. Я знала только, что мам? в Москве, что Танечка, несмотря на дезинфекцию, тоже заболела. Смутно помню приезд доктора Никитина. Минутами мне казалось, что я умираю, я теряла сознание. Но страха смерти почему-то не было.

Открываю глаза. В комнате почти темно.

- Пить!

С дивана кто-то встает и приближается ко мне. Меня вдруг охватывает ощущение счастья.

- Папенька, ты?

Он дрожащей рукой подает мне воду. Вода расплескивается, не попадает мне в рот, течет по подбородку. Я губами ловлю его дорогую руку. Он всхлипывает, берет мою большую, грешную, исхудавшую руку. Я чувствую прикосновение его бороды и рука моя делается мокрой. Мне совсем не стыдно, что он целует мою руку, хотя этого никогда прежде не было. Но я не понимаю, чем он так опечален.

- Папенька, почему ты плачешь? - спрашиваю я. - Мне так хорошо, так хорошо...

Всхлипывания делаются громче, он встает и уходит за перегородку.

- Почему же ты плачешь? - повторяю я, но от усилия, которое я делаю, чтобы понять, сознание уходит.

В самые тяжелые дни, когда не знали, останусь ли я жива, он сидел в комнате, подавал мне пить, требуя, чтобы все остальные уходили.

А потом жизнь стала постепенно возвращаться. Я узнала, что за время болезни работу мою выполнял Валентин Федорович Булгаков, которого прислал Чертков.

Часто отец приходил в мою комнату, приносил с собой работу. Мне было хорошо, так хорошо, как, кажется, никогда в жизни. Он сидел, отдувал губы, останавливался, снова писал, и я боялась пошевелинуться, боялась кашлянуть, чтобы не спугнуть его мыслей.

Постепенно я стала ходить и мало-помалу принялась за работу: печатала, отвечала на письма. Булгаков помогал отцу по сборнику "На каждый день".

Ненавижу Гуську,

Не люблю Булгашку!

напевала я, запечатывая бандероли. Скоро Булгаков переселился в Телятинки, мы с Варварой Михайловной вполне справлялись с перепиской.

Корь давно прошла, воспаление в легких также, а я все чувствовала слабость, кашель не прекращался. Я старалась не обращать внимания на свое здоровье, но к

вечеру ужасно уставала и то и дело прикладывалась в зале на кушетке. Иногда ночью я просыпалась в сильном поту. Душан Петрович настоял на том, чтобы я измерила температуру. У меня было 38°, но я все еще старалась не поддаваться болезни.

Помню, я лежала после обеда в зале. В комнате была одна Варвара Михайловна. Я чувствовала страшную слабость, от малейшего движения покрывалась потом.

- Александра Львовна! - решительно сказал он. - Александра Львовна! Не пугайтесь! У вас ч?хотка!

Я посмотрела на него с удивлением.

- Что вы, Душан Петрович, что вы говорите? - переспросила я его, надеясь еще, что он шутит.

- Ничего. Не волнуйтесь. Мы потихоньку с Варварой Михайловной послали вашу мокроту в Тулу исследовать, оказалось, у вас много туберкулезных палочек есть, - сказал Душан Петрович и вдруг залился неудержимым хохотом.

Глядя на него, и я с трудом сдерживала приступ подступавших к горлу не то смеха, не до рыданий. Наконец, справившись с собой, я оставила хохочущего Душана в зале и пошла к отцу.

- Я знаю, - сказал он, отвернувшись, как будто умышленно избегая моего взгляда, - знаю, будем надеяться на Бога.

Он не мог говорить, да и я с трудом удерживалась от слез. Я поспешно вышла из комнаты.

А на другой день вызвали врача из Тулы, и они вдвоем с Душаном Петровичем стучали, слушали меня и нашли активный процесс в обоих легких.

- Завтра же в Крым, - сказал мне тульский доктор.

- Я не могу, не поеду, доктор, нельзя ли здесь меня полечить?

- Нельзя. Если здесь останетесь - будет плохо. Нужен воздух, солнце. В Крыму поправитесь через два месяца.

Я тотчас же собралась. Отец сидел в кабинете, когда я пришла проститься с ним.

- Прощай, голубушка, - сказал он и заплакал.

Я бросилась перед ним на колени, стала целовать его руки.

- Ну полно, полно, душенька, - говорил он. - Бог даст скоро увидимся.

Я выбежала из комнаты. И меня охватил ужас: вдруг я никогда больше не увижу его! Я снова вошла. Он сидел все в том же положении... Я опять бросилась перед ним на колени, схватила его руки.

- Уйди, Саша! - крикнул он мне почти сурово.

В Крыму врач Альтшуллер, когда-то лечивший моего отца, с удивлением спросил, увидавши меня толстую и с виду здоровую:

- Вы зачем в Крым приехали?

- Выслушайте, говорят, туберкулез.

- Не может быть, - сказал доктор. Но выслушавши, отнесся серьезно: Исполняйте все мои предписания и через два месяца не туберкулез вас съест, а вы его с вашим организмом...

В Крым со мной поехала Варвара Михайловна, знавшая хорошо стенографию, и я решила не тратить зря

времени, а усовершенствоваться в стенографии, которой я давно уже занималась. "Это будет отцу сюрприз", - думала я. И я ежедневно занималась несколько часов, записывая решительно за всеми: за Варварой Михайловной, которая болтала без умолку, за больными в пансионе, которые без конца говорили о температуре, весе, усиленном питании.

Стенография радовала меня, давала смысл и цель моему пребыванию в Крыму, но было одно незначительное обстоятельство, которое меня приводило в отчаяние. Один раз, когда я мыла голову, все мои и без того небольшие волосы, остались у меня в руках. На голове образовались плешины, пришлось остричься. Отец терпеть не мог стриженных.

"Вот ахнет, как увидит, - думала я, - опять будет говорить, как ты дурна, как дурна!"

Я делала все для того, чтобы поправиться, исполняла все предписания Альтшуллера, даже стала есть мясо, и силы мои быстро восстановились.

Каждый день я получала от отца письма и каждый день писала ему.

"Хочется написать тебе, милый друг Саша, и не знаю, что писать. Знаю, что тебе желательнее всего знать обо мне, а о себе писать неприятно. О том, как ты мне дорога, составляя грех исключительной любви, тоже писать не надо бы, но все-таки пишу, потому что это думаю сейчас. Внутреннее состояние мое в последние дни, особенно в тот день, когда ты уезжала, была борьба с физическим, желчным состоянием. Состояние это полезно, потому что оно дает большой материал для работы, но плохо тем, что мешает ясно мыслить и выражать свои мысли, а я привык к этому. Нынче первый

день мне лучше, но ничего кроме писем: Шоу еще об обществе мира и еще кое-кому не писал. Ге занят книжечками, которые уже в сверстанном виде и меня радуют. Нынче был еще здесь Соломахин*, тоже меня радующий своей серьезной религиозностью. Зачем рождаются и детьми умирают, зачем одни век в нужде и образованы, другие век в роскоши и безграмотны, и отчего одни люди, как Соломахин, весь горит, т.е. вся жизнь его руководима религией, а другой, другая, как ложка не может понять вкуса той пищи, в которой купается?

Вчера ездил с Булгаковым, нынче с Душаном. Дэлир покоен, погода чудная, фиалки Леньки* душат меня, стоя теперь передо мною. Как-то у вас? Что-то пишут, что там холодно. Пиши ты или Варя каждый день. Л.Т."

Последнее письмо отца от 17 мая было особенно бодрое, радостное. Я уже считала дни и с нетерпением ждала, что вот-вот опять буду вместе с ним, что буду опять работать для него.

"...все жду тебя с радостью, - писал отец, - но был бы очень огорчен, если бы ты приехала раньше, чем это полезно для твоего здоровья. Как мне весело стало сегодня от твоего бодрого письма. Хорошо, если опять будем вместе. А главное, хорошо, если будем хоть и не совсем недовольны собой, а нынче немного менее дурны, чем вчера. Ну, не буду надоедать тебе рассуждениями..."

27 мая я опять была с отцом.

Он провел рукой по моим коротким, вьющимся волосам и весело сказал:

- А я думал, что ты бритая...

У Чертковых в Мещерском

После тяжелой болезни и несвойственного мне состояния вялости я вдруг снова почувствовала себя здоровой и сильной. Правда, иногда я прихварывала и опять появлялся кашель, поднималась температура, но сравнительно все это было пустяками. На душе было радостно. Я была опять в Ясной Поляне, опять помогала отцу. Теперь я могла записывать за ним стенографически и постепенно он стал пользоваться моими услугами. Помню, первое время, когда он диктовал письма, мне было очень страшно. Вдруг я не разберу стенограмму и пропадет его слово. Я писала медленно, стараясь тщательно выводить стенографические значки. Иногда, когда отец останавливался, я на всякий случай сверх значков писала трудные слова буквами. А отец все удивлялся быстроте и никак не мог привыкнуть говорить без остановки. Скажет и молчит, а я давно уже записала и жду.

- Удивительно, - говорил он, - уже записала? Не может быть!

Глаза его ласково сияли, а у меня в груди все пело и ликovalo от счастья.

Когда мам? и врачи говорили, что осенью мне опять надо будет ехать в Крым, я только посмеивалась. Теперь, когда я могла помогать ему, когда я чувствовала полное восстановление сил, ничто не могло заставить меня снова его покинуть!

Помню, как сильно я чувствовала в этом году весну, даже не весну, а начало лета. После Крыма Ясная Поляна казалась такой прекрасной и родной.

Жизнь наладилась по-прежнему. Та же работа, посетители, прогулки, разговоры или чтение вслух по вечерам. Единственно, что отравляло радость, было беспокойное состояние матери. Чувствовалось, что достаточно малейшего повода, чтобы она снова вышла из равновесия. Отец не переставая мучился.

"Вернулся и застал черкеса, приведшего Прокофия. Ужасно стало тяжело. Прямо думал уйти. И теперь, нынче 5-го утром, не считаю этого невозможным" (5 июня 1910 года).

Я была в том же счастливом, приподнятом настроении, когда отец объявил о своем решении поехать к Чертковым на станцию Столбовую под Москву. С нами поехали Душан Петрович, Булгаков и Илья Васильевич.

Нас встретил на станции Владимир Григорьевич, радостный и веселый. Здесь в Мещерском было гораздо проще и уютнее, чем в Крекшине. Может быть, оттого, что народа было меньше, а может быть, на душе у меня было хорошо и все представлялось в радужном свете. Все были ласковы, шутили, не было обычного у Чертковых скучного, сектантского настроения.

Кроме Чертковых было несколько молодых людей-толстовцев. Позднее приехал артист Орленев, заинтересовавший Владимира Григорьевича своим проектом народного театра. При ближайшем знакомстве артист вызвал разочарование. Отца он удивил своей наружностью.

- Нет, ведь это поразительно. Каблуки-то какие, а декольте? Вы заметили? спрашивал он у Владимира Григорьевича.

По вечерам все собирались внизу, в столовой.

- А ну-ка, Валентин Федорович, - говорил отец, - спойте что-нибудь.

У Булгакова был большой тенор, мало обработанный, но приятный.

- Ну спойте, спойте, русскую песню какую-нибудь.

Я аккомпанировала, мрачные молодые люди подтягивали.

Мне всегда казалось, что в толстовцах чего-то не хватает. Будто толстовство обязывало их к какому-то внешнему постничеству: ношению блузы, отказу от смеха, веселья. Они точно не понимали, что нельзя отказываться от радости, что радость не только не греховна, но необходима, как воздух, как мысль, как пища. Постепенно, под влиянием веселья старших - отца, Черткова, заулыбались молодые лица. О Булгакове мне и говорить нечего, мы хохотали при малейшем поводе.

Иногда Чертков шутил, но делал это всегда с таким серьезным видом, что трудно было сразу понять, шутит он или нет. Он морщил горбатый нос, хмурил брови, и только в глазах иногда можно было уловить лукавый огонек.

Отец всегда говорил, что человека можно узнать по смеху. Хорошего человека смех - красит, плохого - уродует. Черткова смех - красил, лицо его, всегда строгое, властное, принимало детски-милое, почти наивное выражение, хохотал он громко, от души.

Единственно, что мне не нравилось в Мещерском, это были сумасшедшие. Недалеко от имения находилось несколько лечебниц для душевнобольных. Отец всегда

интересовался ими, и теперь ему хотелось воспользоваться случаем, чтобы понаблюдать больных, поговорить с ними. Он несколько раз ездил в больницы, и каждый раз я испытывала ужас, когда отец ходил, окруженный безумными людьми.

Некоторые больные от разговоров приходили в страшное возбуждение, жаловались на докторов, говорили, что их здесь неправильно лечат, мучают, истязают. Особенно тяжелое впечатление произвела на отца одна больная учительница. Доктора предупредили нас, что ей ни в чем нельзя перечить. Но отец, забывшись, что-то возразил ей. Она начала так возбужденно и нервно говорить, так обиделась на него, что он не знал, как от нее отделаться.

Раза два отец ездил в кино, устраиваемое для больных. Темный зал, на экране идут какие-то глупые мелодрамы. В темноте белеется блуза, борода, я чувствую, что весь зал наполнен безумными, и хочется скорее, скорее бежать отсюда. А отец спокойно перебрасывается замечаниями с Чертковым, и ему, по-видимому, и в голову не приходит, что можно чего-нибудь бояться.

Помню, не раз отец высказывал мысль, что сумасшествие есть не что иное, как крайний эгоизм, - когда человек все мысли, все интересы сосредоточивает на себе самом.

- Чем больше смотрю на них, тем больше убеждаюсь, что в сущности все люди ненормальные, - весь вопрос только в степени сумасшествия. Человек истинно религиозный, имеющий основу жизни, никогда не сойдет с ума, - говорил он, и один из постоянных вопросов, который он задавал больным, был:

- Верите ли вы в Бога?

- Бог злой, - отвечали некоторые, - если бы Он был добрым, Он не допустил бы, чтобы меня так мучили.

- Мой Бог - наука, - важно ответил один из больных.

Неприятной стороной этих посещений были торжественные приемы, которые устраивались администрацией больниц: встречи и проводы с букетами, фотографиями.

В сущности, пребывание в Мещерском было последним радостным периодом для отца. Он отдыхал, ничто его не мучило, кроме мысли о возвращении в Ясную Поляну. Он даже написал здесь два рассказа: "Нечаянно" и "Разговор с крестьянином". Давно не работал он с таким увлечением и не радовался так написанному.

- Саша, - закричал он, весело помахивая рукописью,

Сочинитель сочинял,

А в углу сундук стоял.

Сочинитель не видал,

Спотыкнулся и упал!

на вот, перепиши!

- Урра, пап?! Вот это уж я вам не дам переписывать,
- крикнула я Булгакову и вместе с рукописью полезла вниз, в окно по приставной лестнице.

- Ну, это и я полезу, - сказал отец, - чем я хуже тебя?

- Тебе нельзя, - ответила я, спускаясь, - тебе не по возрасту...

- А я все-таки полезу, - задорно прокричал он мне вслед, но, должно быть, устыдился Ильи Васильевича, который был тут же, и пошел вниз обычным ходом.

По приставной лестнице обычно лазили, когда Анна Константиновна отдыхала, чтобы не тревожить ее беготней по дому.

Радостное настроение увеличилось еще известием о том, что Черткову разрешается вернуться в Тульскую губернию.

Но... недаром говорится, что много радости перед большим горем.

22 июня* в пять часов дня, когда отец собирался отдыхать, я получила телеграмму: "Сильное нервное расстройство, бессонница, плачет, пульс сто, просит телеграфировать. Варя"**.

Когда отец проснулся, я понесла ему телеграмму, он сильно было встревожился, но я обратила его внимание на слова: "просит телеграфировать". Очевидно, Варвара Михайловна приписала эти слова, чтобы показать, что положение не очень опасно. Так это на самом деле и оказалось. Телеграмма была написана матерью, которая просила Варвару Михайловну за нее подписаться. Мы долго совещались и решили послать телеграмму с запросом о здоровье, на что получили уже ответ от мам?: "Умоляю приехать 23-го, скорее. Толстая".

Но в этот день отец не мог уехать. Он ждал приезда В.А.Молочникова, недавно сидевшего в тюрьме за его сочинения. Кроме того ждали Эрденко. Уверенный в том, что серьезной болезни у матери не было, а что снова у нее начался приступ истерии, отец послал еще одну телеграмму с запросом, необходим ли его приезд. На это

он получил срочную телеграмму с подписью Варвары Михайловны: "Думаю, необходимо". (Эта телеграмма так же, как и предыдущая, была послана матерью).

После этого отец решил не откладывать. В этот же день в шесть часов вечера мы выехали домой.

Не осталось и следа нашего радостного настроения. В вагоне больше молчали, каждый про себя думал о том, что предстоит. Только один Булгаков был как всегда беспечен.

В Туле отец вышел на вокзал, чтобы написать Тане письмо, но ему не дали этого сделать. Кругом него столпились гимназисты, гимназистки, дамы и барышни и стали просить автографов. Сначала робко подошел один, и когда отец согласился ему подписать, подошел второй, третий - его окружили тесным кольцом. Не оставалось уже портретов отца в вокзальном киоске, посыпались виды, головки декольтированных дам. Отец отказался на них давать автограф, встал и пошел в вагон. Его опять окружили, и он едва протиснулся к поезду. Когда он вошел в вагон, за ним следом ринулись несколько особенно настойчивых девиц.

Мы приехали домой в 11 часов.

Дневники

Мам? лежала в постели и громко стонала. В этих столах было что-то до такой степени преувеличенное, деланное, что я с трудом заставила себя ласково поздороваться с ней, осведомиться об ее здоровье. Но не успел отец войти в комнату, как стоны превратились в сплошные вопли.

- Нет в тебе жалости, - кричала ему мать, - у тебя каменное сердце, ты никого не любишь, кроме Черткова. Я убью себя, вот увидишь, отравлюсь!

Она упрекала отца за то, что он слишком долго пробыл у Черткова.

Отец тихо, ласковым, дрожащим голосом просил ее успокоиться. Но чем больше он умолял, тем больше она стонала и причитала.

Невольно вспоминалась мне учительница в Мещерском, которая жаловалась отцу на жестокость докторов.

Я тоже старалась успокоить мать. Напоминала ей о здоровье отца, говорила о том, как он устал дорогой, как измучили его любопытные!

- Да, - истерически кричала она, - он выше всего, выше всех, а я никому не нужна! Все важнее меня!

- Уйди, - тихо сказал мне отец, - уйди!

Я вышла. Несколько раз ко мне в комнату прибегала Афанасьевна*.

- Да подите же, Александра Львовна, графиня замучила графа! - говорила она.

И так продолжалось до 4 часов утра! Но я не решилась войти к родителям.

Потянулись тяжелые дни. Отец ни днем, ни ночью не знал покоя. Если мать и затихала, то все мы знали, что это лишь затишье перед бурей. Достаточно было малейшего повода, чтобы снова вызвать слезы, жалобы и упреки. Мы боялись говорить, боялись шутить, смеяться, я боялась заходить к отцу в комнату.

Как ни сдержан был отец, но иногда он терял терпение и искал во мне поддержки.

Как-то утром я писала в "ремингтонной". В 12 часов он вышел из кабинета бледный, как полотно.

- Опять она бог знает что говорит, - сказал он, морщась точно от невыносимой боли. - Ужасно, ужасно! - и махнув рукой, круто повернулся и вышел из комнаты.

Я продолжала писать. Вдруг из залы с страшным криком: "Кто там? Кто там?" - выскочила мам?. Она шла как-то неестественно, задерживая шаги, тяжело дыша. Я пошла в залу.

- Никого нет, - сказала я спокойно, - никого, это тебе показалось.

Вошел отец, мать упала на пол. Он что-то сказал ей. Она с воплями и стонами побежала по всем комнатам.

- Куда она, куда? - в ужасе закричал отец. И мы все: отец, Душан Петрович и я, бросились за ней. Ее нигде не было. Наконец отец увидал ее. Она лежала на полу за шкафами в библиотеке, ползала со склянкой опия в руке и кричала:

- Только один глоточек, только один.

Она водила склянку с опиумом около рта, но не пила. Сначала я хотела вырвать пузырек из ее рук, но вдруг мне стало противно, гадко.

- Знаешь, мам?, - сказала я ей. - Нам слишком трудно с отцом. Мы не в состоянии с тобой справиться. Я сейчас же пошлю телеграмму Сереже и Тане, чтобы они приехали. Пусть они, как старшие, что-нибудь сделают для спасения отца.

Мои слова произвели сильное впечатление. Мам? встала, очень скоро успокоилась и даже попросила кофе.

Через пять минут, когда снова я сидела за машинкой, мать пришла ко мне и сказала:

- Ради Бога не посылай телеграммы Сереже и Тане. Я здорова, я больше не буду... А если Сережа и Таня приедут, они так же зло будут смотреть на меня, как и ты, за то, что я мучаю отца, - сказала она как-то по-детски жалостно. Мне было бесконечно жалко ее, и я поверила, что она возьмет себя в руки, перестанет мучить себя, отца, всех нас...

Через несколько дней повторилось то же самое. Это было в шестом часу, в час отцовского отдыха. Отец позвонил, я вошла к нему. Он не мог спать, был очень расстроен. Мам? находилась опять в том же возбужденном состоянии. На этот раз она спрашивала его, где находятся дневники, и требовала, чтобы он их отдал ей. Отец ответил, что они находятся у Черткова. Тогда она стала допытываться, где Чертков их хранит. Отец ответил, что не знает. Мам? стала упрекать его во лжи и требовать последний дневник.

- Дай я прочту, что ты там писал про меня!

И когда отец дал ей прочитать и она увидела фразу: "Соня опять очень возбуждена и истерична, решил бороться с ней любовью", она почему-то ужасно рассердилась, выбежала из дома, ходила час по парку под проливным дождем, промокла и, не переодеваясь, села писать дневник.

Я почувствовала полную беспомощность. Надо было что-то предпринимать. На моих глазах уходили последние силы отца, а я не знала, что мне делать.

"Отец решил бороться с ней любовью, надо брать с него пример, надо терпеливо, добро относиться к ней, как к больной", - думала я.

Мам? меня не оставляла в покое. Когда она не могла говорить с отцом, она приходила ко мне. Все дрожало во мне, когда мать, нервно постукивая каблуком, говорила.

- У Льва Николаевича сердца нет, он никого не любит, он холоден как лед... когда ты уезжала в Крым, он и по тебе не скучал, такой веселый был...

Я умоляла ее замолчать.

- Что значит бороться со мной любовью? - продолжала она, не слушая меня. С чем бороться? Прочтут его дневники и скажут про меня, что я злодейка! А что я ему сделала?

Я старалась, как могла, успокоить ее, старалась доказать ей, что она мучает отца и что несправедливо обиделась на него. Я рассказывала ей, как отец вспоминал ее в Мещерском, как он радовался свиданию с ней и как тяжело ему было получать настойчивые телеграммы с требованием приезда и еще тяжелее слушать незаслуженные упреки.

Уговоры мои не действовали, и я с ужасом увидела, что она снова побежала к отцу. Через несколько минут и отец и мать пришли ко мне в "ремингтонную".

- Саша, - сказал отец, - ты знаешь, где дневники, - скажи мам?!

- Нет, я не знаю.

- А! - закричала мать. - А! Чертков их украл, хитростью увез! Где они, где?

- Я не знаю, Соня, это ведь совсем неважно.

- Мне неважно, а Черткову важно! - вскрикнула мать. - Почему мне, жене, это менее важно, чем этому дьяволу Черткову?

- Потому что он всю жизнь посвятил мне, занимается моими писаниями, и потому, что он самый близкий мне человек! - и отец пошел из комнаты.

- Убей меня, дай мне опия, - кричала она.

Отец остановился.

- Соня, - сказал он со слезами в голосе, - я всячески стараюсь быть добрым с тобой, записал в дневнике, что хочу любовью бороться с тобой, и ты в этих словах видишь что-то дурное, осуждаешь всех, все, и мы живем с тобой совершенно розно...

- Но ведь я страдаю, мучаюсь.

- Я готов на коленях со слезами просить тебя, чтобы ты успокоилась. Рыдания подступили ему к горлу. - Больше я ничего не скажу тебе, не сделаю ни одного упрека, - добавил он и ушел к себе.

"Должно быть, она больна", - думала я, придя к себе в комнату вечером, снова и снова обдумывая создавшееся положение.

А мам? долго ходила по аллеям и пришла к новому решению. Если отец попрекает ее, что она живет в роскоши, она согласна уйти с ним в простую избу. Черткова она не пустит. Чертков дьявол, говорила она, разлучивший ее с отцом. Надо позвать священника, с водосвятием отслужить молебен, чтобы изгнать дьявольский дух, который вселил Чертков в Льва Николаевича.

"Как тяжело было! Но что же это? Что?" - задавала я себе вопрос. С одной стороны, как будто болезненная ревность к Черткову, с другой - желание оправдаться перед будущим поколением, постоянный разговор о том, в каком ужасном свете она постарается выставить отца, Черткова, и, наконец, забота о материальном: о рукописях, об издательских правах. У меня голова шла кругом Я не могла одна справиться с создавшимся положением и умоляла отца вызвать сестру Таню. Мы послали ей срочную телеграмму.

С минуты на минуту ждали приезда Черткова. Мам? волновалась и все хотела увезти куда-нибудь отца, чтобы Чертков не застал его в Ясной Поляне. Она долго умоляла отца поехать с ней к брату Сергею в Никольское-Вяземское и наконец отец согласился. Таня почему-то не приехала, задержалась. Вечером 27-го пришел Булгаков из Телятинок и наивно, не подозревая, какой эффект получится от его слов, сообщил, что приехал Чертков.

И сейчас же мам? стала лихорадочно собираться к брату, укладывалась, отдавала распоряжения.

- Велите садовнику дыню с парников принести. Семену Николаевичу напечь на дорогу пирожков.

Я решила тоже поехать с родителями.

- Нечего тебе ездить, - сказала мам?, - и Сережа не рад тебе будет, и лошадей за тобой не вышлют на станцию.

Но я настояла. Со мной поехал Николай Николаевич Ге, гостивший в это время в Ясной Поляне.

Тяжелая была поездка. Началось с того, что для меня не было места в экипаже. В поезде она всем была

недовольна, говорила, что на нее мало обращают внимания. Если уходили из купе, жаловалась, что ее бросили как собаку.

В вагоне отец позвал меня и продиктовал мне следующую мысль:

"Как странно, что люди стыдятся своей нечистоплотности, трусости, низкого звания, но гнева не только не стыдятся, но радуются сами за себя, подхлестывают себя, усиливают его, считая его чем-то хорошим".

Не рассчитывая на то, что за нами вышлют лошадей, мы с Николаем Николаевичем вышли на предыдущей станции, где можно было нанять тележку, и уехали к Сереже. Родители проехали до следующей остановки. Когда мы приехали в Никольское, оказалось, что телеграммы брат не получил и старики сидят на станции Бастыево и ждут. За ними тотчас же были посланы лошади, но им пришлось ждать около пяти часов. Отец не скучал. Он съел овсянки, которую согрела ему мать, и пошел гулять. По дороге он встретил партию железнодорожных рабочих и с двенадцати до половины третьего проговорил с ними. В два часа рабочим надо было идти на работу, но они не могли оторваться и все говорили с отцом, забыв про свой послеобеденный отдых.

Пока мы ждали родителей в Никольском, я Тане и жене брата рассказывала, что у нас происходит дома. Я просила их помощи, говорила о том, что мы вдвоем с отцом несем непосильный крест и что старший брат и сестра должны помочь нам.

Таня советовала мне любить и прощать мать. И я в первый раз в жизни рассказала ей про свое тяжелое детство, про то, как невыносимо трудно мне с матерью.

Таня была на двадцать лет старше меня и помнила мать другой - молодой, спокойной.

Когда приехали родители, Таня долго говорила с матерью, но уговоры ее действовали плохо. Мам? оправдывала себя, обвиняла отца и всех окружающих. Отец измучился за эту поездку, да по правде сказать и я чувствовала себя совершенно разбитой. Но с матерью отец был по-прежнему кроток и терпелив.

За день до нашей поездки он потребовал, чтобы я принесла ему его последний рассказ, где героиня была выставлена в плохом свете. Он описал ее энергичной брюнеткой с черными глазами. Когда он вернул мне рассказ*, я заметила, что слово "брюнетка" зачеркнуто, а вместо него написано: "блондинка с голубыми глазами".

- А то мам? еще на свой счет примет! - сказал он.

27 июля отец записал у себя в дневнике: "Сумасшедшие всегда лучше, чем здоровые, достигают своих целей. Происходит это оттого, что для них нет никаких нравственных преград: ни стыда, ни правдивости, ни совести, ни даже страха".

Я очень надеялась на поездку к брату, я думала, что он вместе с сестрой помогут нам. Но мы с отцом возвращались в Ясную Поляну опять такие же беспомощные и одинокие.

По дороге отец выходил на станциях погулять, мать шла за ним.

- Нет уж, - говорила она, - я с тобой, я каждый раз буду выходить с тобой, а то ты на станции возьмешь да нарочно и останешься.

- Ах, Соня, - с горечью говорил отец, - ведь это стеснительно.

- Нет, нет, я только буду следить за тобой, куда ты, туда и я.

В Скуратове, где поезд стоял десять минут, отец вышел, мать за ним. Вдруг она хватилась, что с ней нет мешка.

- Украли, украли мешок, - нервно вскрикнула она. - Нарочно сдавили нас и украли.

На платформе было много публики, столпившейся, чтобы посмотреть на Толстого. Все с недоумением оглядывались на мать. Мешок оказался в поезде, в купе.

Мы приехали в Ясную Поляну в час ночи, во втором часу отец заснул. Мать вошла к нему в спальню и разбудила его. Около пяти часов утра он заснул вторично. Утром она опять разбудила его.

- Мам?, что ты делаешь, - сказала я ей, узнав от отца, что она не давала ему спать, - ты погубишь его!

Она сконфузилась.

- Да, - сказала она, - я сама огорчилась, я не думала, что он спал.

От свидания с Таней у матери осталось тяжелое впечатление, она боялась ее приезда, говорила о том, что в Ясной Поляне опасные желудочные заболевания, что нельзя сюда привозить маленькую Танечку.

- А как бедная Танечка поглупела, - говорила мам? Варваре Михайловне. - От ее разговоров у меня осталось кошмарное впечатление.

Так шел день за днем. Сначала как будто требования и упреки матери были довольно расплывчаты, затем они сделались более определенными. Первое требование ее было, чтобы отец отдал ей дневники; второе, чтобы он перестал видеться с Чертковым.

С дневниками положение было тяжелое. После того, как отец подписал в Крекшине завещание, по которому он отдавал все свои сочинения на общее пользование, он отметил это событие у себя в дневнике, совершенно забыв о том, что его может прочитать мать. Теперь, получив дневники, она бы не успокоилась, а снова начала бы мучить отца просьбой уничтожить завещание. Мы с Чертковым очень боялись, что отец согласится дать матери дневники.

Второго июля, как только отец пришел к завтраку, мать принесла показать ему письмо, которое она написала Черткову с просьбой отдать ей дневники. "Сделайте это, - писала она, - чтобы Лев Николаевич мог спокойно жить".

- Хорошо я написала, Левочка?

- Нет, очень плохо.

- Почему же плохо?

- Потому что ты просишь у Черткова дневники, которые я отдал ему по собственному желанию.

- Ах, Саша, - вдруг резко повернулась ко мне мать, - уйди, когда я с отцом серьезно разговариваю.

Я вышла. В шесть часов отец позвонил. Я вошла к нему.

- Как себя чувствуешь?

- Плохо, стеснения в груди, не спал. Доконает она меня! Кроме того меня мучает, что я обещал показать ей дневники.

Я ахнула.

- Да, да, и теперь не знаю, как быть, вероятно, я ей скажу, что ошибся, что я не могу этого сделать, что есть вещи, которые я не хочу, чтобы она знала. Но ты только представь себе, что из этого выйдет!

Я ясно это представляла. Если отец скажет матери, что ошибся, будет такая буря, что отец не выдержит. Если показать ей дневники и она прочтет в них про завещание - будет еще хуже!

Вечером, когда приехал Чертков, я пошла к отцу в кабинет, и мы совещались о том, что нам делать с дневниками. Во время разговора мне показалось, что я слышу шаги в гостиной. Я подошла и туго затворила дверь. Через несколько минут я услышала шорох за балконной дверью. Я выскочила. Вытянув шею, прислонившись к косяку на балконе, в одних чулках, стояла моя мать.

Сердце забило, дыхание прервалось. Я не сразу ответила отцу на его вопрос: кто там?

- Мать! - сказала я наконец.

- Я все слышала! - крикнула она, убегая.

Через минуту она быстро вошла в комнату, с горящими глазами и красными пятнами на лице.

- Владимир Григорьевич! - воскликнула она. - Я все слышала, я очень взволнована, у вас опять заговоры против меня, нам надо объясниться!

- Нет, Софья Андреевна, я повторяю вам все, что мы говорили, - спокойно сказал Владимир Григорьевич.

Мы с отцом вышли в залу к брату Мише, только что вернувшемуся из астраханских степей, куда он ездил покупать лошадей. Миша рассказывал отцу про веру калмыков, как они своим божкам молятся.

- Как странно, - сказал отец, - одна из величайших и глубоких религий (магометанство) превратилась теперь в такое грубое язычество.

Но разговор не вязался, перескакивая с предмета на предмет. Все мысли и чувства отца были сосредоточены на разговоре в кабинете.

Заговорили об отрубях.

- Что ж, у вас там применяется этот ужасный, отвратительный закон 9 ноября? - спросил отец у Миши.

- Да, я теперь тоже в нем разочаровался, - ответил Миша, - сколько ссор, споров среди крестьян.

- Да им это и нужно, - сказал отец, - и стал, как всегда, выражать свое отрицательное отношение к столыпинскому закону.

Из кабинета слышались голоса Черткова и матери. Они то повышались, то понижались, и отец волновался, прислушиваясь к ним, среди разговора вставал, уходил в кабинет, опять возвращался.

Наконец, мам? и Владимир Григорьевич вышли в залу и Чертков, простившись с отцом, сейчас же собрался уезжать. Я пошла его проводить, чтобы узнать,

чем кончился разговор. Оказалось, что Владимир Григорьевич прямо сказал матери, что дневники у него, так как отец поручил ему работу над ними. И отец подтвердил это. Тогда мать потребовала, чтобы Чертков дал ей расписку в том, что он по первому требованию вернет дневники.

- Только не вам, Софья Андреевна, а Льву Николаевичу, - сказал Чертков и тут же написал письмо отцу об этом.

- А теперь пусть Лев Николаевич даст мне расписку в том, что он отдаст их мне, - сказала мать.

Но отец решительно отказался.

- Не доставало еще, чтобы муж давал расписку своей жене, - сказал он.

Чертков уговаривал мать не мучить отца. Он говорил о том, как она будет раскаиваться, если отец умрет и она поймет, что была причиной его смерти. Чертков несколько раз целовал руку матери, прося ее успокоиться, пожалеть отца.

В этот день приехала милая "старушка Шмидт". Она была в отчаянии от того, что происходило, и долго расспрашивала меня. Рассказывая ей все, я совсем расстроилась, расстроила ее и убежала в сад. Меня охватило полное отчаяние, положение казалось мне безвыходным, я не могла смотреть на страдания отца...

Я села на скамеечку в саду под тремя липами. Мой черный пудель Маркиз был со мной. Он всегда чувствовал, когда я расстроена. Сначала он думал развеселить меня, схватил в зубы палочку, подбросил ее в воздухе и ловко поймал, но видя, что мне не до игры,

он вскочил рядом со мной на скамейку, стал тереться мордой об меня, лизать руки.

Придя домой, я вдруг почувствовала такую слабость, что легла. Но покоя не было. Пришла мать и долго, долго говорила со мной, упрекая меня в том, что я стремлюсь разлучить ее с отцом, что я выдала ее, когда она подслушивала у двери. Тяжело мне было, но, думая об отце, я изо всех сил старалась не раздражаться и спокойно отвечать ей.

- Да, ты мой крест, - закончила она. - Вот Ванечка умер, а ты осталась на горе мне...

Мнение мое о состоянии матери менялось беспрестанно. Бывали минуты, когда я несколько не сомневалась в том, что она ненормальна.

Я была простужена и до 12 часов лежала в постели. Входил отец, как всегда ласковый, спрашивал о здоровье. А вскоре после его ухода вошла мам?. Она была очень внимательна, добра, давала мне советы. Я была тронута и благодарила ее.

Но разговор коснулся Черткова. Мам? не могла простить ему фразы: "Я уже много лет ваш друг, Софья Андреевна, и если бы я хотел, я давно бы мог напакостить вам и вашей семье, но я этого не делал и никогда не сделаю". Мам? перевернула эту фразу так, что Чертков, пользуясь своими связями, хочет ей напакостить. Она много говорила о том, какой грубый, отвратительный человек Чертков, что, разумеется, ему выгоднее быть "другом Толстого", чем глупым офицером и т.п., говорила, что она пишет записки и что записки эти она отдаст в музей с тем, чтобы никто из детей, - "как ты,

например", - обратилась она ко мне, не вздумал их уничтожить.

- Зачем же их уничтожать, разве в них есть что-нибудь дурное? - спросила я.

Мам? не ответила и продолжала говорить плохое про Черткова и отца, пока я ее не попросила замолчать...

В этот же день после завтрака отец поехал в Телятинки. Мам? ужасно волновалась, выскакивала на двор, послала за отцом пролетку и была, видимо, рассержена, что отец уехал к Черткову. Когда отец вернулся, мам? накинулась на него и стала кричать. Я хотела уйти. Но отец взял меня за руку и каждый раз, что я порывалась выйти, удерживал меня.

- Ты все забыл, летишь к Черткову, мокнешь на дожде, а я тут беспокоюсь, кричала мам?. - Ты едешь, принимаешь человека, который хочет напасть на твою жену! Ты должен сказать ему, что если он хочет ехать к нам, он должен извиниться и отдать мне дневники.

Я попробовала увести ее.

- Вы все убить меня хотите, хотите, чтобы у меня случился нервный удар! вскрикивала она.

Она долго мучила его и наконец уже после того, как он сказал ей, что хочет спать, она вышла, а я за ней, крепко притворив дверь, чтобы она снова не ворвалась к отцу.

Через несколько секунд она прибежала к нам в "ремингтонную".

- Убить меня хотите, злодеи, у меня сейчас нервный удар будет!

- Не у тебя, а у отца, - сказала я. - Если ты будешь так продолжать, он и месяца не проживет...

Я едва говорила, спазмы сдавили мне горло.

- А я, ведь я измучена, посмотри, как я похудела!

- По своей вине, никто не мучает тебя, а ты, что ты с отцом делаешь! Ты измучила его!

Мам? вышла, но не успела я еще прийти в себя, как она снова вошла.

- Саша, ты говоришь, что я уморю отца, он уже умер для меня душой, а телесно мне все равно.

- Тебе все равно, а нам нет, пускай Таня и другие видят и знают, что ты с ним делаешь!

- А мне до вас дела нет!

- Так знай же, что нам не все равно! - закричала я, не помня себя от ужаса, обиды, гнева. - Мы, дети, не позволим тебе замучить отца до смерти!

- Бессильны, - с насмешливой злобой ответила она мне и вышла из комнаты.

Завещание

Как я и предполагала, присяжный поверенный Муравьев, которому я отвезла на просмотр завещание отца, нашел его юридически неправильным и не имеющим никакой цены. Необходимо оставить права на чье-нибудь имя с тем, чтобы это доверенное лицо исполнило волю отца и отказалось бы от авторских прав. Неприятно было снова напоминать отцу об этом деле, заставляя его опять мучиться сомнениями.

Когда мы с Чертковым сообщили отцу о заключении Муравьева, отец ничего не сказал, а мы больше не

напоминали ему, зная, что он не переставая об этом думает.

Действительно, через несколько дней он сообщил Черткову, что решил составить все свои сочинения трем своим детям: Сергею, Татьяне и мне. Он знал, что мы исполним его волю.

Но один раз, когда я утром пришла к нему в кабинет, он вдруг сказал:

- Саша, я решил сделать завещание на тебя одну? - и вопросительно поглядел на меня.

Я молчала. Мне представилась громадная ответственность, ложившаяся на меня, нападки семьи, обида старших брата и сестры, и вместе с тем в душе росло чувство гордости, счастья, что он доверяет мне такое громадное дело.

- Что же ты молчишь? - сказал он.

Я высказала ему свои сомнения.

- Нет, я так решил, - сказал он твердо, - ты единственная сейчас осталась жить со мной, и вполне естественно, что я поручаю тебе это дело. В случае же твоей смерти, - и он ласково засмеялся, - права перейдут к Тане.

Внутри точно оборвалось что-то, сердце сильно, сильно застучало, я чувствовала, что на спину навалилась громадная, непосильная тяжесть. "А может быть, так лучше, - думала я, - я скорее полажу с Чертковым, который по-прежнему остается главным издателем и редактором отцовских произведений".

22 июля в лесу, в нескольких верстах от дома, было подписано завещание. Сидя на пенешке, отец с начала

до конца переписал своей рукой. Свидетели Радынский, Сергеенко и Гольденвейзер - засвидетельствовали отцовскую подпись.

Я знала, как тяжело отцу было решиться на этот поступок, как долго он колебался. Его мучило, что он не может объявить об этом семье, что он вынужден писать завещание тайно, ему тяжело было писать юридический документ, получавший силу только после утверждения суда.

Но отец твердо решил хотя бы после смерти уничтожить те компромиссы, которые он допустил при жизни.

Один раз, когда он ложился спать, а я была рядом в кабинете, он через затворенную дверь окликнул меня.

- Саша!

- Да, пап??

- Я хотел сказать по поводу завещания... Если останутся какие-нибудь деньги от первого издания сочинений, хорошо было бы выкупить Ясную Поляну у мам? и братьев и отдать мужикам...

- Хорошо, пап?.

Больше он никогда не заговаривал со мной об этом.

Догадывалась ли действительно мам? о том, что происходило, была ли она больна, но она не переставая мучила отца. С Чертковым она была резка, даже груба, намекала ему, что он слишком часто ездит. "Кажется, достаточно видимся, чуть ли не по два раза в день", или: "Врываются посторонние люди в дом, хуже полицейских", - говорила она, явно намекая на Черткова.

Мать во всеуслышание заявила, что она предприняла меры для того, чтобы Черткова снова выслали из Тульской губернии.

По ночам она не давала отцу спать, вбегала к нему в комнату, несколько раз симулировала самоубийство. Я пробовала усовещивать мать, уговаривала ее жалеть отца, она кричала на меня, грозила выгнать из дома. Жизнь с каждым днем делалась все невыносимее.

Когда я входила к отцу, мам? немедленно следом за мной шла в кабинет, она не давала нам возможности говорить о делах, перебивала, вмешивалась и всячески старалась отдалить меня от отца. Он слабел и худел с каждым днем, я не могла без слез смотреть на него.

Один раз отец позвонил. Я вошла к нему, и сейчас же из другой двери вошла мать.

- Соня, уйди, я Саше объясню письма.

Но она не уходила. Когда я в "ремингтонной" разобрала письма, я нашла записочку:

"Ради Бога, никто не упрекайте мам? и будьте с ней добры и кротки".

Очевидно, отец решил во всем уступать ей. В этот день он просил Булгакова передать Черткову, чтобы он не приезжал.

Я удивлялась его терпению, его кротости. Как мог он все это выносить, не раздражаясь, постоянно думая о матери, о ее спокойствии, о том, чтобы не сделать чего-либо ей неприятного. Я не могла так. У меня лопалось терпение, я раздражалась, а главное, мне казалось таким несправедливым, таким ужасным, что из-за матери отец угасает с каждым днем, с каждым

часом. Душа моя возмущалась. Я плакала, тосковала, не знала, что делать, как поступить. Ну отец не хочет идти против матери, хочет до конца бороться с ней любовью, ну а мы-то - дети, как можем смотреть на то, как мать убивает отца, и решительно ничего не предпринять? Но что я могла одна сделать? Что?

Мне легко было не сердиться на мать, когда я чувствовала, что она больна, но когда я видела в ней материальные побуждения, видела, как она боялась завещания, мне трудно было, по примеру отца, добро относиться к ней.

Я завидовала сестре Тане. Она была счастливее меня. Она не могла поверить, чтобы матерью руководили какие-либо корыстные цели, она видела в ней нервную больную, измученную мать, любила и жалела ее. Господи! Если бы я могла насколько мне было бы легче.

- Но, если она больная, надо поместить ее в санаторию, - говорила я. Недопустимо, чтобы больная распоряжалась судьбой стольких людей, чтобы старшие дети смотрели спокойно на страдания отца. Каждый день такого испытания на месяцы, может быть, на годы сокращает его жизнь!

Я чувствовала, знала, что надо было что-то делать. Я писала сестре, настаивала на том, чтобы выписали врачей, и, если мам? действительно больна, устроили ее на время в санаторию.

Но что могла сделать я одна, младшая, нелюбимая, на которую в семье привыкли смотреть как на девчонку, с которой нечего считаться?

Положение становилось все более и более тяжелым. Не было покоя ни днем, ни ночью. Достаточно было

малейшего повода, чтобы мать пришла в страшное возбуждение.

Наконец, приехала Таня с Михаилом Сергеевичем и немедленно они с мужем были вовлечены в драму, которая у нас разыгрывалась. Всю ночь не спали - шли бесконечные разговоры.

Таня и Михаил Сергеевич доказывали матери всю несуразность ее требований, говорили ей о том, что душа отца давно уже не принадлежит ей - Софье Андреевне, что отец волен отдавать свои писания кому хочет, и что никто - даже она, жена, - не имеет права в это вмешиваться.

Но никакие доводы не помогали. Мам? кричала: "Убьюсь, отравлюсь, если отец не велит отдать мне дневники! Дневники или моя жизнь!"

Она все повторяла: "Я измучена, я больна, меня извели!"

Тогда Таня не выдержала:

- Вы все говорите: я, я! Да ведь вы сами себя мучаете, а вы бы подумали о других: об отце, обо мне, о Саше! Ведь мы все измучены!

Первый раз за все время отец вздохнул свободно. Он даже смеялся за обедом, когда Таня рассказывала, как к ним в Кочеты приезжал киносьемщик и снимал крестьянскую свадьбу. Свадьба была у скотника. Он был совершенно пьян, всех угощал и каждый раз, как гости отказывались пить, скотник орал во все горло "за ваше здоровье" и залпом выпивал стакан водки, а потом клялся и божился, что пьет в последний раз и готов идти

сейчас же в церковь и дать зарок, что больше пить не будет.

- Так что же ты не пошла? Il fallait le prendre au mot, - сказал отец. Вот ты читала мое описание встречи с молодым крестьянином, он обещал мне не пить.

Как радостно было смотреть на отца! Как он оживился и как ласково смотрел на Таню!

Утром Таня сказала мне:

- То, что отец делает теперь, - подвиг любви, это лучше всех тридцати томов его сочинений. Если бы даже он умер, терпя то, что терпит и делая то, что делает, я бы сказала, что он не мог поступить иначе! - и заплакала.

Когда я повторила отцу Танины слова:

- Умница Танечка, - сказал он и разрыдался.

Вечером он опять отдыхал под Таниной защитой. Читал рассказ Mill'я "Le Repos Hebdomadaire" и очень наслаждался. Он сидел в вольтеровском кресле, когда я проходила мимо него, и мне показалось, что он что-то сказал:

- Что ты, пап??

- Девки мои хороши, - сказал он, радостно улыбаясь.

Но отдых был кратковременен. Таня, Михаил Сергеевич и я должны были ехать в Тулу. Запрягли лошадей. Вдруг с письмом в руках вошел отец.

- Бог знает что такое, бог знает, пойдите кто-нибудь к Софье Андреевне! Я написал ей письмо, что иду на всякие уступки, что люблю ее, она не стала читать, кричит, что убьет себя!

Никогда я еще не видела отца в таком состоянии. Он был бледен, голос прерывался, видно было, что он едва стоял на ногах. Таня побежала к матери, а мы с Михаилом Сергеевичем пошли за отцом. Отец просил меня отдать письмо мам?, когда она его потребует, и мы с Варварой Михайловной поторопились снять с него копию*.

Когда я принесла его матери, она не обратила на письмо внимания и все твердила Тане, что, пока отец не отдаст ей дневников, она не перестанет "болеть".

На другой день Таня и Михаил Сергеевич поехали с дневниками в Тулу. Отец, как он и написал матери, твердо решил отдать все дневники на хранение в банк.

Но не успели Сухотины отъехать, как нервное состояние матери снова дошло до крайних пределов. Она пошла к отцу в кабинет, стала умолять его передать ей ключи от несгораемого ящика, где будут храниться дневники. Она упала перед ним на колени, плакала. Отец отказал ей и, чтобы как-нибудь прекратить тяжелую сцену, ушел в сад. Когда он проходил под ее окнами, мать сверху крикнула ему:

- Левочка! Я выпила склянку опия!

Отец одним духом вбежал на второй этаж. Она встретила его словами:

- Я нарочно, я не пила.

Когда, задыхаясь, он рассказывал мне эту сцену, я думала, что он умрет. Он был бледен как полотно, жаловался на стеснения в груди. Я попробовала его пульс. Пульс был больше ста, с сильными переборами...

Я побежала к матери и снова и снова говорила ей, что она убьет отца, если будет так продолжаться. А от нее я бросилась в сад, к отцу. Он ходил по аллее в страшном волнении.

- Поди скажи мам?, что тем самым, что она делает, она заставит меня уйти из дома, - сказал он. - И я непременно уйду, если она будет продолжать. А насчет дневников скажи ей, что ключ я передам Михаилу Сергеевичу. Это мое желание, и я так и сделаю.

Я передала матери слова отца и от себя добавила, что ей необходимо лечиться, что я не могу поверить, чтобы, будучи здоровой, она могла бы сознательно так мучить отца.

- Ну хорошо, - сказала она, - я согласно лечиться, только не у Никитина, а пусть вызовут психиатра из Мещерского.

Вечером, когда Таня и Михаил Сергеевич вернулись из Тулы, мы с сестрой сидели и разговаривали. Пришел отец. Мы говорили о матери и решили вызвать докторов.

- Я знаю, - сказал отец, что нехорошо делать уступки, но мне так трудно, так я плохо себя чувствую, что не в силах иногда проявлять необходимую твердость. Ведь и физически силы имеют предел! - добавил он грустно. - А не делаем ли мы сейчас преступления? Она опять подумает, что у нас заговор против нее. - И отец встал.

- Нет, нет, мам? гуляет с Михаилом Сергеевичем, - сказали мы.

Но он все-таки пошел и вдруг остановился в дверях:

- Что, вам вместе не скучно?

- Нет, - ответили мы в один голос, - а что?

- Уж очень вы похожи, - сказал он и вышел.

Таня и Михаил Сергеевич уехали. Мы снова остались одни с матерью и Левой, который только подливал масла в огонь, невольно восстанавливая мать против отца. Он считал ее во всем правой и обвинял отца.

- Как ты можешь сидеть спокойно здесь, когда она того и гляди убьет себя! Это жестоко, гадко! - Отцу даже показалось, что Лева назвал его дрянью!

Отец плакал, когда рассказывал мне об этом!

Когда Таня уехала, Лев спросил меня:

- Что тебе отец говорил о нашем с ним разговоре?

- Это мое дело, - ответила я.

- Мне Таня говорила, будто отец сказал, что я назвал его дрянью. Ты скажи отцу, что я жалею. Я не то сказал. Хорошо, что он не слышал того, что я действительно сказал... Но ведь это возмутительно! Он с своим прощением и непротивлением сидит спокойно в кресле, а мать лежит на полу и готова убить себя!

Лева не скрывал, что не любит отца, что бывают минуты, когда он даже ненавидит его!

Первое время я пробовала уговаривать его, чтобы он подействовал на мать, помог бы отцу, но все это, разумеется, было бесполезно! Что можно было ожидать от человека, который не стеснялся публично выступить против отца!

От разговоров и неприятностей я чувствовала себя совершенно разбитой. Еще до вечернего чая я уходила к

себе и ложилась. Иногда отец заходил ко мне. Один раз после тяжелого разговора слевой я ушла спать, но зашел проститься Гольденвейзер, а затем и отец. Разговорились о Тане и Михаиле Сергеевиче.

- Я хочу похвастаться, - сказал отец, - умные люди видят огромное количество разнообразных характеров. Вот, например, Михаил Сергеевич, он совершенно особенный. С одной стороны, барство, аристократизм, а с другой душевная глубина, твердые религиозные принципы, честный, правдивый. Он не желает и не ищет перемены внешнего строя, а в том, который существует, старается жить хорошо.

- Да, это лучше, чем отрицание всего, - заметил Гольденвейзер, не поняв, по-видимому, мысль отца.

- Да, да. И он много делает хорошего, - ответил отец.

Говорили о Паскале, которым отец был занят, говорили о лошадях и собаках. Шутили. Я так развеселилась, что когда отец и Александр Борисович ушли, я оделась и пошла в залу.

- Вот это хорошо! - сказал отец, увидав меня.

Все сидели за чайным столом и весело, непринужденно разговаривали. Мам? принимала ванну. Я рассказала, как купец Платонов посылал в Москву лошадь и экипаж своей жене, чтобы с вокзала она не ехала на извозчике.

- Это что, - сказал отец, - в Ельце есть купец, он никогда не ездит на поезде, говоря, что он не кобель, чтобы по свистку ходить!

Все смеялись и отец больше всех. Потом влетела летучая мышь, вскочили, гоняли ее, кричали и опять смеялись. Перед сном я зашла к отцу.

- Сердце твое как? - спросила я.

- Это все пустяки! - ответил он мне. - Самое важное не в этом, а в том, что не нынче-завтра умирать надо.

- А я не могу быть равнодушной к этому, - сказала я.

- Да, да, понимаю, а все-таки мне умирать пора.

- Чертков говорит, что ты проживешь до ста лет.

- Нет, нет, и не хочется, не хочется...

Он так грустно это сказал, что я чуть не расплакалась.

- Хотя, - прибавил он, помолчав, - в одном отношении хочется. Делаешься хоть понемногу все лучше и лучше.

- Ну, когда тебе хорошо и мне радостно, - сказала я.

- Пойду свой дневник писать!

Вызванные к матери врачи, доктор Никитин и профессор по нервным болезням Россолимо, приехали, когда Тани и Михаила Сергеевича уже не было. Лева отнесся к их приезду скептически.

- Я скажу докторам, - сказал он, - что лечить надо не мать, она совершенно здорова, а выжившего из ума отца!

Врачи не нашли у матери признаков душевной болезни, но крайнюю истерию, "паранойю". Они советовали во что бы то ни стало разлучить отца с матерью. Но как только они сообщили об этом мам?,

поднялась страшная буря, она ни за что не хотела на это согласиться.

Дмитрий Васильевич видел душевные страдания отца и не знал, как помочь нам. Он выслушал сердце отца и нашел его в очень плохом состоянии.

- Скажу вам по секрету, - грустно сказал он, - вам предстоит еще много, много тяжелого.

Из приезда врачей ничего не вышло. Я надеялась, что соберется вся семья, по крайней мере старшие, и вместе с докторами обсудят, как оградить отца от постоянных волнений. Нельзя же было оставить 82-летнего старика одного, на произвол судьбы с его страданиями!

Но врачи уехали, и я снова почувствовала полное одиночество и беспомощность!

Должно быть, мать подозревала о существовании завещания. Она вызвала брата Андрея, и мы со страхом ждали его приезда.

- Ты вот все огорчаешься, - сказал мне как-то отец, - а я так хочу смерти, - это единственное избавление. Мне так тяжело! А вот теперь еще, кроме Льва Львовича, Андрей Львович... Хочу еще сказать тебе, что мне все чаще и чаще приходит в голову, что нам надо с тобой уехать куда-нибудь. Тут такие серьезные мысли, приближение смерти, не до любезностей и притворства. Ах, какая это все фальшь, какая фальшь! - вдруг воскликнул он.

В другой раз отец сказал невестке Ольге:

- Странная вещь, даже смешно говорить: ведь если бы только Софья Андреевна на одну минуту сознала себя

виноватой, все было бы хорошо и как ей легко бы стало. А выходит, наоборот, вот уже тридцать лет, и чем дальше, тем хуже, все ее старания направлены на то, чтобы оправдать, обелить себя и осудить других.

- Что это, болезнь, пап?, или распущенность? - спросила Ольга.

- Распущенность, распущенность, - сказал отец. - Отсутствие всякого сдерживающего начала, кроме общественного мнения.

Приезжал Миша с семьей. Он скоро уехал, а семья его осталась. Я много говорила с его женой, она разумная и все поняла. Какие прекрасные жены у моих братьев! Недаром один раз брат Миша глубокомысленно изрек: "В одном мы несомненно лучше своих жен". "В чем же?" - спросила его. - "У нас вкус гораздо лучше".

Я удивлялась отношению Миши к воле отца. Не все ли равно, есть ли юридическое завещание, если всем нам прекрасно известно желание отца, не раз выраженное им и устно и письменно? Неужели может подняться вопрос о том, исполнить ли отцовскую волю или нет?

Жена брата со мной вполне соглашалась и говорила, что Миша действовал под влиянием матери.

Через несколько дней приехал брат Андрей. Он только что получил письмо от Тани, писавшей ему о положении в Ясной Поляне и уговаривавшей его не подливать масла в огонь, помнить, что мать больная, что надо жалеть отца.

Когда я пришла в канцелярию, Андрей сидел там взбешенный.

- Какое идиотское письмо от Тани, - сказал он. - Я с начала до конца не согласен с ним.

- Почему же? - спросила я.

- Во-первых, я не считаю мам? больной, позвали каких-то жидов, они черт знает что наврали, а вы рады, это вам на руку. "Ненависть несвойственна людям", процитировал он из письма. - А пап? со своим непотивлением только и делает, что ненавидит и делает зло людям.

- Что ты, что ты говоришь, Андрюша! - с возмущением сказала я. - Когда же он кого обидел?!

- Только это и делает! Недаром восстановил против себя всех своих сыновей, а на меня, каждый раз, как я бываю, непременно разозлится.

- Это неправда! Если он и не одобряет твоих поступков, ты сам в этом виноват!

- Плевать мне на мнение выжившего из ума старика! Все порядочные люди одобряют мои поступки. А он, как злая собака, постоянно на всех огрызается! закричал Андрей.

- Андрюша, - сказала я, едва выговаривая слова, так сильно сперло мне дыхание. - Я здесь занимаюсь, тут моя рабочая комната, уйди, пожалуйста. Ты говоришь такие вещи, которые я не могу слушать!

- Молчи! - заревел он. - Не смей мне делать замечаний! Вы все здесь с ума сошли, вот вам и не нравятся суждения здравого человека.

Долго после его ухода у меня сильно билось сердце.

За обедом мам? разговаривала с сыновьями. Разговор сначала шел о раздаче семян крестьянам. Мам? говорила, что трудно выбрать самых бедных.

- Я самый бедный, - сказал Лев, - и мне хотелось бы получить девять пудов ржи.

Потом разговор перекинулся на театры, балеты, цирки, платья, обсуждался способ уничтожения морщин. Отец сидел, не проронив ни слова.

27 июля был памятный и очень тяжелый для меня день. Не успела я утром выпить кофе, как меня позвал Андрей, а когда я поднялась до половины лестницы, стал звать Лев.

- Ну иди, иди к Леве, - сказал Андрей, - а я потом с тобой поговорю.

Я пошла к Леве.

- Видишь ли, - начал Лева, - мам? вчера слышала, что Булгаков говорил о каком-то документе, и она решила, что это завещание, и опять очень взволновалась. Скажи, есть у пап? завещание?

Не успел он закончить фразы, как вошел Андрей и они долго меня пытали, нет ли у отца какого-нибудь завещания?

Я сказала, что для меня немыслимо при жизни отца думать о его смерти и говорить о завещании, а потому я отвечать отказываюсь.

- Да ты только скажи: есть или нет завещание? - допытывались они.

Долго они меня мучили и не отпускали. Наконец я решительно заявила, что дальше говорить об этом не хочу и не буду.

Я ушла к отцу в кабинет предупредить его и сговориться насчет ответов братьям. В то время, как я рассказывала ему про свой разговор с братьями, за дверью слышались шаги. Я отворила дверь в гостиную и оказалась лицом к лицу с Андреем. Он вошел.

- Пап?, мне нужно с тобой поговорить.

- Говори, что такое?

- Я бы хотел без Саши!

- Нет, пускай она останется, у меня нет от нее секретов, - сказал отец.

- Так вот видишь ли, пап?, - начал Андрей чрезвычайно неуверенно, - у нас в семье разные неприятности, мам? волнуется, и мы хотели у тебя спросить, есть ли у тебя какое-нибудь завещание?

- Я не считаю себя обязанным тебе отвечать, - с несвойственной ему твердостью сказал отец.

- А-а-а-а! Так ты отвечать не хочешь?

- Не хочу.

Андрей встал.

- Это другое дело! - и вышел, хлопнув дверью.

- Ооох! О-о-о-ох! - простонал отец. - Боже мой! Боже мой!

Встретив меня на лестнице, Андрей крикнул:

- Чего ты там торчала у своего сумасшедшего отца!

На другое утро братья опять пытали меня. Я так же упорно отказывалась им отвечать. А вечером мне предстояло новое испытание. Мать близко, близко подошла ко мне и, глядя на меня в упор, спросила:

- Саша, ты когда-нибудь лжешь?

- Стараюсь не лгать.

- Так скажи мне: есть завещание у пап? или нет?

- Я сегодня утром ответила твоим сыновьям, которые приставали ко мне с этим же вопросом, - сказала я, - и тебе отвечу то же самое: я не могу и не хочу при жизни отца говорить о его смерти. Считаю это чудовищным! И если ты помнишь, мам?, когда ты приходила ко мне читать свое завещание, я отказалась его слушать. Я считаю подлым, отвратительным то, что сыновья спрашивали отца о его воле!

- Ах, - сказала мать, - как ты глупа! Дело вовсе не в деньгах, а в том, что Лев Николаевич лишил меня своего доверия. Я его люблю и мне больно, что я ничего не знаю...

- Неправда! - сказала я с возмущением. - Неправда! Если бы вы любили его, вы никогда не стали бы спрашивать о его распоряжениях после смерти, причиняя ему такую душевную боль, а спокойно подчинились бы его воле.

Приехал Павел Иванович Бирюков. Отец обрадовался ему, как близкому человеку, много говорил с ним и решил ему рассказать про свое завещание и про то, что происходило в семье. Отец ожидал поддержки от Павла Ивановича и... натолкнулся на неодобрение. Бирюков говорил отцу, что он напрасно так сделал, что надо было позвать всю семью, объявить свою волю и

семья непременно исполнила бы ее. Он не одобрял того, что отец написал формальное, юридическое завещание.

Как плохо представлял себе Павел Иванович создавшуюся обстановку, как плохо учитывал силы отца!

Я была моложе, сильнее, но и я чувствовала себя совершенно издерганной. В этот день, когда отец опять стал мучиться с завещанием, стал осуждать себя за сделанное, я пришла в такое отчаяние, что целый день проплакала. Получила от Тани ласковое письмо - заплакала, стала что-то говорить отцу - заплакала.

Отец стал утешать меня и расспрашивал, что случилось.

- Ведь ты и представить себе не можешь, сколько ругательств, оскорблений я выслушала за эти дни по твоему адресу, - сказала я ему сквозь слезы, - и я ничего, ничего не могу сделать, не могу даже заставить людей замолчать...

- Ну, ну, душенька, - сказал отец, - мы постараемся сделать как лучше, будем только держаться друг друга.

Он снова стал обдумывать вопрос с завещанием, решая, хорошо ли он поступил. Узнав о сомнениях отца, Чертков прислал ему длинное письмо, в котором он напоминал ему всю историю завещания. И отец снова пришел к решению: оставить завещание в силе.

"В.Г.Черткову.

Пишу на листочке, потому что пишу в лесу на прогулке. И со вчерашнего вечера думаю о вашем вчерашнем письме. Два главных чувства вызвало во мне это ваше письмо: отвращение ко всем проявлениям грубой корысти и бесчувственности, которые я или не

видел или видел и забыл, и огорчение и раскаяние в том, что я сделал вам больно своим письмом, в котором я выражал сожаление о сделанном. Вывод же, какой я сделал из письма, тот, что Павел Иванович (Бирюков) был неправ и так же был неправ и я, согласившись с ним, и что я вполне одобряю вашу деятельность, но своей деятельностью все-таки недоволен: чувствую, что можно было поступить лучше, хотя я и не знаю как. Теперь не раскаиваюсь в том, что сделал, т.е. в том, что написал то завещание, которое написано, и могу быть только благодарен вам за то участие, которое вы приняли в этом деле.

Нынче скажу обо всем Тане, и это будет мне очень приятно".

Когда, за несколько дней до этого, я просила отца сообщить Тане о завещании, он ответил мне, что посоветуется с Чертковым. Я сказала, что Чертков давно этого хочет.

- А мне так и говорить нечего, как хочется этого, - сказал отец, - уж кто ж мне ближе Тани!

На другое утро, я еще не оделась, ко мне в комнату вошла сестра.

- Мне пап? все сказал!

- Как я рада, - сказала я, - а то у меня было такое чувство, что все знают, а самый близкий человек - ты, не посвящен!

- Одно я сказала бы, - сделай в свою очередь завещание на меня, - сказала Таня, - если ты умрешь вскоре после отца, все останется братьям.

- Сделано уже. А тебе не неприятно, - спросила я, - что завещание написано на мое имя? Хотя, - добавила я, - это будет большая тяжесть, главное, что на отношениях с семьей придется поставить крест!

- Я очень рада, - сказала Таня, - главное, у меня отношения с матерью не совсем будут испорчены, хотя, может быть, даже несмотря на это, она не отказалась бы от меня.

- Ну, а разве мам? за то, что ты теперь не одобряешь ее поступков во всей этой истории, отчасти уже не отреклась от тебя?

- Да, это правда, - с грустью сказала она. - Ах, как жалки и подлы те, которые хотят, чтобы отец поступил иначе, и какова будет их роль в истории?!

После занятий я постучалась к отцу.

- Непременно войди! - крикнул он, как будто ждал моего прихода.

- Пап?, я ужасно довольна, что ты сказал Тане и оттого, как она отнеслась к этому!

- Да, да, я очень, очень рад. Я ее спросил, может ли она держать секрет от мужа, она ответила, что да, и я ей все рассказал. А когда рассказал, разрешил ей сказать мужу, но она сама думает, что лучше не надо.

Но, по-видимому, первое впечатление об отношении Тани к завещанию и у меня и у отца было ошибочное. Через несколько дней Таня сказала мне о том, что, пожалуй, не следовало делать завещания, во всяком случае не следовало бы отдавать в общее пользование сочинения до 80-го года.

Я как-то вошла к отцу в кабинет.

Накануне мы решили с ним уехать к Тане.

- Бог знает, что мам? говорила мне, - сказал он. - Она больная, ее надо жалеть, я чувствую себя готовым сделать все, что она хочет, не ехать к Тане и до конца жизни быть ее сестрой милосердия.

- А я не чувствую в себе больше возможности быть сестрой милосердия, сказала я сердито и вышла из комнаты.

Но на душе у меня было беспокойно, что я грубо ответила, огорчила его и, промучившись часа два, я пошла к нему в кабинет. Он лежал на диване с книжкой. Я подошла к нему и поцеловала его в голову.

- Прости меня!

Мы оба заплакали, и он несколько раз повторял:

- Как я рад, как я рад! Мне было так тяжело!

Кочеты

- Ты, кажется, говорил слевой? - спросила я.

- Да, да. Я высказал ему то, что давно собирался сказать. Я считаю, что Лева наделал мне много зла во всей этой истории. Ведь он как-то на этих днях прямо заявил, что не любит меня, а иногда, когда считает меня неправым, ненавидит. Так вот я ему и сказал, что его поступки были следствием его отношения ко мне.

- Что же он тебе ответил?

- Да что же? Что мне отвечает... - и он указал на комнату мам?. - То же самое, они всегда правы, а все виноваты. Я вчера сказал Софье Андреевне, что отдал все имущество семье и считаю, что отдать еще доход с сочинений, ну, Мише например, - прямо грех!

Я сказала отцу, что неважно себя чувствую, но не могу и думать о том, чтобы опять ехать в Крым и оставить его одного.

- А я с тобой поеду! - сказал он.

- Нет, пап?ша, не сможешь ты уехать! А то чего бы лучше!

- Ну, там видно будет!

- Вот, пап?, ты говоришь, что тебе ничего не нужно, а мне так много нужно! Все думаю, почему так, а не этак!

- Да, молода еще ты, вот нам, старикам, это понятно, все желания отпадают, а молодым трудно!

Несколько дней спустя я принесла отцу письма и ждала, что он скажет. Но он подержал их в руках и положил, сказав:

- Нет, потом. Я должен привести себя в порядок.

И когда я вопросительно взглянула на него, прибавил:

- Да, да, оказывается Лева хочет здесь поселиться, а он мне очень, очень тяжел. Я должен подготовиться, чтобы перенести это, как нужно. Надо крепиться...

Как-то раз Дима Чертков просил отца разъяснить ему некоторые изречения.

- Что именно его заинтересовало? - спросила мам?.

- Да одно изречение, более серьезное, я не помню, - сказал отец, - а другое менее важное.

- Какое же? - настойчиво переспросила мам?.

- Он спрашивал об изречении в "Круге чтения": "Кувшин падает на камень горе кувшину, камень падает

на кувшин - опять горе кувшину". А значит это, по-моему, то, что в борьбе чем грубее человек, тем сильнее, могущественнее, тем вернее победит.

- Ну, это совсем неправильно, - сказала мам?, - чье это изречение?

- Китайское.

- Дикие люди, - сказала она.

А вечером, когда я по обыкновению вошла к отцу проститься, он сказал мне:

- Саша, а ведь мам? прекрасно поняла изречение о кувшине и приняла это на свой счет.

Отец засмеялся.

Здоровье отца с каждым днем слабело. Я чувствовала, что он едва держится. Кувшин неминуемо должен был разбиться.

По предписанию врачей необходимо было разлучить родителей, и мы с Таней решили увезти отца в Кочеты. Но мать начала плакать, умоляла взять ее с собой, говорила, что она совсем больна. До самой ночи она мучила отца, спрашивая, хочет ли он, чтобы она ехала.

- Да делай, как хочешь, Соня, - отвечал он.

На утро она собралась вместе с нами.

- Как все глупо, - говорил отец грустным, слабым голосом, - к чему наша поездка, если мам? едет с нами. Я не выспался, мне нездоровится...

Мне было ясно, что, если бы отец мог быть твердым и настойчивым, состояние матери, будь то болезнь или нет, несомненно улучшилось бы. Каждый раз, как он решительно отказывался исполнять ее требования, она

покорялась и успокаивалась. Но горе было в том, что отец, по свойствам своего характера, по своей мягкости, всегда уступал. И чем больше он уступал, тем требовательнее становилась она.

Сколько раз мне приходила в голову сказка "О рыбаке и рыбке". Я даже как-то сказал об этом отцу.

- Это правда, правда, - сказал он мне грустно.

Накануне Чертков получил известие из Министерства внутренних дел, что ему разрешено остаться в Тульской губернии. В Телятинках все ликовали - бабушка, Анна Константиновна, Ольга с детьми, сам Вл.Гр. Известие это скрыли от матери, чтобы перед отъездом не вызвать бури и не отравить поездку отцу.

Для нас с Таней это известие было большим успокоением. Сознание, что мать и братья могли снова повредить Черткову, было невыносимо! Незадолго до этого мы писали другу нашей семьи О. с просьбой переговорить о Черткове со Столыпиным и предупредить его, что если будут какие-либо просьбы со стороны матери о высылке Черткова, их надо рассматривать как следствие болезненного состояния. О. передал нашу просьбу Столыпину.

Кроме того, мать Вл.Гр., близкая ко двору, написала письмо императрице Марии Федоровне. За неделю до нашего отъезда в Кочеты у меня произошел следующий разговор со старушкой Чертковой.

- Я думаю, - сказала я Елизавете Ивановне, - что вы поможете своему сыну оправдаться перед правительством и остаться здесь жить. И если вы, моя сестра и я сделаем все, чтобы защитить вашего сына, может быть, нам это и удастся.

- Я буду с вами также откровенна, - сказала Елизавета Ивановна, - на этих днях я начала письмо императрице Марии Федоровне, но когда дошла до несправедливых нападок вашей матери, я не могла продолжать. Мне казалось, что это чудовищно! Теперь, раз вы меня поощрили, я кончу это письмо, кончу нынче же!

В Кочеты мы ехали хорошо. В вагоне было два отделения, в одном сидел отец, в другом все остальные. Он прочел письма, выпил кофе и задремал. Он был так слаб, что я боялась за него.

Приехали к семи часам вечера. Отец очень устал. Ночью, когда он пошел спать и мам? вышла из его комнаты, я понесла ему дневники - маленький, интимный, и большой. А он уже шел мне навстречу:

- Дай дневники!

Он взял их у меня и повернул обратно. За его спиной стояла мам?. Увидав ее, он отдал мне большой дневник, но тотчас же вернулся и взял его обратно. Мам? пошла за ним. Я слышала, как она спросила:

- Ты от меня прячешь дневники?

- Да, от тебя, - сказал отец.

- Я все-таки жена...

Дальше я не слыхала.

Этот инцидент послужил поводом для волнения на целый день, но Таня так решительно настаивала, чтобы мам? ни с кем не говорила о волнующих ее вопросах, что постепенно мам? стала успокаиваться, как вдруг в руки ей попала газета с сообщением, что Черткову разрешено остаться в Тульской губернии.

Мам? вдруг громко вскрикнула:

- Вот мой смертный приговор!

Весь остальной день она волновалась, писала Столыпину письмо, ужасное, по словам Михаила Сергеевича.

- Я убью Черткова! - кричала она. - Подкуплю его отравить! Или он, или я!

Потом приехал Сережа с графом Дмитрием Адамовичем Олсуфьевым, и она несколько успокоилась.

На другой день после приезда, за обедом, отец рассказывал о разграблении озерскими мужиками монополии. На отца эта история произвела громадное впечатление. Ехал возчик с целым полком водки. По дороге около деревни Озерок повозка сломалась. Возчик остановился, собрались крестьяне. Воспользовавшись тем, что возчик был пьян, мужики постепенно растаскивали водку и в конце концов разграбили все и перепились.

Крестьянам предстояло жестокое наказание. Это особенно волновало отца и он хлопотал за них, писал присяжному поверенному Гольденблату, всегда охотно соглашавшемуся по просьбе отца защищать крестьян.

Вечером все играли в разные игры с детьми - Танечкой и Микой, сыном Левы Сухотина. Потом дети пели и плясали. Дедушка и бабушка смеялись не меньше нашего.

Я любила смех мам?. Она смеялась беззвучно, трясясь всем телом и, точно конфузясь своего смеха, закрывала рот рукой. В этот вечер она была такая

жалкая, кроткая и милая. Как бы мы любили ее, если бы она могла быть всегда такой.

На другой день вечером мы пошли большой компанией в школу смотреть представление Чеховского "Злоумышленника" и волшебный фонарь. На дворе было темно, хоть глаза выколи, под ногами непролазная грязь, Таня освещала путь фонарем. Мать взяла отца под руку, но он сам насилу шел и, споткнувшись, оставил ее руку и пошел один.

Школа была битком набита, много было детей. Мальчики играли хорошо. Отец смеялся до слез. Затем шли долгие и утомительные приготовления к фонарю.

Показывали жизнь Сергия Радонежского. Стоя около полотна, учитель, заикаясь и робея из-за присутствия гостей и главным образом отца, рассказывал, как Сергей Радонежский после пророчества монаха чудом научился читать и писать.

Отец встал.

- Я сейчас пойду, - сказал он, но раздумал и опять сел, а через несколько минут решительно встал и пошел к выходу.

- Какой дребеденью набивают голову! Ужасно! Ужасно!

За ним вышли мам?, Таня, О., Сережа, Душан Петрович и я.

Как-то на днях отец застал меня во время спора с учителем Иваном Михайловичем. Тогда он ничего не сказал, но сегодня спросил меня:

- О чем ты так горячо спорила с Иваном Михайловичем?

- О православной вере, - сказала я, - он мне сказал, что церковь освящает только хорошее. А я спросила его: а война? Смертная казнь? Кто же их освящает, как не церковь?

- Неужели он защищает смертную казнь?

- Он считает это печальной необходимостью.

- Ай, ай, ай, - застонал отец, - ай, ай, ай!

И долго он не мог успокоиться, все качал головой и охал.

Но хотя жизнь наша протекала более спокойно, чем в Ясной Поляне, отец все время был грустен. Он чувствовал, что мать находится в том же нервном состоянии, что она сдерживается только благодаря тому, что находится в чужом доме. Она продолжала всем рассказывать, что Чертков хочет разлучить ее со Львом Николаевичем, что Лев Николаевич находится под его влиянием и что он хочет передать все свои писания в общую пользу. Граф О. выслушал жалобы матери, но отнесся к ней как к больной, не придавая значения ее словам.

- Что, Лев Николаевич, не хочется вам за границу? - спросил вдруг Дмитрий Адамович.

- Нет, никуда не хочется. А вот за настоящую, большую границу слишком часто хочется! - и грустно улыбнулся.

Я с ужасом думала о возвращении в Ясную Поляну. Как всегда, когда атмосфера прояснялась, отец усиленно начинал работать. Однажды, когда я вошла к нему с письмами, он сказал:

- Ну, Саша, ты все просишь работы, скоро я тебе ее дам... Вот все хожу и думаю.

В этот же день после обеда он позвал детей, Мику и Таню, к себе в комнату и рассказал им сказочку. Я записала ее, сидя под окном, чтобы не мешать ему своим присутствием.

"Были две сестры, у них были дети: у одной девочка Соня, у другой мальчик Петя. Поехали раз сестры в гости, а детей послали вперед с няней. По дороге случилось несчастье. Сломалось колесо, ехать дальше нельзя. Тут деревня. Крестьяне говорят: мы починим. Нечего делать. Пошли дети с няней в избу. Видят, в избе девочка и женщина. Девочка худая, платье на ней рваное, плачет. Соня и Петя спрашивают женщину: почему она плачет? - А оттого плачет, что ей молока хочется, а у нее нет! А няня и говорит Соне и Пете: я вас покормлю, пейте молоко! А Соня и говорит: я не стану пить молока, дай девочке. Няня стала говорить: как можно, пейте молоко! - Но Соня и Петя опять сказали: мы не станем, если ты не дашь девочке! - Тогда няня дала девочке, потом пришел еще мальчик. Опять Соня и Петя говорят: мы не будем пить, отдай, няня, молоко мальчику! - Потом Петя и говорит: почему это у нас всего много, а у них ничего нет? - Няня говорит: так Бог велел! - А Соня говорит: неправда! Если Бог так сделал, так этот Бог злой, злой, не буду ему молиться. - Если Бог так сделал, не хотим такому Богу молиться! - сказал Петя. И вдруг они слышат голос с печки. Там старый старичок лежал. - Умница, ты говоришь, что Бог злой. Он велел любить всех людей. А уж это люди так устроили! - А зачем они так устроили, - спросила Соня, - что у одних много, а у других нет? - А Петя говорит: я, когда вырасту большой, сделаю так,

чтобы у всех было поровну. - А старик говорит: ну смотрите, сделайте так, дети, помогай вам Бог!

А сделали ли они так - не знаю".

- Поняли, дети? - спросил отец.

- Да, да!

- Ну, пойте теперь!

И все, начиная с дедушки, запели "Птичка Божия не знает"...

- Ну, а конфетку вам можно? - спросил дедушка.

- Мы у мамы спросим! - и побежали.

Когда отец встретил Леву Сухотина, он, смеясь, сказал ему:

- Ну, Левочка, я вашему сыну социалистическую сказку рассказал!

Отца не переставая занимал вопрос, в какой форме можно было заронить в детях интерес к нравственным вопросам. На другое утро он спросил, поняли ли дети его сказку? Мика не понял, а Таня рассказала мне сказку с начала и до конца, и когда подошла к месту, где дети отказались от молока, она говорила чуть слышно, и мне показалось, что она вот-вот расплечется. Я рассказала об этом отцу, он был, видимо, тронут.

Брат Лев вызвал мать в Ясную Поляну. Это снова привело ее в нервное состояние. Она плакала, осуждала отца за эгоизм, жаловалась, что он отпускает ее одну.

Чтобы успокоить отца, я вызвалась проводить мать до Ясной Поляны. Отец благодарил меня, а Таня уверяла, что я совершаю подвиг.

Мы прожили несколько дней в Ясной. Без отца мам? была гораздо спокойнее. Но как только вернулись в Кочеты, она снова впала в нервное состояние. Малейший повод выбивал ее из равновесия. Приехал киносьемщик от фирмы Дранкова и добивался возможности снять отца. Этого было достаточно, чтобы взволновать мам?. Она во что бы то ни стало желала сняться вместе с отцом и вкладывала в это желание столько страстности, столько беспокойства, точно для нее это было вопросом жизни или смерти.

- В какой-то газете напечатано, - говорила она, - что Толстой развелся с женой! Так пусть все видят теперь, что это неправда!

Во время съемки она несколько раз умоляла отца посмотреть на нее.

С каждым днем она все настойчивее требовала, чтобы отец возвращался в Ясную Поляну. Она страдала невралгией, отказывалась обедать. Стоило только отцу войти в комнату, как она начинала метаться по постели, стонать, охать. При всей своей кротости Душан Петрович подозревал, что мать преувеличивала свои страдания.

Так продолжалось с неделю. Один раз, когда отец уехал верхом, мать в состоянии крайнего возбуждения побежала в сад. Вернувшись, отец не лег отдыхать, а пошел искать ее, но не нашел и просил Душана Петровича пойти за ней. Ее отыскал Михаил Сергеевич на скамеечке около пруда, и Душан Петрович оказался невольным свидетелем их разговора. Они кричали так, что слышно было на деревне.

- Я никогда не видал этого спокойного человека в состоянии такого гнева! сказал Душан Петрович.

Михаил Сергеевич кричал, что если мать тотчас же не прекратит своих комедий, то Лев Николаевич непременно от нее уедет и он - Михаил Сергеевич, и Таня, и все будут на этом настаивать.

- Слава ваша, жены Толстого, рухнет! Толстой сбежал от жены, отравившей ему жизнь!

- Я напишу в газеты, я оправдаюсь! - возражала мать.

- Нет, уж оправдаться тут нельзя. Ушел и ушел. На восемьдесят втором году так себе, здорово живешь, не уезжают от жены!

Михаил Сергеевич говорил, что теперь уже никто не верит ее душевной болезни.

- Нет, я действительно больна! - защищалась мать.

- А если вы больны, то исполните предписания докторов, разъезжайтесь со Львом Николаевичем, иначе придется ему уйти от вас, вот увидите!

- А я тогда напечатаю предсмертное письмо в газеты о том, что он делал, а сама отравлюсь и осрамлю его на всю Россию.

- Да никто вам не поверит, никто не поверит! - вне себя кричал Михаил Сергеевич.

Наконец, мать как будто успокоилась и вернулась домой. Но вечером снова стала требовать, чтобы отец ехал с ней домой, по крайней мере назначил бы день отъезда. Но отец ответил, что он не мальчишка и что жалеет, что раньше давал ей какие-то обещания, а теперь уступать ей ни в чем не будет.

И мать смягчилась, стала просить прощения, сказала, что отдаст ему все его обещания назад.

Двенадцатого сентября мам? одна уехала в Ясную Поляну. Десять дней мы жили спокойно в Кочетах, отдыхая от всего пережитого. Отец работал. За эти дни он получил много интересных, глубоко взволновавших его известий: книгу Купчинского против войны, письмо Николаева о сыне, собирающемся отказаться от военной службы, письмо Булгакова, который также решил вместе с Сережей Булыгиным не идти в солдаты и, наконец, описание мучений отказавшегося Кудрина.

"Знают ли все эти люди, - думала я, - что отец сам терпит не меньшие мучения, чем они? Несет величайший подвиг любви, как сказала Таня?"

В моем сердце не было смирения, а был ужас и отчаяние. Сережа уехал в свое Никольское-Вяземкое, Таня останется в Кочетах, на помощь остальных братьев надеяться нечего, а мы с отцом снова возвращаемся в Ясную Поляну. "Не выдержит отец, умрет", - думала я с тоской.

Последний месяц в Ясной Поляне

На станцию за нами выслали две пролетки. Отец всю дорогу молчал. Вдруг в темноте показался силуэт верхового.

- Иван, что такое?

- А это черкеса графиня прислали с факелом.

Ночь была звездная, светлая, и без факела дорога хорошо видна.

- Не нужно зажигать! - крикнул Иван. - Ступай вперед, вели мужикам дорогу давать!

По шоссе тянулись бесконечные подводы на базар в Тулу. Черкес крупной рысью выехал вперед.

- Правее, правее, черти, иль не слышите! - орал он диким голосом на мужиков.

Дома мам? с страдальческим видом встретила нас на лестнице. За чаем она вздыхала, охала, все как и прежде.

- Она очень плоха, - шепнул мне отец, когда мы на минуту остались одни.

Да, она была очень плоха: обвиняла отца, что он не приехал к ее именинам, бранила его старым эгоистом, эпикурейцем, который живет только там, где ему приятно, не думая о ней.

- Не могу видеть его старой, согнутой фигуры, - сказала она мне. - Он мне так противен, так противен...

Слезы подступали у меня к горлу.

23 сентября был свадебный день. Мам? вышла из своей комнаты нарядная, в белом шелковом платье, к завтраку подали шоколад, все по-праздничному, и только в душах наших было темно и мрачно. Когда я вошла к отцу в кабинет, я заметила, что на стене нет ни моего портрета с отцом, ни Черткова с внуком Илюшей. Оказалось, мам? их сняла и на их место повесила свой портрет.

После завтрака мам? стала готовить экран, чтобы сняться вместе с отцом. Она очень волновалась, не знала, согласится ли он, так как недавно он дал ей обещание, что для Черткова сниматься больше не будет. Отцу было тяжело, но, во избежание слез и разговоров, он согласился. Портрет не вышел. На другой день мам?

потребовала, чтобы отец снялся с ней на дворе. Было холодно, дул сильный ветер, мам? надела белое, шелковое платье и позвала отца. Я просила его надеть пальто и шляпу, но он отмахнулся от меня и пошел раздетый, с непокрытой головой. Он мрачно стал рядом с матерью, заткнув руки за пояс. Старушка Шмидт наблюдала из окна эту сцену, ахала и возмущалась. Мать хотела повернуть лицо отца к себе, но ей это не удалось. Отец стоял как столб.

Все кипело во мне от возмущения, от страха, что отец простудится, я не выдержала и стала громко высказывать свои чувства. Я не помнила, что я говорила, но Мария Александровна все старалась успокоить меня.

- Что ты, Саша, так кричишь?

Я не заметила, как вошел отец. Я повторила ему все, что только что говорила.

- Ты ради матери, которая делает тебе столько зла, пожертвовал другом, дочерью, - кричала я, - ведь я не сама повесила свой портрет у тебя в комнате, ты повесил его, а теперь не решаешься взять его обратно!

Эх, больно мне, больно до слез вспоминать эту дикую, безобразную вспышку! Дорого бы я дала, чтобы этого никогда не было!

Отец покачал головой:

- Ты уподобляешься ей, - сказал он мне и вышел.

Целый день я не была у него. Было стыдно, стыдно...

За обедом мать говорила, что пошлет сегодняшние фотографии в "Русское слово". Все молчали.

Вечером я по обыкновению сидела и писала в "ремингтонной". На сердце лежал тяжелый, тяжелый камень. Звонок. Мне было стыдно идти к отцу, я послала Булгакова. Через минуту опять звонок. Я опять не пошла. Булгаков вернулся и сказал, что отец спрашивает: почему Саша не идет?

Я пошла.

- Саша, я хочу тебе продиктовать письмо.

- Хорошо.

Я взяла карандаш, бумагу и приготовилась писать. А в душе было желание броситься целовать ему руки и просить прощения. В горле стояли слезы, и я не могла произнести ни слова.

- Не нужно мне твоей стенографии, не нужно! - вдруг со слезами в голосе глухо сказал отец и, упав лицом на ручку кресла, зарыдал.

- Прости меня, прости! - я бросилась целовать его лоб, плечи, руки. Прости!

Долго мы оба плакали. Когда он стал мне диктовать, я сквозь слезы едва разбирала стенографические значки. Наконец, мы кончили.

- Прости, - повторила я снова, - прости меня!

- Я уже все забыл, - сказал он.

Наутро, когда я пришла к отцу, мне бросился в глаза мой портрет, висящий на прежнем месте. Мне стало страшно, что из-за этого снова выйдет история. Все то, что вчера было так мучительно, сегодня переболело и не причиняло страданий, я только думала о его спокойствии.

- Пап?, - сказала я, - я хотела тебя просить снять мой портрет. А то как бы не вышло чего. Мне теперь все равно!

- Нет, нет, я делаю это не для тебя, а для себя. Пожалуйста, помоги мне перевесить все по-старому! Где здесь висел Чертков?

Я показала. Когда мы повесили портреты на старые места, он сказал:

- Вот теперь хорошо!

Я решила на один день съездить в Таптыково повидать Ольгу с детьми. Варвара Михайловна собралась со мной. Я простилась с отцом и взяла слово с Марии Александровны, которая гостила у нас, известить меня, если что случится.

У Ольги мы провели весь день. Часов около девяти сидели пили чай. Вошла горничная.

- Александра Львовна! Вам из Ясной Поляны письмо!

Сердце упало. Разрываю конверт - письмо от Марии Александровны. Она просит немедленно приехать. Мам? в ужасном состоянии, Мария Александровна боится за здоровье отца.

Меня затрясло, как в лихорадке. Я попросила поскорее позвать кучера.

- Ехать никак нельзя, - сказал кучер Иван. - Грязь, темень, экипаж ломаем! Разве только по каменной дороге через Тулу.

Через Тулу 25 верст.

- Запрягай скорей! Поедем на Тулу!

Приехали мы около двенадцати часов ночи. Мария Александровна встретила нас на крыльце и рассказала, что после нашего отъезда мам? вошла в кабинет и, увидав висящие на прежних местах портреты, стала стрелять в них из пугача и разорвала портрет Черткова на мелкие куски. Мария Александровна испугалась и послала за нами.

- Сумасшедшие дуры, зачем вы прилетели! - закричала на нас мать.

Она бранила, упрекала нас и бедную старушку Шмидт за то, что она дала нам знать. Она заявила Варваре Михайловне, что завтра же утром она может убраться куда ей угодно.

- Я тебя вышвырну из дома, как вышвырнула Черткова! - кричала она мне.

Все дрожало во мне, но, к счастью, у меня хватило сил сдержаться.

Я дошла уже до полного отчаяния. Не было выхода из положения! Я вошла к отцу в кабинет, был первый час ночи. Он еще не раздевался, сидел у себя в кресле.

"Господи, до каких же пор он будет это терпеть?" - спрашивала я себя, глядя на его измученное лицо.

- Пап?, - сказала я, - как ты думаешь, не лучше будет, если я уеду к себе в Телятинки?

"Может быть, это даст толчок к его уходу", - думала я.

К моему удивлению, отец согласился со мной.

- Да, уезжай, - сказал он.

Утром мы переехали в холодный, грязный дом в Телятинках. Пришла моя кума Аннушка из Ясной Поляны. Они остались с Варварой Михайловной хлопотать по дому, а я пошла в Ясную Поляну. Отец радостно встретил меня. Я опять спросила его, как он относится к моему отъезду.

- Видишь ли, - сказал он, - я вообще не одобряю того, что ты не выдержала и ушла... Ты знаешь, я в письмах всегда отвечаю на подобные вопросы, что, по моему мнению, внешних условий менять не нужно, это с одной стороны, а с другой стороны, я по слабости своей рад твоему отъезду. Ближе к развязке! Так больше продолжаться не может! Черткова Софья Андреевна удалила, на Марию Александровну накричала, Варю выгнала, тебя почти что выгнала. Не унывай, держись, все к лучшему!

Я работала в Ясной Поляне все утро, а к завтраку уехала в Телятинки. На душе было смутно. Я сомневалась, правильно ли я поступила. Мучило меня и то, что я далеко от отца, не могу уже каждую минуту быть с ним, охранять его покой.

Все эти дни я ежедневно, иногда по два раза бывала в Ясной Поляне, как всегда, исполняя работу для отца.

Мой отъезд как будто хорошо подействовал на мать! Она поняла, должно быть, что зарвалась, испугалась своей резкости и стала мягче с отцом. Она уговаривала меня и Варвару Михайловну вернуться, но я решила выждать.

Приехали Таня с Сережей. Они говорили матери, что ей надо жить врозь с отцом в санатории, но она ни за что не соглашалась.

3 октября, вернувшись в Телятинки, я занималась разборкой бумаг, как вдруг приехал посланный из Ясной Поляны с запиской от Булгакова: "Александра Львовна, Льву Николаевичу плохо. Приезжайте скорее!"

Я поскакала в Ясную Поляну. Когда я входила в переднюю, ноги у меня подкашивались от волнения. Меня встретил Илья Васильевич.

- Жив?
- Да, жив. Но очень плох!
- Обморок?
- Да.

Прибежал Душан Петрович со шприцем. Таня с заплаканными глазами сидела в кабинете. Навстречу мне из спальни выскочила мать, бросилась на колени около балкона и стала молиться.

"Только бы не на этот раз, только бы не на этот раз!" - точно безумная повторяла она. Мне стало ее жалко!

Я вошла в спальню. От страшных судорог вся кровать сотрясалась. Я пробовала удержать его ноги, но это оказалось невозможным. Отец был без сознания.

Таня рассказала мне, как это произошло. Отец, как всегда, лег спать в пять часов дня. К обеду он не встал, а в половине седьмого мать подошла к двери послушать, не проснулся ли он. Она слышала, что он чиркнул спичкой, и вернулась в залу. Но прошло еще около получаса, отца не было. Тогда она вошла к нему. Свечка была зажжена. Он чертил пальцем по одеялу, повторяя слова: вера, разум, религия, государство. Очевидно, это

были слова из статьи о социализме, которую он писал утром.

Вызвали доктора из Тулы. Я настояла на том, чтобы телеграфировали Никитину или Беркенгейму.

Судороги повторялись приблизительно каждые полчаса. Один раз они были настолько сильные, что перебросили отца поперек кровати. Сознание не возвращалось.

Мы с Таней сидели рядом со спальней, в кабинете. Несколько раз входила мать, бросалась на колени, молилась, повторяя: "Только бы не на этот раз, только не на этот раз!"

Она очень страдала.

Приехал Чертков и, не смея подняться вверх, сидел внизу в комнате Душана Петровича. Я была уверена, что отец умирает. В душе было тупое отчаяние. Но к ночи ему стало лучше.

Мам? быстро прошла в гостиную, отперла ящик, достала что-то и, держа за спиной, пронесла в кабинет. Она положила это "что-то" в портфель на письменном столе и ушла. Таня вышла за ней и спросила, что она прятала.

- Дневник, - сказала мам?, - а то его непременно бы украли, если бы умер отец.

На Таню это произвело ужасное впечатление. Она сразу точно поникла.

Когда отцу стало лучше, я вошла к нему и поцеловала его руку. Он обрадовался. Сережа, стоявший рядом, сказал, что я приехала.

- Откуда приехала? - с беспокойством спросил отец.

- Нет, нет, пап?ша, - сказала я, - ниоткуда я не приезжала, я все время была здесь с тобой.

- Ага! - облегченно вздохнул он.

В эту ночь мы почти не спали. То Таня, то я вставали и подходили к двери. В четвертом часу я услышала, что отец не спит, и вошла к нему. Он был уже в полном сознании и спрашивал меня, как все это случилось. Я сказала ему, что расскажу утром, и ушла.

Наутро отец был уже умственно силен и свеж, как всегда, но физически так слаб, что едва переворачивался с одного бока на другой. За одну ночь он похудел так, как будто болел целый месяц.

Снова Сережа и Таня говорили с матерью о созыве семейного совета, о том, что заставят ее разъехаться с отцом. Мать оправдывалась, жаловалась Сереже на меня, что я кричала на нее, что неизвестно, почему уехала из дома.

Я решила высказать при старшем брате все, что накипело у меня на душе. Я рассказала, что уже несколько месяцев наблюдаю, как мать истязает отца, как она всех разогнала, считая, что все люди виноваты, плохи за исключением ее, как она добивалась прав, дневников, как заставляла отца с ней сниматься и что ей руководят корыстные цели.

Сережа и Таня были недовольны резкостью моего тона, но я им сказала:

- Вы не можете трех дней прожить в родительском доме, начинаете говорить, что у вас дела и семьи, а я

всю жизнь мучаюсь, глядя на страдания отца. Пожалуйста, не осуждайте меня!

В половине второго отец позвонил мне и попросил прочитать ему вслух письма. На два письма - Крашенникову, сыну председателя суда, и рабочему продиктовал ответы. Голос был слабый, больной, но мысли ясные, сильные. Когда все письма прочли и ответили на них, я поцеловала отца и сказала, что вечером приеду опять и буду ночевать. Спустившись в переднюю, я узнала, что меня ищет мать.

- Где она?

- На крыльце.

Выхожу, стоит мать в одном платье.

- Ты хотела говорить со мной?

- Да. Я хотела сделать еще один шаг к примирению. Прости меня!

И она стала целовать меня, повторяя: прости, прости! Я тоже поцеловала ее и просила успокоиться.

- Прости, прости меня, я даю тебе честное слово, что больше никогда не буду тебя оскорблять, - повторяла она, крестясь и целуя меня. - Скажи Варе, что я извиняюсь перед ней. Мы с ней четыре года жили и, Бог даст, столько же еще проживем. Я не знаю, что со мной, что с нами сделалось.

- Меня не оскорбляй, а отца, - говорила я, заливаясь слезами, - отца не обижай, я не могу видеть, как он измучен!

- Не буду, не буду, я тебе даю честное слово, не буду его мучить! Ты не поверишь, как я исстрадалась

этой ночью. Я ведь знаю, что он был болен от меня. Я никогда не простила бы себе, если бы он умер.

Мы говорили, стоя на дворе. Какой-то прохожий с удивлением смотрел на нас. Я попросила мать войти в дом. Но в передней оказался Бирюков и еще кто-то. Мы остановились в тамбуре между двух входных дверей и тут продолжали говорить. Мать просила меня вернуться, просила простить, забыть.

Она много-много раз повторяла, что обещает больше не мучить отца и меня.

- Ты не поверишь, как я ревную, - говорила она, - никогда в жизни, даже в молодости, я не чувствовала такой сильной ревности, как теперь к Черткову.

Я верила ей и постепенно озлобление, обида, недоверие, накопившиеся в душе и раздиравшие ее острой болью, исчезали. Передо мною была мать, несчастная, глубоко страдающая, может быть, не меньше, чем отец.

Первый раз за долгое время я искренне целовала ее, успокаивала, утешала, как ребенка.

- Да ведь и с Чертковым наладится, - говорила она, - я постараюсь взять себя в руки. И пускай пап? видется с ним. Только бы ему было хорошо! Только бы он был спокоен и весел! - Она все время плакала и крестилась.

Вечером мы с Варварой Михайловной снова приехали в Ясную Поляну. Когда я рассказывала отцу о примирении с матерью, в спальне было темно, но мне казалось, что он плакал.

Таня и Сережа уехали.

Несколько дней было спокойно. Мать согласилась на то, чтобы приехал Чертков. Но как только он вошел в дом, она снова стала нервничать, подслушивать.

10 октября был Наживин. Говорили о смерти его дочери. Ее хоронили без церковных обрядов. Наживин рассказывал о том, что ему это было тяжело, не хватало чего-то.

- Что тут важного, - сказал отец, - это жизни не касается, умерла похоронили, засыпали землей. И это совершенно безразлично, все равно как безразлично, какие сапоги надеть или каким мылом вымыться. Важно воспоминание о человеке, память о нем, а эти обрядности ничего общего с жизнью не имеют, и это не нужно мне и не важно. Старуха молится Царице небесной, я ее уважаю, но мне это не нужно. Я уже переродился. У меня дочь Маша умерла, я вспоминаю ее духовную личность, и она мне близка, я ее люблю, не забыл, а как ее хоронили, я не помню, мне это все равно!

Наживин почему-то вспомнил смерть Сократа.

- Это такое счастье, - сказал отец, - умереть как Сократ. Я не сам убиваю себя, а мне велели выпить яд и я его пью, не могу не выпить. Какое это счастье! - Голос его задрожал.

А когда Наживин стал ему говорить о несправедливости посланного ему горя, отец сказал:

- Тут вопрос в вашей исключительной любви к дочери. Это грех ваш и мой наше исключительное отношение к дочерям. И если закопают мою Машу, мне жалко, а если закопают какую-нибудь Матрешку, мне все равно. Я должен стремиться к тому, чтобы мне Матрешку

было так же жалко, как мою Машу. Как и во всем, это идеал, и чем больше я приближусь к нему, тем лучше.

12 октября все началось сначала. Забыты были обещания, отцовская болезнь. Мать умоляла его уничтожить завещание, она становилась на колени, целовала его руки. Она говорила всем, что если отец умрет, оставив завещание, она сумеет доказать его слабоумие, идиотизм.

Когда 17-го утром я вошла к отцу, он с горькой усмешкой показал мне письмо от матери.

- Посмотри-ка, мне угощение, прочти!

Я развернула письмо.

"Ты каждый день меня, как будто участливо, спрашиваешь о здоровье, - о том, как я спала, а с каждым днем новые удары, которыми сжигается мое сердце, сокращают мою жизнь и невыносимо мучают меня и не могут прекратить моих страданий. Этот новый удар, злой поступок относительно лишения авторских прав твоего многочисленного потомства, судьбе угодно было мне открыть, хотя сообщник в этом деле не велел тебе его сообщать семье. Он грозил напакостить мне и семье и блестяще исполнил, выманив у тебя эту бумагу с отказом. Правительство, которое во всех брошюрах вы с ним всячески отрицали и бранили, будет по закону отнимать у наследников последний кусок хлеба и передавать его Сытину и разным богатым типографиям и аферистам, в то время, как внуки Толстого, по его злой и тщеславной воле, будут умирать с голоду. Правительство же, государственный банк хранит его дневники от жены Толстого, Христианская любовь последовательно убивает разными поступками самого близкого (не в твоём, а в моём смысле) человека - жену, со стороны которой все

время поступков злых не было никогда и теперь, кроме самых острых страданий, тоже нет. Надо мной же висят и впредь разные угрозы. И вот, Левочка, ты ходишь молиться на прогулке, помолясь, подумай хорошенько о том, что ты делаешь под давлением этого злодея, потуши зло, пробуди свое сердце к любви и добру, а не к злобе и дурным поступкам, забудь тщеславие и гордость (по поводу авторских прав), потуши ненависть ко мне, к человеку, который отдал тебе всю жизнь и любовь.

Если тебе внушили, что мной руководит корысть, то я лично официально готова, как дочь Таня, отказаться от прав наследства мужа. На что мне? Я очевидно скоро так или иначе уйду из жизни, но меня берет ужас, если я переживу тебя, какое может возникнуть зло на твоей могиле и в памяти детей и внуков.

Потуши это, Левочка, при жизни, разбуди и смягчи свое гордое сердце, разбуди в нем Бога и любовь, о которых так громко гласишь людям.

С.Т."

В это время в Ясной Поляне, чего давно уже не было, съехалось много гостей: Стахович, Долгоруков, Горбунов.

Бедный Иван Иванович успел уже все выслушать: и об идиотизме отца, и о злодее Черткове, о внуках, оставшихся без куска хлеба...

С каждым днем положение ухудшалось. Снова пошли истерики, требования, чтобы отец не виделся с Чертковым, уничтожил завещание. Но отец твердо решил не давать никаких обещаний.

- Я всем пожертвовала тебе, - кричала мам?, - ты женился на мне, чистой, непорочной, семнадцатилетней девочке, а ты...

- Да, да, я порочный, гадкий. Но ты уже всем пожертвовала мне, а теперь оставь меня, пожалуйста!

Она опять стала врываться к нему не только днем, но и ночью.

- Опять против меня заговоры! - крикнула она, вбегая к нему, когда он уже спал.

- Какие заговоры? Что ты говоришь, Соня? - измученным голосом спросил отец.

- Дневник, где дневник? Ты отдал его Черткову?

- Да не думал даже...

- Нет, ты лжешь! Я ощупала портфель, в нем дневника нет. Куда ты его дел?

- Он у Саши.

Она ушла, и когда отец задремал, она снова разбудила его, пришла извиняться, что напрасно обвинила его.

Приезжала представительница от фирмы "Просвещение". Мам? с таинственным видом говорила, что она сумеет обойти отца, что она не допустит, чтобы сочинения пошли на общее пользование, и проговорила, что "Просвещение" предлагает ей миллион за права на сочинения.

Узнав об этом, отец встревожился. Чертков посоветовал написать заявление в газеты, предостерегающее издателей от покупки сочинений.

Заявление было написано, но отец решил подождать с его публикацией.

Двадцатого октября приехал Михаил Петрович Новиков*. Он произвел на отца прекрасное впечатление.

- Какой умница, какой умница! - повторял отец.

Когда я пришла к нему за письмами в залу, он, весело и немного лукаво улыбаясь, повел меня в кабинет, а оттуда в спальню.

- Идем, идем, я тебе большой секрет скажу! Большой секрет!

Я шла за ним и, глядя на него, мне делалось легче.

- Так вот что я придумал. Я немножко рассказал Новикову о нашем положении и о том, как мне тяжело здесь. Я уеду к нему. Там меня уже не найдут. А знаешь, Новиков мне рассказал, как у его брата жена была алкоголичка, так вот если она уж очень начнет безобразничать, брат походит ее по спине, она и лучше. Помогает. - И отец добродушно засмеялся. - Вот поди ж ты, какие на свете бывают противоречия!

Я тоже расхохоталась и рассказала отцу, как один раз кучер Иван вез Ольгу, а она спросила его, что делается в Ясной. Он ответил, что плохо, а потом обернулся к ней и сказал:

- А что, ваше сиятельство, извините, если я вам скажу. У нас по-деревенски, если баба задурит, муж ее вожжами! Шелковая делается!

Отец стал еще больше смеяться.

- Да, да, вот поди ж ты, какие бывают...

- Да, по-моему, это не противоречия, - перебила я его, только у них вожжи веревочные, а у нас должны быть нравственные.

- Да, да, я, должно быть, все-таки уеду, - еще раз повторил отец.

Двадцать четвертого отец написал письмо Михаилу Петровичу:

"Михаил Петрович, в связи с тем, что я говорил вам перед вашим уходом, обращаюсь к вам еще со следующей просьбой: если бы действительно случилось то, чтобы я приехал к вам, то не могли бы вы найти мне у вас в деревне хотя бы самую маленькую, но отдельную и теплую хату, так что вас с семьей я стеснял бы самое короткое время. Еще сообщаю вам то, что если бы мне пришлось телеграфировать вам, то я телеграфировал бы вам не от своего имени, а от Т.Николаева*.

Буду ждать вашего ответа, дружески жму руку. Лев Толстой.

Имейте в виду, что все это должно быть известно только вам одним".

25 октября, когда я вошла к отцу, он сидел в кресле, ничего не делая. Странно было видеть его без пера и бумаги, без книги, и даже без пасьянса.

- Я сижу и мечтаю, - сказал он мне, - мечтаю о том, как я уйду. Ты ведь непременно захочешь идти со мной?

- Да. Но я не хотела бы тебя стеснять. Может быть, первое время, чтобы не стеснять тебя, мне не надо уезжать с тобой, но вообще жить врозь от тебя...

- Да, да, но я все думаю, что ты для этого недостаточно здорова, кашель, насморки начнутся...

- Нет, нет, это ничего, - с живостью воскликнула я, - мне будет гораздо лучше в простой обстановке.

Мне было так странно, что он говорил обо мне.

- Если так, мне самое приятное, самое естественное иметь тебя около себя, как помощницу. Я думаю сделать так. Взять билет до Москвы. Кого-нибудь послать с вещами в Лаптево** и самому там слезть. А если там найдут, еще куда-нибудь поеду. Ну да это наверное все мечты! Я буду мучиться, если брошу ее, меня будет мучить ее состояние. А с другой стороны, так делается тяжела эта обстановка, с каждым днем все тяжелее и тяжелее. Я признаюсь тебе, жду только какого-нибудь повода, чтобы уйти.

26-го приехал Сережа. Отец был так рад его приезду, а Сережа, точно чувствуя всю глубину страданий отца, был с ним особенно нежен и ласков.

В этот же день получили телеграмму о приезде Андрея.

- Помоги, Господи, помоги, Господи! - шептал отец.

Я тоже, после последнего посещения Андрея, боялась его.

Но Андрей встретил меня словами:

- Ну, как примет меня моя сестра?

- Сестра всегда одинаково принимает своих братьев,
- ответила я. - Все зависит от самих братьев.

Я обрадовалась его словам. Какой он ни есть, а все-таки почувствовал, как безобразно было его поведение в последний приезд, и хотел загладить.

Андрей был действительно в прекрасном настроении и даже уговаривал мою мать помириться с Чертковым.

Когда отец проснулся после обеда, я поспешила ему сказать, что Андрей, по-видимому, раскаивается в своем поведении и что он в хорошем, миролюбивом настроении.

- Слава Богу, слава Богу, - прошептал отец.

А за обедом он расспрашивал Андрея про его службу в Крестьянском банке, и говорили они спокойно, без раздражения, как это редко бывало между отцом и сыновьями.

28 октября, когда я вошла к отцу за работой он дал мне письмо.

- Вот возьми, - сказал он, - прочти и, пожалуй, перепиши, если разберешь. Это письмо мам?, которое я оставляю ей, если уйду. А я все больше и больше думаю об этом. Уж очень тяжело. Вчера ночью пришла, спрашивает меня, что пишет Чертков. Я ответил, что письмо деловое, что секретов в нем нет, но что я принципиально не хочу ей давать читать. Пошли упреки. Тяжела эта постоянная подозрительность, заглядывание из дверей, перерывание бумаг, подслушивание, тяжело. А тут уходят послед-ние дни, часы жизни, которые надо бы употребить на другое.

Когда я принесла переписанное письмо, я сказала ему:

- Пап?, я одна не останусь, я уйду с тобой.

- Я попросил бы тебя первое время остаться с ней!

Он взял переписанное и вложил в записную книжку.

Уход

С вечера 27-го чувствовалось особенно тяжелое, напряженное настроение. Сначала матери не было за чаем, она занималась корректурами. Мы сидели за столом вчетвером: отец, Душан Петрович, Варвара Михайловна и я. Отец пил чай из сухой земляники. Через некоторое время пришла мать. Я встала, взяла свою чашку и вышла. Скоро пришла Варвара Михайловна и сказала мне, что, как только я ушла, отец взял свой стакан с земляникой и тоже ушел к себе. Долго в эту ночь мы не спали с Варей. Нам все мерещилось, что кто-то ходит, разговаривает наверху, в кабинете отца. Перед утром мы услышали стук в дверь.

- Кто тут?

- Это я, Лев Николаевич. Я сейчас уезжаю... Совсем... Пойдемте, помогите мне уложиться.

- Ты разве уезжаешь один? - со страхом спросила я.

- Нет, я беру с собой Душана Петровича.

Я ждала его ухода, ждала каждый день, каждый час, но тем не менее, когда он сказал: "я уезжаю совсем", меня это поразило, как что-то новое, неожиданное. Никогда не забуду его фигуру в дверях, в блузе, со свечей и светлое, прекрасное, полное решимости лицо.

Когда мы пришли наверх, Душан Петрович был уже там. Он молчал, но по его нервным суетливым движениям видно было, что он страшно волнуется. Я стала помогать отцу укладываться, но сердце билось, руки дрожали, я все делала не то, что надо, спешила, роняла вещи...

Отец же на вид был совершенно спокоен. Он что-то аккуратно укладывал в коробочки, перевязывал их бечевкой. Он указал мне на кипу рукописей, которые лежали на кресле у письменного стола.

- Вот, Саша, я выбрал из ящиков все свои рукописи. Пожалуйста, возьми и сохрани их. Я мам? написал, что отдаю их тебе на сохранение.

Лицо у него было розовое, движения ровные, не было заметно никакой поспешности, и только прерывающийся голос выдавал волнение.

Я отнесла рукописи к себе и спросила его, взял ли он дневник. Он ответил, что взял, и просил меня уложить карандаши и перья. Я хотела уложить некоторые медицинские принадлежности, необходимые для его здоровья, но он сказал, что это совершенно лишнее. Отец брал с собой только самые необходимые вещи. Мне с трудом удалось уговорить его взять некоторые лекарства, электрический фонарик и меховое пальто.

Мы двигались чуть слышно и все время останавливали друг друга: "Тише, тише, не шумите!" Двери были затворены и, когда я спросила, кто затворил их, отец сказал, что тихо, едва ступая, он подошел к спальне матери, затворил ее дверь и дверь из коридора.

- Ты останешься, Саша, - сказал он мне. - Я вызову тебя через несколько дней, когда решу окончательно, куда я поеду. А поеду я, по всей вероятности, к Машеньке* в Шамордино. Скажи мам?, что нынче была последняя капля, переполнившая чашу. Засыпая, я услышал шаги в кабинете, посмотрел в щель и увидел, что она перерывает мои бумаги. Мне стало так противно, так гадко. Я лежал, не мог заснуть, сердце билось. Я считал пульс, было 97. А потом она вошла ко мне и

просила о моем здоровье. Я всю ночь не спал и к утру решил уйти.

Укладывали вещи около получаса. Отец уже стал волноваться, торопил, но руки у нас дрожали, ремни не затягивались, чемоданы не закрывались. Отец сказал, что ждать больше не может и, надев свою синюю поддевку, калоши, коричневую вязаную шапочку и рукавицы, пошел на конюшню сказать, чтобы запрягли лошадей. Я сошла с ним вниз, таща готовые вещи. Варвара Михайловна собирала провизию на дорогу.

Мы хотели уже выносить вещи, как вдруг отворилась наружная дверь и отец без шапки вошел в переднюю.

- Что случилось?

- Да такая темнота, зги не видать! Я пошел по дорожке, сбился, наткнулся на акацию, упал, потерял шапку, искал, не нашел и должен был вернуться! Достань мне, Саша, другую шапку!

Я побежала, принесла две. Отец взял вязаную - похуже и опять вышел, захватив с собой электрический фонарик.

Через несколько минут и мы пошли на конюшню, таща на себе тяжелые связки и чемоданы. Было грязно, ноги скользили, и мы с трудом продвигались в темноте. Около флигеля замелькал синенький огонек. Отец шел нам навстречу.

- Ах, это вы, - сказал он, - ну, на этот раз я дошел благополучно. Нам уже запрягают. Ну, я пойду вперед и буду светить вам. Ах, зачем вы дали Саше самые

тяжелые вещи? - с упреком обратился он к Варваре Михайловне.

Он взял из ее рук корзину и понес ее, а Варвара Михайловна помогла мне тащить чемодан. Отец шел впереди, изредка нажимая кнопку электрического фонаря и тотчас же отпуская ее, отчего казалось еще темнее. Отец всегда экономил и тут, как всегда, жалел тратить электрическую энергию. Так подвигались мы то в полном мраке, то направляемые светом фонаря. Когда мы пришли на конюшню, Адриан Павлович заводил в дышло вторую лошадь. Отец взял узду, надел ее, но руки его дрожали, не слушались и он никак не мог застегнуть пряжку.

Сначала отец торопил кучера, а потом сел в уголке каретного сарая на чемодан и сразу упал духом.

- Я чувствую, что вот-вот нас настигнут, и тогда все пропало. Без скандала уже не уехать.

Но вот лошади готовы, кучер оделся. Филя с факелом вскочил на лошадь.

- Трогай!

- Постой, постой! - закричала я. - Постой, папаша! Дай поцеловать тебя!

- Прощай, голубушка, прощай! Ну, да мы скоро увидимся, - сказал он. Поезжай!

Пролетка тронулась и поехала не мимо дома, а прямой дорогой, которая идет яблочным садом и выходит на так называемый "пришпект".

Все это случилось так быстро, так неожиданно, что я не успела отдать себе отчета в том, что произошло. И тут, стоя в темноте возле конюшни, я в первый раз ясно

поняла, что отец уехал совсем из Ясной Поляны, может быть, навсегда и что, может быть, я уже больше никогда не увижу его.

Было около пяти часов утра, когда мы с Варварой Михайловной вернулись домой. С сильно бьющимся сердцем вошла я в свою комнату и тут, считая часы, просидела до восьми. В восемь часов я вздохнула с облегчением: поезд, с которым должен был уехать отец, уже ушел. Я пошла к Илье Васильевичу.

- Где Лев Николаевич?

Илья Васильевич потупился и молчал.

- Вы знаете, что Лев Николаевич уехал совсем?

- Знаю, они мне говорили, что хотели уехать, и я нынче догадался по пальто, что их нет.

Постепенно весть об отъезде отца облетела весь дом. Большая часть прислуги молчала, не смея выражать своего мнения, только старушки - няня и Дунечка, громко сокрушались и, хотя и жалели графиню, но говорили, что она сама виновата.

Адриан Павлович, отвозивший отца на станцию, привез мне письмо:

"Доехали хорошо. Поедем, вероятно, в Оптину. Письма мои читай. Черткову скажи, что, если в продолжение недели до 4-го числа не будет от меня отмены, то пусть пошлет "заявление" в газеты. Пожалуйста, голубушка, как только узнаешь, где я, а узнаешь это очень скоро, извести меня обо всем. Как принято известие о моем отъезде и все, чем подробнее, тем лучше. 28 октября. Щекино".

В страшном волнении, не находя себе места, прождала я до одиннадцати часов. Было невыносимо тяжело сообщать матери об уходе отца. Но вот в спальне послышались шаги. Я вошла в залу, и через несколько минут туда стремительно вбежала мать.

- Где пап?? - испуганно спросила она.
- Отец уехал.
- Куда?
- Не знаю.
- Как не знаешь, куда уехал? Совсем уехал?
- Он оставил тебе письмо. Вот оно.

Я подала ей письмо. Она поспешно схватила его. Глаза ее быстро бегали по строчкам.

Вот что писал отец:

"4 часа утра 28 октября 1910 года.

Отъезд мой огорчит тебя, сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение мое в доме становится, стало невыносимо. Кроме всего другого, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста - уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении, в тиши последние дни своей жизни.

Пожалуйста, пойми это и не ездь за мной, если и узнаешь, где я. Такой твой приезд только ухудшит твое и мое положение, но не изменит моего решения.

Благодарю тебя за твою честную сорокавосемилетнюю жизнь со мной и прошу простить меня во всем, чем я был виноват перед тобой, так же,

как и я от всей души прощаю тебя во всем том, чем ты могла быть виновата передо мной. Советую тебе помириться с тем новым положением, в которое ставит тебя мой отъезд, и не иметь против меня недоброго чувства. Если захочешь что сообщить мне, передай Саше, она будет знать, где я, и перешлет мне что нужно; сказать же о том, где я, она не может, потому что я взял с нее обещание не говорить этого никому. Лев Толстой.

Собрать вещи и рукописи мои и переслать мне я поручаю Саше".

- Ушел, ушел совсем! - закричала мать. - Прощайте, я не могу больше жить без него! Я утоплюсь!

Она бросила на пол письмо и побежала. Я позвала Булгакова, который только что пришел от Чертковых, и просила его помочь мне последить за матерью. Булгаков тотчас же побежал за ней. А она, как была, без калош, в одном платье, побежала в аллею, дальше, дальше, по направлению к пруду. Я смотрела на нее из окна залы. Но вот я увидела, что она приближается к пруду. Я бросилась со всех ног с лестницы вниз. В этот момент мать увидела бегущего за ней Булгакова и бросилась в сторону. Я побежала наперерез, обогнала Булгакова и подоспела в тот момент, когда мать подбежала к пруду. Она побежала по доскам плота, на котором полоскали белье, но поскользнулась и упала навзничь. Я бросилась к ней, но она скатилась с плота в сторону и упала в воду. Я не успела удержать ее. Она стала погружаться в воду, но я уже летела за ней, а следом за мной подоспевший Булгаков. Стоя по грудь в воде, я вытащила мать и передала ее Булгакову и прибежавшему на помощь лакею Ване. Они подхватили ее и понесли. Тут же

подроспел Семен Николаевич, который, подбегая к плоту, поскользнулся и со всего размаха упал.

- Вот и я тоже поскользнулась и упала, - сказала мать.

Ее взяли под руки и повели.

- Саша! - воскликнула она. - Сейчас же телеграфируй отцу, что я топилась!

Я ничего не ответила матери. От быстрого бега, холодной воды, пережитых волнений дух захватило, сердце в груди бешено колотилось и я с трудом передвигала ноги.

Придя домой, я переоделась и снова пошла наверх. Я ходила по комнатам, волнуясь и не зная, что делать. И вот вижу в окно, что мать в одном халате бежит по аллее к пруду. Я крикнула Булгакову и Ване, которые снова побежали за ней и силой привели ее домой. Так продолжалось весь этот, казавшийся мне бесконечным, кошмарный день. Мать не переставая плакала, била себя в грудь то тяжелым пресс-папье, то молотком, колола себя ножами, ножницами, булавками. Когда я отнимала у нее все эти предметы, она хотела выброситься в окно, в колодец.

Я решила следить за ней и днем и ночью, пока не приедут остальные члены семьи, которым я тотчас же послала срочные телеграммы. Брат Андрей был в Крапивне* и мог быть в Ясной Поляне в тот же день. Кроме того я послала в Тулу за врачом по нервным болезням.

Несколько раз мать умоляла сказать ей, куда поехал отец, и видя, что ничего не добьется от меня, послала на станцию узнать, куда были взяты билеты. Узнав, что

билеты были выданы на поезд № 9, она послала телеграмму на имя отца:

"Вернись немедленно. Саша".

Лакей Ваня, которому она вручила эту телеграмму, в смущении принес ее мне, не зная, исполнять ли ему приказание матери.

Я не задержала телеграммы, но одновременно с ней послала другую: "Не беспокойся, действительны только телеграммы, подписанные Александрой". Впоследствии я узнала, что обе эти телеграммы не были получены. Отец пересел на другой поезд.

К вечеру приехал Андрей. Через час после него - доктор из Тулы. Доктор сейчас же прошел к матери, долго говорил с ней, определил истерию, но не нашел никаких признаков умственного расстройства. Несмотря на это, он предупредил нас, что не исключает возможности самоубийства.

- Разве не бывает случаев, когда истерички, желая напугать окружающих, нечаянно лишают себя жизни, - сказал он и просил установить за матерью постоянный и тщательный надзор.

Ночью около матери дежурили "старушка Шмидт" и Булгаков. Я несколько раз вставала узнать, что делается. Мать ходила всю ночь из комнаты в комнату то громко рыдая, то успокаиваясь. Она уже не делала попыток к самоубийству.

- Я его найду, я убегу. Как вы меня устережете? Выпрыгну в окно, пойду на станцию. Что вы со мной сделаете? Ах, только бы узнать, где он! Уж тогда-то я его

не выпущу, день и ночь буду караулить, спать буду у его двери...

28 октября вечером мною была получена телеграмма, посланная на имя Черткова: "Ночуем Оптиной завтра Шамордино. Адрес Подборки. Здоров. Николаев".

На другой день состояние матери не улучшилось. Иногда она истерически рыдала, восклицая:

- Левочка, Левочка! Что ты со мной наделал! Вернись, Левочка, дорогой мой!

Порой она начинала упрекать отца, сердилась на него, и почему-то в такие минуты мне казалось, что она ничего с собой не сделает.

Приехали Таня и все братья, за исключением Льва, который был за границей. Вечером они собрались у меня в комнате и стали обсуждать, что им делать. Все, за исключением старшего брата Сергея, считали, что отцу надо вернуться. Илья резко говорил, что отец, всю жизнь проповедующий христианство, в данном случае совершил злой, нехристианский поступок - вместо того чтобы прощать мать и терпеть ее, он ушел. Остальные поддерживали его. И когда я возражала, Илья сердито кричал мне:

- Ты хочешь сказать, Саша, что то, что отец бросил больную мать, есть христианский поступок? Нет, ты живи с ней, терпи ее, будь с ней ласкова - это будет истинное христианство.

Илья делал ударение на слове "христианство".

- Я согласна с Ильей, - сказала Таня, - отец был бы последовательнее, если бы остался с матерью.

- Но что же нам теперь делать? - спросил Миша. -
Ведь мам? нельзя оставить одну!

- Да, - сказал Андрей. - Но я не могу здесь торчать,
у меня служба.

- И у меня служба! - сказал Илья.

- А у меня Танечка и Михаил Сергеевич, - сказала
Таня, - а ведь ты, Саша, вероятно, уедешь к отцу?

- Да. Я считаю свой долг по отношению к матери
исполненным, - сказала я.

И я стала говорить о том, что много, много раз за
эти пять месяцев сплошного страдания умоляла их
помочь, разлучить, хотя бы на время, родителей,
поместить мать в санаторию, и каждый раз они спешили
уехать, кто к своей семье, кто к службе. Теперь отец
ушел, и вот, вместо того чтобы радоваться, что он
наконец освободился от страданий, они упрекают его и
думают только о том, как сделать, чтобы он вернулся и
снова принял на себя ярмо.

- Вы только потому и хотите, чтобы он вернулся,
чтобы снова взвалить эту тяжесть на плечи
восьмидесятилетнего старика!

Горько мне было и я чувствовала, что нечего было
ждать особой поддержки от семьи. Только один Сережа
сказал:

- Саша права. Я не хотел бы, чтобы отец
возвращался, и нынче же напишу ему об этом.

И он написал отцу короткое, но доброе,
сочувственное письмо, в котором высказывал мнение,
что отцу следовало, как это ни тяжело, расстаться с
матерью еще двадцать шесть лет тому назад, что он

понимает отца и не осуждает его и, что бы ни случилось, отец не должен упрекать себя. Все остальные написали отцу, уговаривая его вернуться. Мать тоже написала письмо:

"29 октября 1910 года.

Левочка, голубчик, вернись домой, милый, спаси меня от вторичного самоубийства. Левочка, друг всей моей жизни, все сделаю, что хочешь, всякую роскошь брошу совсем; с друзьями твоими будем вместе дружны, буду лечиться, буду кротка, милый, вернись, ведь надо спасти меня, ведь и по Евангелию сказано, что не надо ни под каким предлогом бросать жену. Милый, голубчик, друг души моей, спаси, вернись, вернись хоть проститься со мной перед вечной нашей разлукой.

Где ты? Где? Здоров ли? Левочка, не истязай меня, голубчик, я буду служить тебе любовью и всем своим существом и душой, вернись ко мне, вернись ради Бога, ради любви Божьей, о которой ты всем говоришь, я дам тебе такую же любовь, смиренную, самоотверженную! Я честно и твердо обещаю, голубчик, и мы все опростим дружелюбно; уедем куда хочешь, будем жить, как хочешь.

Ну, прощай, прощай, может быть, навсегда. Твоя Соня.

Неужели ты меня оставил навсегда? Ведь я не переживу этого несчастья, ведь ты убьешь меня. Милый, спаси меня от греха, ведь ты не можешь быть счастлив и спокоен, если убьешь меня.

Левочка, друг мой милый, не скрывай от меня, где ты, и позволь мне приехать повидаться с тобой, голубчик

мой, я не расстрою тебя, даю тебе слово, я кротко, с любовью отнесусь к тебе.

Тут все мои дети, но они не помогут мне своим самоуверенным деспотизмом; а мне одно нужно, нужна твоя любовь, необходимо повидаться с тобой. Друг мой, допусти меня хоть проститься с тобой, сказать в последний раз, как я люблю тебя. Позови меня или приезжай сам. Прощай, Левочка, я все ищу тебя и зову. Какое истязание моей душе".

В ночь с 29-го на 30-е я с Варварой Михайловной уехала. Поехали на Тулу, Калугу, Сухиничи, Козельск. В Козельске взяли двух ямщиков, одного для себя, другого для вещей, и поехали в Шамордино. Дорога ужасная, темнота и грязь, лошади едва двигаются. Ехали часа два с половиной. Но вот перед нами замелькали огоньки. Жутко. Сердце так и стучит: а что, если мы не застанем отца в Шамордине, и он уехал дальше, неизвестно куда? Подъезжаем к монастырской гостинице.

- Кто у вас стоит? - спрашиваю у вышедшей нас встречать пожилой, благообразной монахини.

- Лев Николаевич Толстой, - не без гордости ответила она.

- Он дома?

- Нет, к сестрице пошли, к Марии Николаевне.

Я тотчас же, не раздеваясь, попросила монахиню проводить меня к тете Маше. Мы прошли большой монастырский двор, церковь, еще какие-то строения, и наконец монахиня указала мне маленький домик. Я постучалась. Отперла молодая послушница.

- Вам кого?

- Да вы пустите меня! - сказала я, волнуясь с каждой минутой все больше и больше. - Пустите, я племянница Марии Николаевны!

- Ну пожалуйста.

Я тихонько вошла в дом, прошла в одну комнату, в другую, все тихо. Окликнула тетю Машу. Она испуганно спросила:

- Кто это? Кто?

- Я. Саша. Где пап??

- Ах ты! - Она лежала на постели в своей комнате. Мы обнялись и крепко поцеловались. - Пап? только что вышел.

- Здоров?

- Да, здоров.

- Ну слава Богу. Так я немножко посижу у тебя, - сказала я ей, - а потом пойду к нему в гостиницу.

- Да как же вы разошлись с ним? Ведь он только что ушел. (Как потом оказалось, Душан Петрович повел отца по какой-то сокращенной дороге, и мы разошлись).

Вошла Лиза Оболенская*, гостившая в это время у тети Маши. Они были ужасно взволнованы, расспрашивали меня и в свою очередь рассказывали о тяжелом впечатлении, которое произвело на них положение отца. Поговорив с ними, я собралась уходить, как вдруг дверь отворилась и мы лицом к лицу столкнулись с отцом. Он поцеловал меня и сейчас же спросил:

- Ну что, как там?

- Да теперь все благополучно, там теперь братья и Таня съехались, мам? немного успокоилась, - ответила я.
- Я тебе привезла письма.

- Ну давай.

Он сел к столу и внимательно стал читать. Пришла Варвара Михайловна. Тетя Маша и Елизавета Валериановна стали расспрашивать ее, что делается в Ясной Поляне. Варвара Михайловна отвечала шепотом, боясь помешать отцу. Но он сказал:

- Пожалуйста, говорите громко, вы нисколько не мешаете мне, напротив, все это ужасно интересно.

- Да, - произнес он в раздумье, окончив чтение писем, - как мне ни страшно, но я не могу вернуться... Нет, не вернусь! - решительно сказал он. От Сережи очень хорошее письмо: и кратко, и добро, и умно. Спасибо ему! Ну расскажи, расскажи все подробно!

Я начала рассказывать про то, что произошло без него, как мам? приняла его отъезд, что говорила, кто был при ней, что сказал доктор.

- Так ты говоришь, что доктор не находит ее ненормальной? - переспросил он меня.

- Нет, не находит.

- Да, впрочем, что они знают, - сказал он, махнув рукой. - Я писал тебе, но ты не успела получить моих писем. Я хотел, чтобы ты передала Тане и Сереже, что мне невыносимо вернуться к ней.

Привожу здесь полностью эти два письма ко мне. Я получила их уже в Астапове.

"28 октября 1910 года. Станция Козельск.

Доехали, голубчик Саша, благополучно - ах, если бы только у вас бы не было не очень неблагополучно. Теперь половина восьмого. Переночуем и завтра поедем, е[сли] б[уду] ж[ив], в Шамордино. Стараюсь быть спокойным и должен признаться, что испытываю то же беспокойство, какое и всегда, ожидая всего тяжелого, но не испытывая того стыда, той неловкости, той несвободы, которую испытывал всегда дома. Пришлось от Горбачева ехать в третьем классе; было неудобно, но очень душевно приятно и поучительно. Ел хорошо и на дороге и в Белеве, сейчас будем пить чай и спать, стараться спать. Я почти не устал, даже меньше, чем обыкновенно. О тебе ничего не решаю до получения известий от тебя. Пиши в Шамордино и туда же посылай телеграммы, если будет что-нибудь экстренное. Скажи бате*, чтобы он писал и что я прочел отмеченное в его статье место, но второпях, и желал бы перечесть - пускай придет. Варе скажи, что ее благодарю, как всегда, за ее любовь к тебе и прошу и надеюсь, что она будет беречь тебя и останавливать в твоих порывах. Пожалуйста, голубушка, мало слов, но кротких и твердых.

Пришли мне или привези штучку для зарядания пера (чернила взяты), начатые мною книги: Монтень, Николаев**, II том Достоевского... Письма все читай и пересылай нужные: Подборки, Шамордино.

В[ладимиру] Г[ригорьевичу] скажи, что очень рад и очень боюсь того, что сделал. Постараюсь написать сюжеты снов и просящихся художественных писаний. От свидания с ним до времени считаю лучшим воздержаться. Он, как всегда, поймет меня. Прощай, голубчик, целую тебя, несмотря на твою сопливость***.

Еще пришли маленькие ножницы, карандаши, халат".

"29 октября 10 года. Оптиная пустынь.

Сергеенко**** все про меня расскажет, милый друг Саша. Трудно. Не могу не чувствовать большой тяжести. Главное, не согрешить, в этом и труд. Разумеется, согрешил и согрешу, но хоть бы поменьше. Этого, главное, прежде всего желаю тебе. Тем более, что знаю, что тебе выпала страшная, не по силам по твоей молодости задача.

Я ничего не решил и не хочу решать. Стараюсь делать только то, чего не могу не делать, и не делать того, чего мог бы не делать. Из письма к Чертковым ты увидишь, как я не то [что] смотрю, а чувствую. Очень надеюсь на доброе влияние Тани и Сережи. Главное, чтобы они поняли и постарались внушить ей, что мне с этим подглядыванием, подслушиванием, вечными укоризнами, распоряжением мной, как вздумается, вечным контролем, напускной ненавистью к самому близкому и нужному мне человеку, с этой явной ненавистью ко мне и притворством любви, что такая жизнь мне не неприятна, а прямо невозможна, - если кому-нибудь топиться, то уж никак не ей, а мне, - что я желаю одного: свободы от нее, от этой лжи, притворства и злобы, которой проникнуто все ее существо.

Разумеется, этого они не могут внушить ей, но могут внушить, что все ее поступки относительно меня не только не выражают любви, но как будто имеют явную цель убить меня, чего она и достигнет, так как надеюсь, что в третий припадок, который грозит мне, я избавлю и ее и себя от этого ужасного положения, в котором мы жили и в которое я не хочу возвращаться.

Видишь, милая, какой я плохой. Не скрываюсь от тебя. Тебя еще не выписываю, но выпишу, как только будет можно, и очень скоро. Пиши, как здоровье. Целую тебя. Л.Толстой.

Едем в Шамордино. Душан разрывается, и физически мне прелестно".

Как видно по этим письмам, отец не мог и не хотел вернуться в Ясную, и поэтому ему особенно тяжелы были письма из дома, в которых он чувствовал недовольство, что он оставил мать.

- Я не могу вернуться и не вернусь к ней, - повторял он, - я хотел здесь остаться, я даже избу ходил нанимать; ну, да нечего загадывать.

Он казался мне нездоровым и грустным; видно было, что его огорчили мои рассказы и письма. Он понял, что его местопребывание, если не открыто, то вот-вот откроется и его не оставят в покое.

Мы сидели у тети Маши и молча пили чай, охваченные тревогой и страхом.

- Разве ты можешь пожалеть о том, что сделал, или обвинить себя, если что-нибудь случится с матерью? - спросила я.

- Разумеется, нет, - сказал он. - Разве может человек жалеть о чем-нибудь, когда он не мог поступить иначе. Но если что-нибудь случится с ней, мне будет очень, очень тяжело.

Тетенька вполне понимала положение отца и глубоко сочувствовала ему.

- Пускай Левочка уезжает. Если Соня приедет сюда, я ее встречу, - сказала она твердо и решительно.

Отец посидел недолго, встал, простился с тетей Машей и собрался уходить.

- Левочка, ты не уедешь, не простившись со мной? - спросила тетя Маша.

- Нет, нет, утро вечера мудренее, - сказал отец, - увидим завтра.

- Пожалуйста, не уезжай, не простившись со мной, - еще раз повторила тетенька.

- Нет, нет, надо все обдумать, - сказал отец, очевидно, думая о другом, и пошел в гостиницу.

А тетя Маша отозвала Душана Петровича и меня и просила нас в случае, если Лев Николаевич соберется ехать утром, непременно прислать ей сказать об этом, не стесняясь временем. Мы обещали исполнить ее просьбу и пошли вместе с отцом в гостиницу. Елизавета Валериановна Оболенская пошла с нами.

Придя домой, отец сказал, что хочет быть один. В номере было душно. Он отворил форточку и сел к столу писать письма.

Мы же пошли в номер к Душану Петровичу, достали путеводитель, раскрыли карту и стали на всякий случай обсуждать, куда ехать. Я чувствовала, что привезенные мною вести до такой степени встревожили отца, что он может всякую минуту собраться и уехать дальше.

Открытая форточка в его комнате беспокоила меня, я раза два входила к нему, спрашивая, не позволит ли он закрыть.

- Нет, мне жарко, оставь, - каждый раз отвечал он мне. Он что-то писал, и видно было, что я нарушала ход его мыслей.

Через некоторое время я просила Душана Петровича пойти к нему, но отец сказал, чтобы его оставили в покое. Через полчаса он пришел к нам, неся в руках письмо.

- Я написал мам?, - сказал отец, - пошли следующей почтой.

Вот это письмо:

"31 октября 1910 года.

Свидание наше и тем более возвращение мое теперь совершенно невозможно. Для тебя это было бы, как все говорят, в высшей степени вредно, для меня же это было бы ужасно, так как теперь мое положение, вследствие твоей возбужденности, раздражения, болезненного состояния, стало бы, если это только возможно, еще хуже. Советую тебе примириться с тем, что случилось, устроиться в своем новом на время положении, а главное - лечиться. Если ты не то что любишь меня, а только не ненавидишь, то ты должна хоть немного войти в мое положение, и если ты сделаешь это, ты не только не будешь осуждать меня, но постарайся помочь мне найти тот покой, возможность какой-нибудь человеческой жизни, помочь мне усилием над собой и сама не будешь желать теперь моего возвращения. Твое же настроение теперь, твоё желание и попытки самоубийства, более всего другого показывая твою потерю власти над собой, делают для меня немислимым возвращение. Избавить от испытываемых страданий всех близких тебе людей, меня и, главное, самое себя, никто не может, кроме тебя самой. Постарайся направить всю свою энергию не на то, чтобы было все то, чего ты желаешь, - теперь мое

возвращение, а на то, чтобы умиротворить себя, свою душу, и ты получишь, чего желаешь.

Я провел два дня в Шамордине и Оптиной и уезжаю. Письмо мое пошлю с дороги. Не говорю, куда еду, потому что считаю и для тебя, и для себя необходимой разлуку. Не думай, что я уехал потому, что не люблю тебя. Я люблю тебя и жалею от всей души, но не могу поступить иначе, чем поступаю. Письмо твое - я знаю, что писано искренно, но ты не властна исполнять то, что желала бы. И дело не в исполнении каких-нибудь моих желаний, требований, а только в твоей уравновешенности, спокойном, разумном отношении к жизни. А пока этого нет, для меня жизнь с тобой невысказана. Возвратиться к тебе, когда ты в таком состоянии, значило бы для меня отказаться от жизни. А я не считаю себя вправе сделать это.

Прощай, милая Соня. Помогай тебе Бог. Жизнь не шутка, и бросать ее по своей воле мы не имеем права. И мерить ее по длине времени тоже неразумно. Может быть, те месяцы, которые нам осталось жить, важнее всех прожитых годов, и надо прожить их хорошо. Л.Т."

Мы сидели за столом и смотрели в раскрытую карту. Форточка была отворена. Я хотела затворить ее.

- Оставь! - сказал отец. - Жарко. Что это вы смотрите?

- Карту, - сказал Душан Петрович, - если ехать, надо знать куда.

- Ну, покажите мне.

И мы все, наклонившись над столом, стали совещаться, куда ехать. Воспользовавшись этим, я

незаметно для отца одной рукой прихлопнула форточку. Он был разгорячен и мог легко простудиться.

Предполагали ехать до Новочеркасска. В Новочеркасске остановиться у Елены Сергеевны Денисенко*, попытаться взять там с помощью Ивана Васильевича** заграничные паспорта и, если удастся, ехать в Болгарию. Если же не удастся на Кавказ, к единомышленникам отца.

Разговаривая так, мы незаметно для себя все более и более увлекались нашим планом и горячо обсуждали его.

- Ну, довольно, - сказал отец, вставая из-за стола. - Не нужно делать никаких планов, завтра увидим.

Ему вдруг стало неприятно говорить об этом, неприятно, что он вместе с нами увлекся и стал строить планы, забыв свое любимое правило: жить только настоящим.

- Я голоден, - сказал он. - Чего бы мне поесть?

Мы с Варварой Михайловной привезли с собой геркулес, сухие грибы, яйца, спиртовку и живо сварили ему овсянку. Он ел с аппетитом, похваливая нашу стряпню. Об отъезде больше не говорили. Отец только несколько раз тяжело вздохнул и на мой вопросительный взгляд сказал:

- Тяжело.

У меня сжималось сердце, глядя на него: такой он был грустный и встревоженный. Мало говорил, вздыхал и рано ушел спать.

Мы тотчас же разошлись по своим комнатам и, так как очень устали от дороги, уснули как убитые.

Около четырех часов утра я услышала, что кто-то стучит к нам в дверь. Я вскочила и отперла. Передо мной, как и несколько дней тому назад, стоял отец со свечой в руках. Он был совсем одет.

- Одевайся скорее, мы сейчас едем! - сказал он. - Я уже начал укладывать вещи, пойдешь помоги мне.

Он плохо спал, его мучило, что местопребывание его будет открыто. В четыре часа он разбудил Душана Петровича, послал за ямщиками, которых мы на всякий случай оставили ночевать на деревне. Он не забыл распорядиться и о лошадях для нас и послал служку монастырской гостиницы за местным ямщиком.

Помня обещание, данное мною тете Маше, я тотчас же послала за ней. Было совсем темно. При свете свечи я торопливо собирала вещи, завязывала чемоданы. Пришел Душан Петрович. Козельские ямщики подали лошадей, нашего же ямщика с деревни все еще не было. Я просила отца уехать, не дожидаясь нас. Он очень волновался, несколько раз посылал на деревню за лошадьми и, наконец, решил ехать, не дожидаясь тети Маши и Е.В.Оболенской, которым написал следующее письмо:

"Шамординский монастырь. 31 октября 1910 года 4 ч. утра.

Милые друзья, Машенька и Лизанька. Не удивляйтесь и не осудите нас, меня за то, что мы уезжаем, не простившись хорошенько с вами. Не могу выразить вам обеим, особенно тебе, голубушка Машенька, моей благодарности за твою любовь и участие в моем испытании. Я не помню, чтобы, всегда любя тебя, испытывал бы к тебе такую нежность, какую я чувствовал эти дни и с которой уезжаю. Уезжаем мы так

непредвиденно, потому что боюсь, что меня застанет здесь Софья Андреевна. А поезд только один, в восьмом часу. Прости меня, если я увезу твои книжечки и "Круг чтения"; я пишу Черткову, чтобы он выслал тебе "Круг чтения" и "На каждый день". А книжечки возвращу. Целую вас, милые друзья, и так радостно люблю вас. Л.Т."

Минут через десять после отъезда отца и Душана Петровича подъехала тетя Маша

- Где Левочка?

- Уехал.

- Ах, Боже мой, Боже мой, и мы не простились! Ну, что ж делать, что делать, только бы ему было хорошо!

Она села на лавочку на крыльце. Все молчали.

- Пускай Соня приедет сюда, я сумею ее встретить, - вздохнув, сказала она.

Она была очень грустна, но тверда духом и думала только о том, чтобы было лучше для отца.

А между тем лошадей из деревни все еще не было. Мы с Варварой Михайловной ужасно волновались и почти уже не надеялись поспеть на поезд. Но вот приходит ямщик пешком без лошадей.

- Где же лошади?

- Да у меня, барышня, экипаж сломан.

- Боже мой, Боже мой, что же делать?

"До поезда осталось два часа, дорога пятнадцать верст - ужасная. Опоздали!" - подумала я.

- Что у тебя есть? Телега есть?

- Как не быть? Телега есть, бричка есть, только не на рессорах.

- Ах, все равно, только скорее, скорее запрягай, голубчик, милый... Скорее, скорее, ради Бога скорее!

Не знаю, понял ли этот милый человек мое положение, заметил ли мое отчаяние, но не прошло и пятнадцати минут, как пара лохматых, сытых маленьких лошадок стояла у подъезда. Всю дорогу мужичок погонял своих лошадей. Они были все в мыле, он уже не хлестал их, а только с жалостью и отчаянием в голосе понукал:

- Но, маленькие, ноо, ноо! Пожалуйста, ноо!

Подъезжая к Козельску, мы увидели впереди наши два экипажа и одновременно поезд, который уже подходил к вокзалу.

Сели в поезд без билетов, едва успев втащить багаж. Отец был все так же взволнован и очень торопился.

- Если бы опоздали, я не уехал бы без вас, а остался бы ждать в Козельске в гостинице, - сказал он мне.

В вагоне то и дело подсаживались любопытные, то к Варваре Михайловне, то к Душану Петровичу, то ко мне.

- Кто с вами едет? Это Лев Николаевич Толстой? Куда ж он едет?

В купе, куда нас перевели, был какой-то господин. Он сейчас же узнал отца и стал с ним говорить. Я отвела его в сторону и просила не беспокоить отца, так как он очень устал.

- Да, я знаю, простите.

Через несколько минут он, взяв свои вещи, перешел в общее отделение, уступив нам все купе.

- Я ведь знаю многое по газетам, - говорил он мне, - я истинный поклонник Льва Николаевича. Располагайте мной, как хотите. Если Лев Николаевич согласится, я могу предложить свой дом в Белеве*, никто его не побеспокоит там.

Отец лежал. Когда мы спрашивали его о здоровье, он говорил, что устал, но чувствует себя хорошо. Попросил газету. На следующей большой станции я купила ему несколько газет. Почитав их, он огорчился.

- Все уже известно, все газеты полны моим уходом, - сказал он.

Он попросил его накрыть пледом и сказал, что попробует поспать. Я ушла в общее отделение.

Пассажиры читали газеты, и разговор шел об уходе Льва Николаевича Толстого из Ясной Поляны. Против меня сидели два молодых человека, пошло-франтовато одетые, с папиросами в зубах.

- Вот так штуку выкинул старик, - сказал один из них. - Небось это Софье Андреевне не особенно понравилось, - и глупо захохотал, - взял да ночью и удрал.

- Вот тебе и ухаживала она за ним всю жизнь, - сказал другой, - не очень-то, видно, сладки ее ухаживания...

Но вскоре они узнали, что Толстой едет в соседнем купе и, сконфуженно косясь на нас, умолкли. Весть, что Толстой едет в этом поезде, разнеслась по всем вагонам с быстротой молнии. Несколько раз любопытные

врывались к отцу в отделение, но я резко отклоняла такие посещения и, насколько было возможно, оберегала его от любопытных.

Скоро и кондукторы, все с сочувствием относившиеся к нам, стали меня поддерживать.

- Что вы ко мне пристали? - говорил один из кондукторов, седой, почтенного вида человек с умным, пронизательным лицом какому-то пассажиру. - Что вы в самом деле ко мне пристали? Ведь говорю же я вам, что Толстой на предпоследней станции уже слез!

Проснувшись, отец попросил есть. Я обратилась к кондукторам, прося указать мне местечко, где я могла бы на спиртовке сварить овсянку. И тут они проявили большое сочувствие. Провели меня в служебное отделение, где сидело человек пять кондукторов. Они помогли мне кто чем мог, расспрашивая, сочувствовали. Овсянка вышла вкусная, и отец с большим удовольствием, похваливая, съел всю кастрюлю. После этого он заснул.

Болезнь и смерть

В четвертом часу отец позвал меня и просил накрыть, говоря, что его знобит.

- Спину получше подоткни, очень зябнет спина.

Мы не очень встревожились, так как в вагоне было прохладно, все зябли и кутались в теплые одежды. Мы накрыли отца поддевкой, пледом, свиткой, а он зяб все сильнее и сильнее. Душан Петрович поставил градусник. Когда его вынули, он показывал 38,1.

Никогда еще я не испытывала такого чувства тревоги! Ноги подкосились, я села на диван против отца и как-то невольно начала повторять:

"Господи, помоги, спаси, помоги..."

Отец, поняв, в каком я была состоянии, протянул мне руку, крепко сжал мою и сказал:

- Не унывай, Саша, все хорошо, очень хорошо.

В Горбачеве я вышла на платформу. Какой-то господин в очках спрашивал кондуктора, тут ли Толстой, и, когда узнал, что здесь, вскочил в наш поезд. Кроме того во все время путешествия какой-то человек с рыжими усами прохаживался по нашему вагону. Почему-то его лицо бросилось нам в глаза. Скоро мы заметили, что он появлялся в разных платьях: то в форме железнодорожного служащего, то в штатском. Один из кондукторов таинственно сообщил мне, что человек тот, узнав, что Толстой едет в этом поезде, из Горбачева телеграфировал что-то Тульскому губернатору. Я поняла, что за нами следит полиция.

А между тем жар у отца все усиливался и усиливался. Заварили чай и дали ему выпить с красным вином, но и это не помогло, озноб продолжался.

Не могу описать состояния ужаса, которое мы испытывали. В первый раз я почувствовала, что у нас нет пристанища, дома. Накуренный вагон второго класса, чужие и чуждые люди кругом и нет угла, где можно было бы приютиться с больным стариком.

Проехали Данков, подъехали к какой-то большой станции. Это было Астапово. Душан Петрович убежал и через четверть часа пришел с каким-то господином, одетым в железнодорожную форму. Это был начальник

станции. Он обещал дать в своей квартире комнату, где можно было уложить больного, и мы решили здесь остаться. Отец встал, его одели, и он, поддерживаемый Душаном Петровичем и начальником станции, вышел из вагона, мы же с Варварой Михайловной собирали вещи.

Когда мы пришли на вокзал, отец сидел в дамской комнате на диване в своем коричневом пальто, с палкой в руке. Он весь дрожал с головы до ног, и губы его слабо шевелились. Я предложила ему лечь на диван, но он отказался. Дверь из дамской комнаты в залу была затворена и около нее стояла толпа любопытных, дожидаясь прохода Толстого. То и дело в комнату врывались дамы, извинялись, оправляли перед зеркалом прически и шляпы и уходили.

Душан Петрович, Варвара Михайловна и начальник станции ушли готовить комнату. Мы сидели с отцом и ждали.

Но вот за нами пришли. Снова взяли отца под руки и повели. Когда проходили мимо публики, столпившейся в зале, все сняли шляпы, отец, дотрагиваясь до своей шляпы, отвечал на поклоны. Я видела, как трудно ему было идти: он то и дело пошатывался и почти висел на руках тех, кто его вел.

В комнате начальника станции, служившей ему гостиной, была уже поставлена у стенки пружинная кровать, и мы с Варварой Михайловной принялись стелить постель. Отец сидел в шубе и все так же зяб. Когда постель была готова, мы предложили ему раздеться и лечь, но он отказался, говоря, что не может лечь, пока все не будет приготовлено для ночлега так, как всегда. Когда он заговорил, я поняла, что у него начинается обморочное состояние. Ему, очевидно,

казалось, что он дома и он удивлен, что все было не в порядке, не так, как он привык...

- Я не могу лечь. Сделайте так, как всегда. Поставьте ночной столик у постели, стул.

Когда это было сделано, он стал просить, чтобы на столик поставили свечу, спички, записную книжку, фонарик и все, как бывало дома. Когда сделали и это, мы снова стали просить его лечь, но он все отказывался. Мы поняли, что положение очень серьезно и что, как это бывало и прежде, он мог каждую минуту впасть в полное беспамятство. Душан Петрович, Варвара Михайловна и я стали понемногу раздевать его, не спрашивая более, и почти перенесли на кровать.

Я села возле него, и не прошло пятнадцати минут, как я заметила, что левая рука его и левая нога стали судорожно дергаться. То же самое появлялось временами в левой половине лица.

Мы просили начальника станции послать за станционным доктором, который мог бы помочь Душану Петровичу. Дали отцу крепкого вина, поставили клизму. Он ничего не говорил, стонал, лицо было бледно, и судороги, хотя и слабые, продолжались.

Часам к девяти стало лучше. Дыханье было ровное, спокойное. Отец тихо стонал.

Станционный доктор, сам совершенно больной человек, ничем не мог помочь нам. Но присутствие его, очевидно, было приятно Душану Петровичу, облегчая его положение. С доктором пришла его жена. Она тяготила нас, так как желала сидеть в комнате больного, надоедала своими советами, расспросами и всем мешала.

Отец проснулся в полном сознании. Подозвав меня, он улыбнулся и участливо спросил:

- Что, Саша?

- Да что ж, нехорошо. - Слезы были у меня на глазах и в голосе.

- Не унывай, чего же лучше: ведь мы вместе.

К ночи стало легче. Поставили градусник, жар быстро спадал, и ночь отец спал хорошо.

Разумеется, никто из нас не раздевался и мы по очереди сидели у постели отца, наблюдая за каждым его движением. Среди ночи он подозвал меня и сказал:

- Как ты думаешь, можно будет нам завтра ехать?

Я сказала, что, по-моему, нельзя, придется в самом лучшем случае переждать еще день. Он тяжело вздохнул и ничего не ответил.

- Ах, зачем вы сидите? Вы бы шли спать! - несколько раз в течение ночи обращался он к нам.

Иногда он бредил во сне:

- Удрать... Удрать... Догонять...

Он просил не сообщать в газеты про его болезнь и вообще никому ничего не говорить о нем. Я успокаивала его.

На другой день, померивши температуру, мы ожили: градусник показывал 36,2. Состояние довольно бодрое. Отец все время разговаривал о том, что надо ехать дальше. Его очень беспокоило, что могут узнать, где он, и он, подозвав меня, продиктовал следующую телеграмму Черткову: "Вчера захворал, пассажиры

видели, ослабевши шел с поезда, боюсь огласки, нынче лучше, едем дальше, примите меры, известите".

Воспользовавшись хорошим состоянием отца, я решила спросить у него то, что мне необходимо было знать в случае, если болезнь его затянется и будет опасной и продолжительной. Я чувствовала, что на мне лежит громадная ответственность; я считала себя обязанной известить семью, как я обещала, в случае болезни отца. Вот почему я спросила, желает ли он, чтобы я дала знать семье, если болезнь окажется продолжительной и серьезной. Отец очень встревожился и несколько раз убедительно просил меня ни в каком случае не давать знать семье о его местопребывании и болезни.

- Черткова я желал бы видеть, - прибавил он.

Я тотчас же послала Черткову телеграмму следующего содержания: "Вчера слезли Астапово, сильный жар, забытье, утром температура нормальная, теперь снова озноб. Ехать невыносимо, выражал желание видеться вами. Фролова" [Мой псевдоним]. Через несколько часов я получила ответ, что Чертков будет на следующий день утром в Астапове.

В это же утро отец продиктовал мне следующие мысли в свою записную книжку: "Бог есть неограниченное все, человек есть только ограниченное проявление Бога". Я записала и ждала, что он будет диктовать дальше.

- Больше ничего.

Он полежал некоторое время молча, как бы обдумывая что-то, и потом снова позвал меня.

- Возьми записную книжку и перо и пиши:

"Или еще лучше так: Бог есть то неограниченное все, чего человек сознает себя ограниченной частью. Истинно существует только Бог. Человек есть проявление Его в веществе, времени и пространстве. Чем больше проявление Бога в человеке (жизнь) соединяется с проявлением (жизнями) других существ, тем больше он существует. Соединение этой своей жизни с жизнями других существ совершается любовью.

Бог не есть любовь, но чем больше любви, тем больше человек проявляет Бога, тем больше истинно существует.

Бога мы признаем только через сознание. Его проявления в нас. Все выводы из этого сознания и руководство жизни, основанные на нем, всегда вполне удовлетворяют человека и в познании самого Бога, и в руководстве в своей жизни, основанном на этом сознании".

Через некоторое время он снова позвал меня и сказал:

- Теперь я хочу написать Тане и Сереже.

Его, очевидно, мучило то, что он просил меня не вызывать их телеграммой, и он хотел им объяснить, почему не решается увидеть их.

Несколько раз он должен был прекращать диктовать из-за подступавших к горлу слез, и минутами я едва могла слышать его голос, так тихо, тихо он говорил. Я записала стенограммой, потом переписала и принесла ему подписать.

"Милые мои дети Таня и Сережа!

Надеюсь и уверен, что вы не попрекнете меня за то, что я не призвал вас. Призвание вас одних без мам? было бы великим огорчением для нее, а также и для других братьев. Вы оба поймете, что Чертков, которого я призвал, находится в исключительном положении по отношению ко мне. Он посвятил свою жизнь на служение тому делу, которому я служил последние сорок лет моей жизни. Дело это не столько мне дорого, сколько я признаю - ошибаюсь или нет - его важность для всех людей, и для вас в том числе.

Благодарю вас за ваше хорошее отношение ко мне. Не знаю, прощаюсь ли или нет, но почувствовал необходимость высказать то, что высказал.

Еще хотел прибавить тебе, Сережа, совет о том, чтобы ты подумал о своей жизни, о том, кто ты, что ты, в чем смысл человеческой жизни и как должен проживать ее всякий разумный человек. Те усвоенные тобой взгляды дарвинизма, эволюции и борьбы за существование не объяснят тебе смысла твоей жизни и не дадут руководства в поступках; а жизнь без объяснения ее значения и смысла и без вытекающего из нее неизменного руководства есть жалкое существование. Подумай об этом. Любя тебя, вероятно, накануне смерти, говорю это.

Прощайте, старайтесь успокоить мать, к которой я испытываю самое искреннее чувство сострадания и любви. Любящий вас отец Лев Толстой".

- Ты им передай это после моей смерти, - сказал он и опять заплакал.

С девяти часов снова начался озноб и жар стал увеличиваться. Он очень стонал, метался, жаловался на

головную боль. К четырем часам температура была уже 39,8.

Несколько раз приходил железнодорожный врач, но он мало внушал нам доверия, а главное, он всегда приходил со своей скучной, болтливой и бестактной женой, которая нас очень тяготила. В конце концов мы старались отклонять его посещения.

Начальник станции, Иван Иванович Озолин, милейший человек, помощь, доброту и сердечную отзывчивость которого я никогда не забуду, все время между служебными обязанностями помогал нам. Своих трех маленьких детей Озолины поместили в крошечную комнатку, что, впрочем, мало огорчало их. Все время были слышны их веселые голоса и смех, а самая маленькая девочка что-то напевала верным, звучным голоском. Я слушала звуки этого веселого наивного напева, и мне становилось еще грустнее: так велик был контраст между беззаботными, радостными звуками и тем тяжелым, удрученным настроением, в котором мы находились.

В этот день отец позвал к себе Ивана Ивановича Озолина и его жену, благодарил их за гостеприимство и расспрашивал про детей, сколько их, какого возраста. Озолины вышли из комнаты с растроганными, радостными лицами.

Вечером случилась беда, которая могла бы иметь очень дурные последствия. Мы заметили, что пахнет угаром, и у всех нас разболелись головы. Когда Варвара Михайловна взглянула в печь, то увидела в ней большое тлевшее полено. Прислуживавшая нам девушка положила сушить его на лучинки. Труба была уже закрыта. Мы сейчас же открыли трубу, отворили

форточку в соседней комнате и даже в комнате отца, загородив постель ширмами и закрывши его с головой.

Когда Душан Петрович вместе с станционным врачом выслушал отца, он нашел в легких хрипы. Началось воспаление. Кроме того, нас сильно встревожили появившийся кашель и ржаво-кровяная мокрота.

Посоветовавшись, мы решили послать телеграмму Сереже с просьбой вызвать к нам доктора Никитина. Мне было тяжело решиться на этот шаг, я обещала отцу никого не вызывать к нему. Но, с другой стороны, я не могла взять на себя ответственность и не вызвать хорошего, знающего врача. После больших колебаний я послала срочную телеграмму брату Сергею, чтобы он привез врача.

Позднее вечером температура немного понизилась - 37,3, хотя отец постоянно стонал и просил пить.

По-видимому, настроение у него было очень подавленное.

В ночь с 1-го на 2-е ноября жар поднялся и к пяти часам утра второго достиг 39,1. Сердце работало слабо, пульс 90 с перебоями, дыханье 38-40. Все время отца мучила страшная жажда. Попросив чашку чая с лимоном, он с большим удовольствием ее выпил и сказал:

- Вот как хорошо, может быть, легче станет.

Я поила его с маленькой ложечки, он попросил принести ложку побольше:

- Уж очень маленькая, мало попадает.

Варвара Михайловна принесла большую, приподняла ему голову, а я поила.

- Вот хорошо, и не пролили, - сказал он довольно твердым голосом, как будто ему действительно стало легче от питья.

Каждый раз, когда по улыбке и выражению лица мы замечали, что ему лучше, мы начинали верить, что он выздоровеет. Но как только он начинал громко стонать и жаловаться, мы снова падали духом и нам казалось, что все кончено. Так было все эти дни.

Все утро отец громко стонал. Ко всем его страданиям прибавилась еще мучительная изжога.

В семь часов снова померили температуру. Было 39,2. Отец сам посмотрел градусник и сказал:

- Да, нехорошо; прибавилось.

Вообще в первые дни болезни он часто по собственному желанию ставил градусник и сам смотрел, прося посветить, когда бывало темно.

- Чем вы определяете это? - спросил он Душана Петровича. - Что это за болезнь?

- Я думаю, катар легких, - сказал Душан Петрович.

- А при этом бывает такой жар?

- Да.

Но всем нам было совершенно ясно, что это был не катар, а ползучее воспаление в легких.

В девять часов утра приехал Владимир Григорьевич со своим секретарем А.П.Сергеенко. Очень трогательно было их свидание с отцом после нескольких месяцев разлуки. Оба плакали. Я не могла удержаться от слез, глядя на них, и плакала в соседней комнате.

Видно было, что отец очень обрадовался Черткову и, собирая последние силы, долго расспрашивал его о Софье Андреевне, о том, что с ней, что слышал Владимир Григорьевич, спрашивал о здоровье жены Владимира Григорьевича, его матери.

Положение становилось все серьезнее и серьезнее. Несколько раз отец отхаркивал ржаво-красную мокроту, жар все повышался. В одиннадцать часов утра температура была 39,6, сердце работало слабо, с перебоями. Давали шампанское, которое отец пил с большой неохотой, боясь, что оно вызовет изжогу. Но, несмотря на сильный жар, может быть, под влиянием радостного свидания с Владимиром Григорьевичем, в этот день настроение отца не было подавленным, он даже шутил. Он вспомнил, как Душан Петрович смешно выговаривал слова: "пор?шки, пр?шу дать мне п?кой". Отец при этом так добродушно и весело смеялся, что мы, несмотря на тяжелое, подавленное настроение, не могли удержаться от улыбки.

Около трех часов температура стала несколько понижаться, но отец стонал, жалуясь на боль в боку. Я спросила у него, тяжело ли ему? Отец ответил, думая, что я спрашиваю не про физические, а про нравственные страдания:

- Разумеется, тяжело, все еще нет естественной жизни.

Весь этот день меня мучило, что я против воли отца вызвала брата Сергея и доктора Никитина. И я решила, тем более, что, мне казалось, состояние отца несколько улучшается, послать Сереже телеграмму, чтобы он не приезжал. Так как я не знала, где находится брат, я телеграфировала через Анну Константиновну Черткову:

"Отец просил вас не приезжать, письмо его следует, непосредственной опасности нет, если будет, сообщу". И с этой же почтой я отправила письмо Сереже и Тане.

Организовался более или менее правильный уход. Постоянно в комнате находились один или два дежурных, которые следили за пульсом, давали подкрепляющие сердце средства, вино, часто, первое время по желанию отца, измеряли температуру. Все достали себе мягкие туфли, чтобы не раздражать больного стуком каблуков. Мы сознавали, что положение очень, очень серьезное, и делали, что можно, чтобы облегчить страдания и помочь организму справиться с болезнью. Все, кроме приехавших, были измучены бессонными ночами и волнениями, подобных которым мне еще никогда не приходилось испытывать.

Около трех часов вошел начальник станции Иван Иванович Озолин. Вид у него был встревоженный, расстроенный. Он сообщил, что получена телеграмма из Щекина о том, что вышел экстренный поезд, который должен прибыть в Астапово около девяти часов вечера. В этом поезде выехала из Ясной Поляны моя мать со всей семьей.

Всем было ясно, что свидание отца с матерью могло быть губительно для его здоровья.

Ужас охватил нас всех. Что делать? Решено было просить Душана Петровича переговорить с братьями и матерью и убедить их не входить к отцу. Но для меня было ясно, что, так как отец сам добровольно порвал с матерью, ушел от нее, никто не имел права насиловать его волю. Я решила не впускать мать до тех пор, пока отец сам этого не пожелает, даже если бы доктора и семья нашли возможным это сделать.

Днем отец несколько раз ставил градусник и смотрел температуру. На мой вопрос, болит ли у него бок, отвечал, что нет. В четвертом часу состояние ухудшилось. Он громко стонал, дыхание было частое и тяжелое. Варвара Михайловна спросила, тяжело ли ему?

- Да, тяжело.

- Жарко?

- Да, жарко.

Он снова попросил градусник и, когда Варвара Михайловна поставила его и сказала вслух:

- Без пяти четыре.

Отец сейчас же добавил:

- Значит, вынимать десять минут пятого.

Меня не было в комнате, когда отец вынул градусник и, увидав, что он показывает 39,2, громко сказал:

- Ну, мать, не обижайтесь!

И, когда Варвара Михайловна переспросила, он снова повторил:

- Ну, мать, не обижайтесь.

В восемь вечера приехал брат Сергей. Он был очень расстроен, непременно желал видеть отца, а вместе с тем сам сознавал, что свидание расстроит и взволнует его. Мы долго колебались. Брат стоял в соседней комнате и смотрел на отца, потом вдруг решительно сказал:

- Нет, я пойду. Я скажу ему, что в Горбачеве случайно узнал от кондуктора, что он здесь, и приехал.

Отец очень взволновался, увидав его, обстоятельно расспрашивал, как брат узнал, где он находится, что знает о матери, где она и с кем. Сережа ответил, что он из Москвы, что мать в Ясной Поляне, с ней доктор, сестра милосердия и младшие братья.

- Я вижу, что мать нельзя допускать к нему, - сказал брат, выходя из комнаты, - это слишком его взволнует.

Отец позвал меня.

- Сережа-то каков!

- А что, пап?ша?

- Как он меня нашел! Я очень ему рад, он мне приятен... Он мне руку поцеловал, - сквозь рыдания с трудом проговорил отец.

В этот же вечер приехал, вызванный нами из Данкова, земский врач Семеновский. Он выслушал отца вместе с Душаном Петровичем и железнодорожным врачом и определил так же, как и они, воспаление легких. Отец добродушно позволял докторам выстукивать и выслушивать себя и, когда они кончили, спросил доктора Семеновского, можно ли ему будет уехать через два дня? Семеновский ответил, что едва ли можно будет выехать через две недели. Отец очень огорчился, ничего не сказал и повернулся к стене.

В девять часов пришел экстренный поезд. Душан Петрович пошел встречать. Как всегда бывает, засуетились, забегали по платформе, и через несколько минут в окно я увидела фигуру матери под руку с кем-то и братьев. Она просила показать ей дом, в котором находился отец.

Возвратившись, Душан Петрович передал нам, что вся семья согласилась с тем, что матери не следует входить к отцу, считая, что потрясение может быть губительно для его жизни.

Третьего утром приехал доктор Никитин. Едва увидав его, отец стал расспрашивать, кто его вызвал. Никитин сказал, что вызвала его я. По-видимому, приезд Дмитрия Васильевича огорчил отца. Он чувствовал, что постепенно делается известно, где он находится.

Мы же все чрезвычайно обрадовались приезду Никитина. Да и вообще в это утро настроение было бодрое, полное надежды. Температура понизилась до 36,8. Но сердце работало плохо, пульс был около ста, с частыми перебоями.

Отец охотно позволил себя выслушать, и Никитин так же, как и другие врачи, определил воспаление нижней доли левого легкого. На все наши вопросы Никитин отвечал, что, хотя состояние очень тяжелое, надежда есть.

Несколько раз в день приходили братья, спрашивая о здоровье. Иногда потихоньку входили в дом, иногда подходили к окну, стучали в него, и я отворяла форточку и сообщала им о ходе болезни. Все братья старались по очереди находиться около матери, следить за ней и уговаривали ее не входить к отцу. Кроме того, при матери был доктор психиатр, который, впрочем, скоро уехал, и сестра милосердия.

На вокзале толпились корреспонденты со всех концов России. Они старались поймать каждого выходящего из нашего домика, узнать самые свежие новости и сообщить в свою редакцию. Говорили, что мать охотно беседует с корреспондентами, благодаря чему во

многих газетах стали появляться не совсем точные сведения. В этот день, по настойчивой просьбе сестры, я пошла в вагон экстренного поезда. Мать желала говорить со мной.

Я не видела в ней раскаяния, напротив, видела желание всех осудить. Она говорила о сочувствии, которое выражают ей газеты, о виновности Черткова, моей. Она расспрашивала о нашем путешествии и уверяла, что скрыться все равно нельзя, так как у нее есть два тайных друга, которые сообщили ей о том, где находится Лев Николаевич, и что теперь Столыпин командирует двух полицейских, чтобы они безотлучно следили за отцом.

Она не представляла себе, насколько плох был отец, и говорила, что когда он поправится, она уж конечно не упустит его, будет по пятам следить за ним.

- Куда он, туда и я, - повторяла она.

Под конец разговора она спросила, вспоминал ли отец о ней?

Я ответила, что вспоминал, но очень боялся, и теперь боится, что она может приехать.

- Наверное, он со злобой говорил обо мне?

- Нет, без всякой злобы, скорее с жалостью.

- Он знает, что я топилась?

- Да, знает.

- Ну и что же?

- Он сказал, что если бы ты убила себя, ему было бы очень тяжело, но он не обвинил бы себя в этом, так как не мог поступить иначе.

Потом мать стала говорить о том, что отец ушел для того, чтобы жить как будто простой жизнью, а теперь снова окружил себя докторами, роскошью.

- Я должна была лететь сюда в поезде, который стоил пятьсот рублей!

И она стала так нехорошо говорить про отца, что я резко оборвала ее и ушла.

В этот день Душан Петрович хотел подложить под голову отцу подушечку, которую привезла мать. Она сама сшила ему эту подушку, и дома он всегда на ней спал. Об этом просила Душана Петровича мать, а ему не пришло в голову, что это могло взволновать отца. Отец сейчас же спросил:

- Откуда это?

Душан Петрович растерялся и, не зная что ответить, сказал:

- Татьяна Львовна привезла.

Узнав, что сестра в Астапове, отец взволновался и обрадовался. Подозвав Владимира Григорьевича, он стал расспрашивать его, как Таня приехала.

- Вероятно, Татьяна Львовна сказала Софье Андреевне, что поедет в Кочеты, а сама поехала сюда, - сказал он.

Отец все время беспокоился, что могут узнать, где он. Ему и в голову не приходило, что во всех газетах уже давно есть подробные сообщения о его болезни в Астапове и вокзал полон корреспондентов.

Сестра вошла к нему. Он радостно встретил ее и сейчас же стал расспрашивать о матери. Таня отвечала ему, но когда отец спросил, возможно ли, что Софья

Андреевна придет сюда, сестра хотела отвести разговор и сказала, что она не хочет говорить с ним о матери, так как это слишком волнует его. Но он со слезами на глазах просил:

- Почему ты не хочешь отвечать мне? Ты разве не понимаешь, как мне для моей души нужно знать это?

Сестра растерялась, что-то сказала и поспешно вышла из комнаты.

Отец долго не мог успокоиться, не понимая, почему Таня не захотела отвечать ему.

В четыре часа, узнав, что приехали Горбунов и Гольденвейзер, отец пожелал видеть их. Душан Петрович отговаривал его, говоря, что он устанет, но отец настойчиво потребовал свидания с ними, сказав:

- Когда устану, они увидят и сами уйдут.

При свидании этом меня не было.

После кто-то рассказывал мне, что Иван Иванович Горбунов долго говорил с отцом об издаваемых им в "Посреднике" книжечках "Путь жизни", а уходя, сказал отцу:

- Что, еще повоюем, Лев Николаевич?

- Вы повоюете, а я уже нет, - ответил отец.

В пять часов отец попросил позвать Сережу. Его не было. Тогда он попросил позвать Черткова. Вошли Чертков и Никитин, и отец стал диктовать им телеграмму братьям, которые, как он думал, были в Ясной Поляне при матери: "Состояние лучше, но сердце так слабо, что свидание с мам? было бы для меня губительно".

- Вы понимаете? - спросил он Владимира Григорьевича. - Если она захочет меня видеть, я не смогу отказать ей, а между тем свидание с ней будет для меня губительно, - еще раз повторил он и заплакал.

Через полчаса он позвал Варвару Михайловну и спросил, послали ли телеграмму и кто давал деньги. Варвара Михайловна сказала, что, вероятно, Саша.

- То-то, зачем же Владимир Григорьевич будет на меня тратиться. У меня есть свои деньги. Возьмите в столике кошелек, там рублей десять мелочью, и еще в записной книжке рублей пятьдесят, тратьте их. Передайте это Саше.

За все время его болезни меня поражало, что, несмотря на жар, сильное ослабление сердца и тяжелые физические страдания, у отца все время было ясное сознание. Он замечал все, что делалось кругом до мельчайших подробностей. Так, например, когда от него все вышли, он стал считать, сколько всего приехало народа в Астапово, и счел, что всех приехало девять человек.

Как-то он спросил девушку, каждое утро вытиравшую у него в комнате пол, замужем ли она, сколько ей лет, хорошо ли ей здесь живется? Она смущенно отвечала ему.

Днем Чертков читал ему газеты и прочел четыре полученных на его имя письма, привезенные им из Ясной Поляны. Отец их внимательно выслушал и, как всегда это делал дома, просил пометить на конвертах, что с ними делать.

Вечером температура была 37,7. Отец уже не просил, чтобы ему ставили градусник, хотя и не

противился, когда мы это делали. Появилась ужасная икота. Мы давали ему пить сахарную воду, содовую с молоком, но ничего не помогало. Отец икал громко и, по-видимому, мучительно. Сердце ослабело. И вообще состояние значительно ухудшилось. Все упали духом. Но Никитин и Душан Петрович все еще продолжали надеяться. В этот день семья Озолиных перешла в маленькую комнатку к сторожу, уступив нам всю квартиру. Иван Иванович остался с нами.

Ночь с третьего на четвертое ноября была одна из самых тяжелых. С вечера еще было довольно спокойно. Сознание было ясное. Мне помнится, что в этот вечер, когда кто-то поправлял его постель, отец сказал:

- А мужики-то, мужики, как умирают! - и заплакал.

Часов с одиннадцати начался бред. Отец просил нас записывать за ним, но это было невозможно, так как он говорил отрывочные, непонятные слова. Когда он просил прочитать записанное, мы терялись и не знали, что читать. А он все просил:

- Да прочтите же, прочтите!

Мы пробовали записывать его бред, но чувствуя, что записанное не имело смысла, он не удовлетворялся и снова просил прочитать.

Не зная, что делать, я разбудила Владимира Григорьевича. Когда отец обратился к нему с той же просьбой, мне вдруг пришло в голову почитать отцу "Круг чтения". Это помогло. Отец успокоился.

Почти всю ночь мы поочередно читали "Круг чтения", и отец замолкал и внимательно слушал, иногда останавливая читающего, прося повторить нерасслышанные им слова, иногда спрашивая, чья была

прочитанная мысль. Утро также было тревожно. Отец что-то говорил, чего окружающие никак не могли понять, громко стонал, охал, прося нас понять его мысль, помочь ему.

И мне казалось, что мы не понимаем не потому, что мысли его не имеют смысла, - я ясно видела по его лицу, что для него они имеют глубокий, важный смысл, а мы не понимаем их только потому, что он уже не в силах передать их словами.

Минутами он говорил твердо и ясно. Так, Владимиру Григорьевичу он сказал:

- Кажется, умираю, а может быть, и нет.

Потом сказал что-то, чего мы не поняли, и дальше:

- А впрочем надо еще постараться немножко.

Днем проветривали спальню и вынесли отца в другую комнату. Когда его снова внесли, он пристально посмотрел на стеклянную дверь против его кровати, и спросил у дежурившей Варвары Михайловны:

- Куда ведет эта стеклянная дверь?

- В коридор.

- А что за коридором?

- Сенцы и крыльцо.

В это время я вошла в комнату.

- А что эта дверь, заперта? - спросил отец, обращаясь ко мне.

Я сказала, что заперта.

- Странно, а я ясно видел, что из этой двери на меня смотрели два женских лица.

Мы сказали, что этого не может быть, потому что из коридора в сенцы дверь также заперта.

Видно было, что он не успокоился и продолжал с тревогой смотреть на стеклянную дверь.

Мы с Варварой Михайловной взяли плед и завесили ее.

- Ах, вот теперь хорошо, - с облегчением сказал отец. Повернулся к стене и на время затих.

Появился еще новый зловещий признак. Отец не переставая перебирал пальцами. Он брал руками один край одеяла и перебирал его пальцами до другого края, потом обратно, и так без конца. Это ужасно встревожило меня. Я вспоминала Машу...

Временами отец лежал совершенно неподвижно, молчал, даже не стонал и смотрел перед собой. В этом взгляде было для меня что-то новое, далекое. "Конец" - мелькало у меня в голове.

Иногда он старался что-то доказать, выразить какую-то свою неотвязную мысль. Он пробовал говорить, но чувствовал, что говорит не то, громко стонал, охал.

- Ты не думай! - сказала я ему.

- Ах, как не думать, надо, надо думать.

И он снова старался сказать что-то, метался и страдал.

Измучившись, он заснул. Проснулся около трех часов как будто в более спокойном состоянии и попросил пить. Варвара Михайловна принесла ему чаю с лимоном. Когда она вышла из комнаты, он, обратившись ко мне, сказал:

- Какая Варечка хорошая сиделка, только женщины умеют так ухаживать!

Я предложила ему умыться. Он согласился. Я взяла теплой воды, прибавила туда одеколону и стала ваткой обмывать его лицо. Он улыбался, жмурился, лицо было ласковое и спокойное, по-видимому, ему было очень приятно это обтирание. Когда я кончила обтирать одну сторону, он повернулся к мне другой и ласково сказал:

- Ну, теперь другую, и уши не забудь помыть.

Несколько часов он провел спокойно. Мы снова ободрились и стали надеяться.

Ввиду того, что требовалось постоянное присутствие врача, Семеновский не всегда мог приезжать, а Душан Петрович был измучен волнениями и бессонными ночами, я предложила Никитину вызвать на помощь доктора Григ. Моис. Беркенгейма. Он охотно согласился.

К вечеру снова начался бред, и отец просил, умоляя нас понять его мысль, помочь.

- Саша, пойди, посмотри, чем это кончится, - говорил он мне.

Я старалась отвлечь его.

- Может быть, ты хочешь пить?

- Ах, нет, нет... Как не понять... Это так просто.

И снова он просил:

- Пойдите сюда, чего вы боитесь, не хотите мне помочь, я всех прошу...

Чего бы я ни дала, чтобы понять и помочь!

Но сколько я ни напрягала мысль, я не могла понять, что он хочет сказать. Он продолжал говорить что-то невнятное.

- Искать, все время искать...

В комнату вошла Варвара Михайловна. Отец привстал на кровати, протянул руки и громким радостным голосом, глядя на нее в упор, крикнул:

- Маша! Маша!

Варвара Михайловна выскочила из комнаты испуганная, потрясенная.

Всю ночь я не отходила от отца. Он все время метался, стонал, охал. Снова просил меня записывать. Я брала карандаш, бумагу, но записывать было нечего, а он просил прочитать свои слова.

- Прочти, что я написал. Что же вы молчите? Что я написал? - повторял он, возбуждаясь все более и более.

В это время мы старались дежурить по двое, но тут случилось, что я осталась одна у постели отца. Казалось, он задремал. Но вдруг сильным движением он привстал на подушках и стал спускать ноги с постели. Я подошла.

- Что тебе, пап?ша?

- Пусти, пусти меня! - и он сделал движение, чтобы сойти с кровати.

Я знала, что если он встанет, я не смогу удержать его, он упадет, я всячески пробовала успокоить его, но он изо всех сил рвался от меня.

- Пусти, пусти, ты не смеешь меня держать, пусти!

Видя, что я не могу справиться с отцом, так как мои увещания и просьбы не действовали, а силой его удерживать у меня не хватало духа, я стала кричать:

- Доктор, доктор, скорее сюда!

Кажется, в это время дежурил доктор Семеновский. Он вошел вместе с Варварой Михайловной, и нам удалось успокоить отца. Видно было, что он ужасно страдал.

Я разбудила Владимира Григорьевича, который стал читать отцу, как и в предыдущую ночь, "Круг чтения", и он затих, только изредка охал и икал. Утром он усталым, измученным голосом сказал:

- Я очень устал, а главное, вы меня мучаете.

В этот день из Москвы приехал Беркенгейм и привез, как мы его просили в телеграмме, новую кровать. Та, на которой лежал отец, была очень старая, плохая, с испорченными, выпирающими пружинами. Никитин предложил отцу перейти на новую кровать, но он отказался. За последние дни он вообще неохотно исполнял то, что требовали доктора. Он уже не только не просил мерить температуру, но с трудом соглашался на это. Ему хотелось полного покоя и было неприятно, когда его тревожили.

Через некоторое время он все-таки позволил себя перенести на другую кровать, сказавши Никитину ласковым голосом:

- Ну, перенесите меня, если это доставит вам удовольствие.

Беркенгейм был в комнате, когда устанавливали кровать. Отец следил глазами за тем, что делали, потом вдруг спросил:

- Кто со мной не здоровался?

И когда ему сказали, что все поздоровались, он сказал:

- Нет, кто-то не поздоровался.

Тогда Григорий Моисеевич, не решавшийся побеспокоить отца, подошел к нему. Отец ласковым голосом сказал:

- Спасибо вам, голубчик.

Беркенгейм поцеловал руку отца и, зарыдав, вышел из комнаты. Хотя Григорий Моисеевич меньше Никитина и других врачей надеялся на хороший исход болезни, он хлопотал больше всех. Он потребовал, чтобы из комнаты отца были вынесены все оставшиеся картины и мягкая мебель. Он сейчас же велел мне сварить овсянку и пробовал хоть понемногу давать ее отцу. Он привез с собой из Москвы кефир, и отец, узнав об этом, попросил дать ему и выпил полстакана. Сваривши овсянку и смешавши ее с желтком так, как это всегда делал отец дома, я принесла ее. Нас всех очень обрадовало и утешило, когда отец немного поел. Пока мы были погружены в уход за отцом, следя за малейшими ухудшениями и улучшениями, то падая духом, то снова ободряясь, за стенами нашего дома кишмя кишели корреспонденты, ловя каждое слово, телеграфисты не успевали отправлять подаваемые телеграммы. Их было столько, что срочные телеграммы шли, как обыкновенные. Киносъемщики поминутно снимали все, что только могли: мою мать, братьев, наш домик, станцию. Приехал старец из Оптиной пустыни - отец Варсанофий и просил всех моих родных пустить его к

отцу для того, чтобы вернуть его перед смертью "в лоно православной церкви".

Все это до меня доносилось из разговоров окружающих, но один раз я тоже чуть не попала в кинофильму. Гольденвейзер, дежуривший в сенях, позвал меня, сказав, что на крыльце стоит моя мать и просит выйти к ней на минутку, чтобы расспросить о здоровье отца. Я вышла на крыльцо и стала отвечать на ее вопросы, но она попросила меня пустить ее в сени, клянясь, что в дом она не войдет. Я собиралась отворить дверь, как вдруг услышала треск и, обернувшись, увидела двух киносьемщиков, вертевших ручку аппарата. Я замахала руками, закричала, прося их перестать снимать и, обратившись к матери, просила ее сейчас же уйти.

- Вы меня не пускаете к нему, - ответила она на мои упреки, - так пускай хоть люди думают, что я у него была!

С тяжелым камнем на сердце вернулась я в наш домик!

А Душан Петрович писал тетушке Марии Николаевне в Шамордино:

"Вчера мне С.А. сказала, что больше от Льва Николаевича не отстанет. Если Лев Николаевич выздоровеет, в чем Софья Андреевна почти не сомневается, и если уедет на юг, за границу, она за ним, не пожалеет 5000 руб. сыщику, который будет за Львом Николаевичем следить, куда поедет. Это вам сообщаю не ради осуждения Софьи Андреевны, а ради характеристики.

Вчера и сегодня строчили ее речи пять корреспондентов (2 русских, 3 еврея), которые ходили к

ней в вагон. Софья Андреевна говорила им вроде того, что Лев Николаевич уехал ради рекламы".

Мы с сестрой Таней сидели около отца. Он все время икал. Таня спросила меня, не дать ли ему что-нибудь выпить.

- Как, должно быть, мучительно ему эта икота, - прибавила она.

- Нет, совсем не мучительно, - сказал он, услышав наш разговор.

Днем мы все сидели в столовой. Около отца были Таня и доктор Семеновский. Сестре показалось, что отец среди бреда сказал слово: "Соня" или "сода". Она не расслышала и переспросила:

- Ты хочешь видеть Соню?

Отец ничего не ответил и отвернулся к стене.

Когда доктора ставили компресс, брат Сергей сказал, что, кажется, компресс плохо поставлен. Отец спросил:

- Что, плохо дело?

- Не плохо дело, а плохо компресс поставлен, - ответил брат.

- А, а, а!

В этот день положение резко изменилось к худшему. Все сознавали, что надежды почти нет. Мне же казалось, что лечение - впрыскивания, кислород, клизмы, все это бесполезно и только нарушает покой отца, мешает той внутренней работе, которой он был весь поглощен, готовясь к смерти.

Вечером отец спокойно уснул. Когда он проснулся, я предложила ему умыться. Он сказал:

- Пожалуй, вымой.

И когда я обтирала ему усы и бороду, он ловил ватку губами и старался забрать ее в рот. Вероятно, во рту сильно сохло. Окончив, я просила его поесть. Он сначала отказался, но потом согласился и съел полстаканчика овсянки и выпил миндального молока.

Ночь с 5-го на 6-е прошла сравнительно спокойно. К утру температура 37,3, сердце слабо, но лучше, чем накануне. Все доктора, кроме Беркенгейма, который все время смотрел на болезнь безнадежно, ободрились и на наши вопросы отвечали, что хотя положение серьезно, надежда еще есть.

В 10 часов утра приехали вызванные из Москвы моими родными и докторами врачи Щуровский и Усов.

Увидав их, отец сказал:

- Я их помню.

И потом, помолчав немного, ласковым голосом прибавил:

- Милые люди.

Когда доктора исследовали отца, он, очевидно, приняв Усова за Душана Петровича, обнял и поцеловал его, но потом, убедившись в своей ошибке, сказал:

- Нет, не тот, не тот.

Щуровский и Усов нашли положение почти безнадежным.

Да я знала это и без них, хотя с утра все ободрились, но я уже почти не надеялась. Все душевные

и физические силы сразу покинули меня. Я едва заставляла себя делать то, что было нужно, и не могла уже сдерживаться от подступавших к горлу рыданий...

Все слилось в моей памяти в какое-то сплошное страдание*.

В этот день он точно прощался со всеми нами. Около него с чем-то возились доктора. Отец ласково посмотрел на Душана Петровича и с глубокой нежностью сказал:

- Милый Душан, милый Душан!

В другой раз меняли простыни, я поддерживала отцу спину. И вот я почувствовала, что его рука ищет мою руку. Я подумала, что он хочет опереться на меня, но он крепко пожал мне руку один раз, потом другой. Я сжала его руку и припала к ней губами, стараясь сдержать подступившие к горлу рыдания.

В этот день отец сказал нам с сестрой слова, которые заставили меня очнуться от того отчаяния, в которое я впала, заставили вспомнить, что жизнь для чего-то послана нам и что мы обязаны, независимо от каких-либо обстоятельств, продолжать эту жизнь, по мере слабых сил своих стараясь служить Пославшему нас и людям.

Кровать стояла среди комнаты. Мы с сестрой сидели около. Вдруг отец сильным движением привстал и почти сел. Я подошла.

- Поправить подушки?

- Нет, - сказал он, твердо и ясно выговаривая каждое слово, - нет. Только одно советую помнить, что

на свете есть много людей, кроме Льва Толстого, а вы смотрите только на одного Льва.

И снова опустился на подушки.

Это были последние слова, обращенные к нам.

Положение сразу ухудшилось. Деятельность сердца сильно ослабела, пульс едва прощупывался, губы, нос и руки посинели, и лицо как-то сразу похудело, точно сжалось. Дыханье было едва слышно. Все думали, что это конец.

Но доктора все еще не теряли или делали вид, что не теряют надежды. Они что-то впрыскивали, давали кислород, клали горячие мешки к конечностям, и жизнь снова стала возвращаться. Пульс стал сильнее, дыханье глубже.

Никитин держал мешок с кислородом. Отец отстранил его.

- Это совершенно бесполезно, - сказал он.

Вечером кто-то сказал мне, что меня желает видеть отец Варсанофий. Все родные и доктора наотрез отказали ему в просьбе видеть отца, но он все же нашел нужным обратиться с тем же и ко мне. Я написала ему следующее письмо:

"Простите, батюшка, что не исполняю Вашей просьбы и не прихожу беседовать с Вами. Я в данное время не могу отойти от больного отца, которому поминутно могу быть нужна. Прибавить к тому, что вы слышали от всей нашей семьи, я ничего не могу.

Мы - все семейные - единогласно решили впереди всех соображений подчиняться воле и желанию отца, каковы бы они ни были. После его воли мы подчиняемся

предписанию докторов, которые находят, что в данное время что-либо ему предлагать или насиловать его волю было бы губительно для его здоровья. С искренним уважением к Вам Александра Толстая. 6 ноября 1910 г. Астапово".

На это письмо я получила от отца Варсанофия ответ, который я здесь привожу:

"Ваше Сиятельство,

Достопочтенная графиня Александра Львовна. Мир и радование желаю Вам от Господа Иисуса Христа.

Почтительно благодарю Ваше Сиятельство за письмо Ваше, в котором пишете, что воля родителя Вашего для Вас и всей семьи Вашей поставляется на первом плане. Но Вам, графиня, известно, что граф выражал сестре своей, а Вашей тетушке монахине матери Марии желание видеть нас и беседовать с нами, чтобы обрести желанный покой своей душе, и глубоко скорбел, что это желание его не исполнилось. Ввиду сего почтительно прошу Вас, графиня, не отказать сообщить графу о моем прибытии в Астапово и, если он пожелает видеть меня хоть на две-три минуты, то я немедленно приду к нему. В случае же отрицательного ответа со стороны графа, я возвращусь в Оптину пустынь, предавши это дело воле Божьей.

Грешный игумен Варсанофий, недостойный богомолец Ваш.

1910 год ноября 6-го дня. Астапово".

На это письмо я уже не ответила. Да мне было и не до того.

Нам всем казалось, что состояние отца лучше, и снова вспыхнула надежда. Ставили клизму из соляного раствора.

Отцу было неприятно всякий раз, как его тревожили доктора, что он несколько раз выражал. Когда Никитин предложил ему ставить клизму, говоря, что от этого пройдет икота, отец сказал:

- Бог все устроит.

В другой раз он сказал:

- Все это глупости, все пустяки, к чему лечиться.

Вечером в столовую пришли братья доктора. Щуровский много говорил с Владимиром Григорьевичем о болезни отца, причем не отчаивался. Он находил, что силы у отца еще есть.

Затем все разошлись спать, и остались только Беркенгейм и Усов.

Я заснула. Меня разбудили в десять часов. Отцу стало хуже. Он стал задыхаться. Его приподняли на подушки, и он, поддерживаемый нами, сидел, свесив ноги с кровати.

- Тяжело дышать, - хрипло, с трудом проговорил он.

Всех разбудили. Доктора давали ему дышать кислородом и предложили делать впрыскивание морфия. Отец не согласился.

- Нет, не надо, не хочу, - сказал он.

Посоветовавшись между собой, доктора решили впрыснуть камфару для того, чтобы поднять деятельность ослабевшего сердца.

Когда хотели сделать укол, отец отдернул руку. Ему сказали, что это не морфий, а камфара, и он согласился.

После впрыскивания отцу как будто стало лучше. Он позвал Сережу.

- Сережа!

И когда Сережа подошел, сказал:

- Истина... Я люблю много... Как они...

Это были его последние слова. Но тогда нам казалось, что опасность миновала. Все успокоились и снова разошлись спать, и около него остались одни дежурные.

Все эти дни я не раздевалась и почти не спала, но тут мне так захотелось спать, что я не могла себя пересилить. Я легла на диван и тотчас же заснула, как убитая.

Меня разбудили около одиннадцати. Собрались все. Отцу опять стало плохо. Сначала он стонал, метался, сердце почти не работало. Доктора впрыснули морфий, отец спал до четырех с половиной утра. Доктора что-то еще делали, что-то впрыскивали. Он лежал на спине и часто и хрипло дышал. Выражение лица было строгое, серьезное и, как мне показалось, чужое.

Он тихо умирал.

Говорили о том, что надо впустить Софью Андреевну.

Я подошла к нему, он почти не дышал. В последний раз поцеловала я его лицо, руки...

Ввели мать. Он уже был без сознания. Я отошла и села на диван. Почти все, находившиеся в комнате, глухо

рыдали, мать что-то говорила, причитала. Ее просили замолчать. Еще один, последний вздох... В комнате мертвая тишина. Вдруг Щуровский что-то сказал громким, резким голосом, моя мать ответила ему, и все громко заговорили.

Я поняла, что он уже не слышит...

ПРИМЕЧАНИЯ

С. 17. Алеша и Ванечка - сыновья Толстых, умершие в детстве.

С. 20. Семирамида - царица Вавилона, с ее именем связывают создание ассиро-вавилонских памятников и висячих садов.

Тетушка Татьяна Андреевна - Т.А.Кузминская.

С. 21. ...пел у нас в Москве Шаляпин. - По приглашению Толстого 9 января 1900 г. Шаляпин вместе с С.В.Рахманиновым посетил хамовнический дом писателя, где спел "Судьбу" (музыка Рахманинова, стихи А.Н.Апухтина) и "Старого капрала" (музыка А.С.Даргомыжского, стихи П.Ж.Беранже). Отзыв Толстого относится вообще к репертуару Шаляпина и сделан им много позднее.

С. 23. Дядя Костя - дядя С.А.Толстой.

Сережа - С.Л.Толстой, старший сын Толстых.

С. 25. Тигр Тигрович - это прозвище Л.Л.Толстому было дано критиком В.П.Бурениным.

С. 29. ...отказ от своей части имущества... - Толстой принял решение отказаться от своих прав на принадлежавшую ему частную собственность и разделил ее между всеми членами семьи. 17 апреля 1891 г. им была подписана дарственная бумага. М.Л.Толстая тогда

отказалась от своей части, которую сохранила для нее Софья Андреевна.

С. 32. Боря Бугаев - писатель Андрей Белый; одноклассник Миши Толстого, с которым вместе посещал гимназию, возглавлявшуюся известным педагогом Л.И.Поливановым. Эти годы учения описаны Белым в книге "На рубеже двух эпох".

С. 37. От Ходынки только и осталось в памяти... - 18 мая 1896 г. в Москве на Ходынском поле, где по случаю коронации Николая Второго проходили массовые гуляния с раздачей бесплатных подарков, в давке погибли тысячи людей. Толстой запечатлел это событие в очерке "Ходынка".

С. 38. Юша Померанцев - Ю.Н.Померанцев, дирижер и композитор. Несколько романсов он посвятил С.А.Толстой.

Учитель Курсинский - А.А.Курсинский, поэт, автор стихотворных сборников "Полутени" (М., 1896), "Сквозь призму" (М., 1904).

С. 39. "А соловей не то рыдает..." - Строки из стихотворения Курсинского "Серенада". С.И.Танеев, написавший к нему музыку, посвятил романс Т.Л.Толстой.

С. 41. "Темными" С.А.Толстая называла последователей Толстого, придерживавшихся его проповеди опрощения.

С. 43. Александр Никифорович - А.Н.Дунаев, один из директоров Московского торгового банка.

...кто такой Иван Иванович Горбунов... - И.И.Горбунов-Посадов на протяжении многих лет являлся

редактором созданного по инициативе Л.Н.Толстого издательства "Посредник", выпускавшего доступную для народа художественную и просветительскую литературу.

С. 44. "Чем люди живы", "Два старика" - народные рассказы Толстого. "Первые христиане" - вероятно, речь идет о брошюре "Жизнь древних христиан".

...со своей подругой Ольгой Александровной... - О.А.Баршева, классная дама Николаевского женского училища.

С. 45. ...странички Иловайского... - Д.Н.Иловайский, автор учебников по русской и всеобщей истории.

С. 46. ...у них отняли детей за то, что они не крестили их. - В апреле 1897 г. у нескольких крестьянских семей, принадлежавших к секте молокан, были отняты дети, не подвергшиеся обряду церковного крещения, и помещены в монастырь для воспитания в православной вере. Толстой дважды обращался к Николаю Второму с просьбой принять меры для возвращения детей. В начале марта 1898 г. детей вернули родителям.

...начали преследовать друзей отца: Черткова, Бирюкова, Трегубова. - Эти единомышленники Толстого в феврале 1897 г. по распоряжению министра внутренних дел "за пропаганду и незаконное вмешательство в дела сектантов" были высланы: П.И.Бирюков и И.М.Трегубов - в Курляндскую губернию, а В.Г.Чертков - за границу.

С. 47. За то, что распространяла книги отца! - Врач М.М.Холевинская была арестована в Туле в декабре 1893 г. за то, что дала одному рабочему книгу Л.Н.Толстого "В чем моя вера?".

С. 48. ...Суллера посадили... - Л.А.Сулержицкий в ноябре 1895 г. за отказ от военной службы был сначала помещен на испытание в отделение для душевнобольных Московского военного госпиталя, а затем сослан для несения военной службы в селение Кушка на границе с Афганистаном.

...замечала особенное, преувеличенно-любовное отношение мам? к Танееву... - Увлечение С.А.Толстой композитором Танеевым принесло большое горе всем членам ее семьи и более всех Толстому, который в неотправленном ей письме от 1 февраля 1897 г. писал, что для него это "ужасно больно и унизительно стыдно", а выход видел в том, чтобы им расстаться. Сама Софья Андреевна свое увлечение Танеевым объясняла музыкой, приносившей ей, безмерно страдавшей от утраты маленького Ванечки, "спокойную радость".

С. 49. "О, как на склоне наших лет..." - Строки из стихотворения Ф.И.Тютчева "Последняя любовь".

С. 55. ...она высказывала свое возмущение против Синода и духовенства и... написала письмо митрополиту Антонию. - С.А.Толстая 26 февраля 1901 г. направила письмо обер-прокурору Синода К.П.Победоносцеву и митрополитам, подписавшим "Определение" об отлучении Толстого от церкви, с обвинениями в нарушении христианского "закона любви, всепрощения".

С. 56. За свой поступок он получил выговор от государя. - Л.Д.Вяземский, генерал-лейтенант, член Государственного Совета, не только получил "высочайший выговор", но и был выслан из Петербурга.

...правительство закрыло "Союз писателей"... Снова писали адрес... - Союз взаимопомощи русских писателей был запрещен распоряжением петербургского

градоначальника 12 марта 1901 г. за то, что выступил с протестом против действий полиции и казаков во время народной демонстрации 4 марта у Казанского собора. Литераторы подверглись жестокой расправе и арестам. Комитет Союза прислал Толстому текст заявления, который был им основательно отредактирован и подписан. Подписали его и члены семьи писателя - за исключением несовершеннолетней Александры Львовны.

С. 57. ...статьи отца "Ответ Синоду" и "Царь и его помощники"... - 24 февраля 1901 г. в "Церковных ведомостях" (№ 8) было опубликовано "Определение Святейшего Синода" об отлучении Толстого от церкви. Реакция на этот акт была очень бурной и неоднозначной. Писатель получал множество как сочувственных, так и злобно-клеветнических писем, побудивших его выступить со статьей "Ответ на Определение Синода от 20-22 февраля и на полученные мною по этому поводу письма". Статья "Царю и его помощникам" - выступление Толстого в защиту студенческих волнений и с протестом против репрессивной политики самодержавной власти в отношении них. Обе статьи были напечатаны в Лондоне.

С. 61. "Слышу ли голос твой..." - Стихотворение М.Ю.Лермонтова цитируется неточно. На музыку было положено М.И.Глинкой, А.Г.Рубинштейном, М.А.Балакиревым и др.

С. 62. ...писала свои воспоминания... - Т.А.Кузминская в последние годы жизни напряженно работала над начатыми еще в 1914 г. воспоминаниями "Моя жизнь дома и в Ясной Поляне". Она умерла, успев написать три части и три главы четвертой. Неоднократно издавались.

С. 63. Через несколько дней она умерла. - Ошибка памяти. Татьяна Андреевна Кузминская скончалась на семьдесят девятом году жизни 7 января 1925 г.

С. 67. Один из его последователей, служивший на железной дороге... Б. ... - Имеется в виду П.А.Буланже, служащий Правления Московско-Курской железной дороги, приверженец учения Толстого; сопровождал его в поездке в Крым и пробыл там до 22 февраля, помогая в уходе за больным. Автор воспоминаний "Болезнь Л.Н.Толстого в 1901-1902 гг." (Минувшие годы. 1908. № 9).

С. 70. Отец... начал работать... - Толстой работал над статьей "Что такое религия и в чем сущность ее".

С. 72. ...описанная доктором Волковым... - К.В.Волков - земский врач, живший в Мисхоре. Был одним из врачей, лечивших Толстого. Цитата взята из его очерка "Наброски к воспоминаниям о Л.Н.Толстом" (Толстой: Памятники жизни и творчества. Вып. 2. М., 1920. С. 80-95).

С. 73. ...имение великого князя Николая Михайловича. - Николай Михайлович, великий князь, внук Николая Первого, историк, председатель Русского исторического общества. Автор уникального издания "Русские портреты XVIII-XIX столетия" (СПб., 1900) и ряда монографий. Толстой был знаком с его трудами, изучал их и использовал в своих исторических сочинениях. Великий князь посвятил своим встречам с Толстым очерк "Мои свидания осенью 1901 года в Крыму с гр. Л.Н.Толстым" (Красный архив. 1927. № 2. С. 235-236).

С. 75. ...второе письмо отца к царю... - Речь идет о письме Толстого к Николаю Второму от 16 января 1902 г.

с изложением программы преобразования России. Приводится фрагмент послания к Николаю Второму, не вошедший в окончательный текст.

С. 78. "Зачал старинушка покряхтывать!.." - Четверостишие, опубликованное критиком В.П.Бурениным в фельетоне "Критические очерки. Разговор с разочарованным. Разговор третий" (Новое время. 1902. 18 января), было переписано в дневник с пометой: "Что за прелесть народная речь, и картинно, и трогательно, и серьезно".

С. 101. ...не мог удовлетворяться одной художественной работой. - По возвращению из Крыма Толстой возобновил работу над повестью "Хаджи Мурат", но "в неотделанном виде отложил" и вернулся к работе над статьёй "К духовенству" и в качестве иллюстрации к ней написал легенду "Разрушение ада и восстановление его". С.А.Толстая нашла, что легенда проникнута "дьявольским духом", ее текст вызвал у нее "болезненное негодование".

С. 110. ...испытать радость совершенную... - Смысл проповеди Франциска Ассизского в том, что "радость совершенную" человек получает, если может "перенести незаслуженный позор, терпеть от него незаслуженное наказание и не испытывать враждебности к причине укора и страданий". Эти положения были близки Толстому. Проповедь Франциска Ассизского писатель включил в "Круг чтения".

С. 116. Брат Андрей... поехал на войну... - Андрей Толстой в августе 1904 г. поступил на службу унтер-офицером в 6-й пехотный кромский полк, расквартированный не в Твери, а в Тамбове, куда прощаться с ним приезжали С.А.Толстая, братья Лев и

Михаил. Участвовал в военных действиях, но по болезни получил увольнение сроком на один год.

С. 118. "Круг чтения" - избранные и расположенные на каждый день мысли многих писателей и философов об истине, жизни и поведении; над этой книгой Толстой работал с большим увлечением с 1904 по 1908 г.

С. 120. В статье "Правительству, революционерам и народу"... - Точное название статьи - "Обращение к русским людям, правительству, революционерам, русскому народу".

С. 121. ...к отцу обратился тульский крестьянин... - Крестьянин Тверской губернии, служивший лакеем у вдовы министра внутренних дел Д.А.Толстого, Д.А.Суворов в письме от марта 1905 г. Толстой ответил ему статьей "Как освободиться рабочему народу". Позднее она была переработана и получила название "Истинная свобода".

...бомбой убит Сергей Александрович. - Сергей Александрович, великий князь, московский генерал-губернатор, был убит эсером И.П.Каляевым.

С. 122. ...Лева был у царя... - Л.Л.Толстой направил Николаю II послание с проектом земского собора для решения вопроса о положении народа, о его нуждах, переданное по назначению свитским генералом А.В.Олсуфьевым. Лев Львович был принят царем. Александра Львовна передает его рассказ: "Царь сказал ему, Льву, что доволен, что принял депутацию рабочих, с которыми поплакал, что земский собор нужно созвать, но не теперь, пока еще война продолжается" (Александра Толстая. Отец. М., 1989. С. 403).

С. 124. Генри Джордж - американский экономист. Согласно его концепции, трудящихся можно спасти от нужды и обнищания национализацией земли, введением единого государственного налога на землю. Толстой был знаком с его основными работами и одобрял эту концепцию.

С. 133. Операция прошла благополучно. - В.Н.Снегирев этот эпизод из своей практики описал в очерке "Операция. (Из записок врача)" (Международный толстовский альманах. М., 1909).

С. 145. Это такая мерзость! - С М.П.Арцыбашевым Толстой был хорошо знаком и многие его рассказы оценивал положительно, отмечая "талант и содержание" ("Кровь", "Подпрапорщик Гололобов"). Роман же "Санин" с его проповедью "раскрепощения плоти", аморальностью был Толстым гневно осужден.

"Яма" - повесть А.И.Куприна.

С. 147. "На каждый день" - имеется в виду сборник "Мысли мудрых людей на каждый день", составленный Толстым.

С. 150. ...поехать к Чертковым на станцию Столбовую под Москву. В.Г.Чертков в марте 1909 г. по распоряжению департамента полиции был выслан из Тульской губернии. В неотправленном письме в газеты С.А.Толстая заявляла: "Высылка Черткова и наказание тем, кто осмеливается читать и давать читать книги Толстого, есть мелочная злоба на старца, прославившего во всем мире своим именем Россию" (цит. по: Толстая С.А. Дневники. Т. 2. С. 531).

С. 154. ...спрашивала его, где находятся дневники... Отец ответил, что они находятся у Черткова. - Толстой

передал Черткову десять тетрадей со своими дневниками с 1900 по 13 июня 1910 г. для "исключения", по его указанию, ряда записей, в том числе и неблагоприятных для Софьи Андреевны. С.А.Толстая требовала возвращения дневников и передачи их ей. Чертков вернул дневники 16 июля 1910 г. Т.Л.Сухотиной, положившей их на хранение в Тульское отделение Государственного банка на имя Л.Н.Толстого.

С. 159. ...выражать свое отрицательное отношение к столыпинскому закону. Речь идет об указе министра внутренних дел П.А.Столыпина от 8 ноября 1906 г., разрешавшем крестьянам выход из общины, куплю и продажу наделов, насаждение частной земельной собственности. Толстой, по мнению которого эта реформа должна была вызвать обнищание и разорение крестьян, усилить их бедственное положение, осуждал ее и находил ее последствия губительными и опасными.

С. 164. Читал рассказ Mill'я "Le Repos Hebdomadaire"... - Толстой читал тогда сборник рассказов П.Милля "Лесная лань" (Париж, 1908). Особенно Толстому понравился рассказ "Лесная лань" - он нашел его "прелестным".

С. 167. Говорили о Паскале, которым отец был занят... - "Мысли" Б.Паскаля произвели на Толстого, по его признанию, "огромное впечатление"; Толстой неоднократно перечитывал эту книгу - последний раз в июле-августе 1910 г.

С. 169. ...приехал брат Андрей. Он только что получил письмо от Тани... В своем обращении к брату Татьяна Львовна писала: "Это неслыханно - окружить 82-летнего старика атмосферой ненависти, злобы, лжи, шпионства и даже препятствовать тому, чтобы он уехал

отдохнуть от всего этого" (Отдел рукописей Государственного музея Л.Н.Толстого).

С. 174. ...Чертков получил известие из Министерства внутренних дел... В.Г.Черткову 14 августа было официально объявлено о снятии с него запрета на проживание в Тульской губернии.

С. 183. ...это были слова из статьи о социализме, которую он писал утром. - Поводом для написания статьи "О социализме" послужило письмо чешской газеты "Mlada Proury" к писателю высказать свое мнение о партии народных социалистов. Толстой работал над ней в течение сентября-октября 1910 г., но не закончил.

С. 187. Приезжала представительница от фирмы "Просвещение". - 24 октября в Ясную Поляну приехала Н.А.Альмендинген, редактор детских журналов "Солнышко" и "Родники", для переговоров об издании сочинений Толстого.

С. 197. Пришли мне... начатые мною книги... - Толстой просил прислать ему статью Черткова "Унитарное христианство", книгу М.Монтеня "Опыты", которую он перечитывал незадолго до ухода, и работу П.Николаева "Понятие о Боге как совершенной основе жизни (Духовное монистическое мировоззрение)" (Женева, 1910), роман Ф.М.Достоевского "Братья Карамазовы" и повесть Г. де Мопассана "Жизнь".